

СВОБОДНЫЙ
МОСКОВСКИЙ
журнал

П О И С К И

3
1981

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПОИСКИ»

ПОИСКИ

СВОБОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ ЖУРНАЛ

3

СОДЕРЖАНИЕ

Приглашение 3

Е.Гайдамачук. Что же произошло? 5

СССР: ПОИСКИ ВЫХОДА

В.Ронкин, С.Хахаев. Прошрое, настоящее и
будущее социализма. 7

Дискуссия с дискуссией

И.Н.Понырев.

И.Н.Понырев. Что у кого почва? 31

П.Абовин-Егидес. Жить империей? 47

Г.Паввловский. О классике и сапожной ваксе 70

Николай Рерих. Шовинизм 87

ЛИТЕРАТУРА И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Лев Копелев. Горе от любви. 90

<i>Леонид Апраксин. Дневник оккупанта</i>	95
<i>Михаил Байтальский. Отцы, дети и, вероятно, внуки</i>	185

Слово узникам Архипелага

<i>Стихи неизвестных. (Вступление В.Абрамкина)</i>	198
--	-----

СОБЫТИЯ И СУДЬБЫ

По родной стране

<i>М.Зотов. Подспудный жар</i>	203
--	-----

С того берега

<i>Н.Б. Письма в Гоморру</i>	208
--	-----

ПРИЛОЖЕНИЕ

К суду над "Поисками"

<i>В.Абрамкин. Письма из Бутырок</i>	225
<i>В.Гершуни. Фемида ла комедиа</i>	233
<i>Р.Лерт. Цепь беззаконий.</i>	236
<i>В.Гершуни. Идеологи с большой дороги</i>	245
<i>М.Павловская. Гарантия устойчивости</i>	245

Из почты "Поисков"

В.Гершуни.

<i>В.Гершуни. По поводу монополистических, анкет- ных и некоторых других вождений "Континента"</i>	247
--	-----

Московская редколлегия журнала "Поиски":

**Петр АБОВИН-ЕГИДЕС, Валерий АБРАМКИН,
Владимир ГЕРШУНИ, Юрий ГРИММ, Раиса ЛЕРТ,
Глеб ПАВЛОВСКИЙ, Виктор СОКИРКО.**

ПРИГЛАШЕНИЕ

Нашему замыслу соответствовало бы название, слишком длинное для журнала — ПОИСКИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ. Нисколько не урезав замысел, мы сократили лишь название, и к участию в наших "ПОИСКАХ" приглашаем всех, кто за взаимопонимание. Всех, кто убедился, что нет ничего сейчас рискованней и неотложней этого: полного понимания, которого нельзя достичь, к которому не пробиться иначе, как совместной работой мысли, не ограничивающейся одной-единственной позицией, заведомым углом зрения, единственно возможным способом ставить вопросы и доискиваться ответов.

Сказанное, разумеется, чересчур общо. Призыв к взаимопониманию уместен в любое время и при любых обстоятельствах. Разве мыслимо такое время, когда отпадает нужда в понимании, поскольку на все вопросы уже даны окончательные, "исчерпывающие" ответы? Да и потребность во взаимности, в движении от многообразных начал к проблемам, жизненно важным для многих, если не для всех, — эта потребность, далеко не всегда и не всеми признаваясь, сегодня не покажется и новинкой. Призыв к взаимопониманию — либо общее место, либо он нуждается в разъяснении.

И тем не менее мы рискуем утверждать, что сегодня этот призыв ясен без долгих обоснований. Нам — в Советском Союзе, вероятно, это ощутимее, чем где-либо. Мы пережили с 1953 года целую полосу надежд и крушений, избывания старых и новых иллюзий. Надо полагать, это время дало многое, и не нам одним. Но теперь виднее, что оно, переломившись в 1968-м, пришло к концу. Теперь заметнее не только сделанное, но и то, что не сделано и сделано быть не могло. И это последнее не менее, если не более важно, чем первое. Глядя на собственные наши тупики, вложив персты в наши язвы — кто рискнет сказать с полной уверенностью в правоте: я знаю лечение, я вижу выход?! Каждая неувязка в отдельности, каждая несообразность, взятая врозь, кажутся устранимыми — было бы только желание, умение и "соответствующие люди на своих местах". . . Но идет время, и все ощутимее, заметней: пропущенные в свое время возможности — самая неподатливая реальность сегодня, как и связь между всеми диспропорциями и напастями, как и отсутствие "соответствующих", и беспо-

мощность тех, кто желает перемен, не ведая, с какого бока за них приниматься, не накликая беды хуже нынешней. Тупики наши оттого и мысленные и нравственные — разрывы между поколениями и внутри поколений, которые, похоже, не только не сглаживаются, но делаются все глубже и раздражимей. И вряд ли оттого, что яснее стали ныне ответы, предлагаемые отдельными течениями и людьми. Скорее, наоборот: ожесточенность, вражда — от застревания на чем-то первоначально-отрицающем. Но даже и тут, в этом необходимо-критическом, клеймящем смысле мы оказались неспособны пробиться вглубь, к "причинам причин", дойти до корней трагедии, образовавшей эпоху, и до природы тупиков, составляющих русскую злободневность, уклад жизни и быт: самое простое и труднее всего выносимое.

Прежде говорили: не может быть свободен народ, угнетающий другие народы. Сегодня это следует дополнить и уточнить, сказав: не может быть ни свободен, ни уверен в будущем народ, притягивающий собою одним — своими успехами ли, глубиной ли своего отчаянья — определять всесветное будущее. Эта истина не так проста — и не только потому, что задевает государственные престижи, национальные самолюбия, претензии первенства, богатства, силы. Она отнюдь не проста и по существу.

Взаимная уступчивость и терпимость — превосходные качества. Право оставаться собой — великое право, становящееся новой международной нормой: суверенитетом Мира, где впервые за всеми народностями, за всеми человеческими сообществами признано право на независимость в решении своих внутренних дел, как и право на равную причастность к судьбам Мира в целом. Два права — нераздельных и вместе с тем все труднее совмещающихся.

Мир миров, стремящийся стать человечеством, — вправе ли мы попустить, чтобы "правом оставаться собой" распоряжалось многоликое насилие, всякое принуждение к единомыслию, любой владетельный запрет на идейные искания, на движение проблем, не знающих кордонов?!

Таковы самые общие основания к тому, чтобы сделать *поиски взаимопонимания* исходной позицией для совместной работы. "Только" поиски — оттого, что на пути к согласной встрече исходно разноначального не одни внешние препятствия. Поэтому мы приглашаем к дискуссии без ограничивающего регламента и с этой, сугубо предварительной заявкой, которая может стать более четкой программой лишь в процессе *поисков*.

Е. Гайдамачук

ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО...

Что же произошло в тот день, после которого опустел мой дом, а крошечный наш сын все время собирается ехать куда-то к папе, встречает мнимого папу в дверях, оставляет папе часть еды за обедом?

Слова "обыск", "арест", врываясь постоянно в нашу жизнь, уже давно стали чем-то нарицательным, пустотелым, мертвым. Мы отталкиваем их, отторгаем от себя, даже поругиваем друг друга с их помощью. Мы взлетаем над ними в свой мир, мир жизни, творчества, и опять катимся вниз, к этим ужасным словам...

Утром 4 декабря, не успев еще проснуться, я услышала в открывающуюся дверь тихий голос Валерия: "Вставай. У нас обыск". Совершенно не удивившись (!), я поднялась, накинула халат и вышла в коридор, где уже копошились какие-то люди. То, что они делали в последовавшие за этим 7 часов, многим, к сожалению, знакомо: вытаскивали с полок **н а ш и** книги, бумаги, перелистывали **н а ш и** письма и записки, изучали **н а ш и** телефонные книжки, разглядывали **н а ш и** фотографии. (Мне очень жаль что существует профессия, предусматривающая такое любопытство и заставляющая людей проявлять его. Уж лучше бы этим занимались роботы).

Мы старались не обращать внимания на происходящее и молча всматривались друг в друга, прогоняя в памяти прошлое и будущее свое, занимаясь при этом мелкими хозяйственными делами. Алька же, нисколько не смущаясь присутствием такого количества чужих людей, с серьезной деловитостью рассматривал книжки, рисовал свои фантастические картинки, протиснувшись между незнакомыми коленями, "играл на рояле" так называемую песню волка; регулярно просил есть; дергал нас всякими расспросами, ни разу не обратившись к чужим дядям. Мы всячески поддерживали его, тоже рисовали и читали; я даже пела ему песенки про сыча, льва да козлика, который живет у бабушки.

Статьей этой, написанной женой В.Абрамкина, открывался 8-ой номер "Поисков", который составлялся уже без его участия.

Но вот приближается конец этой процедуры. Мы уже порядком устали от присутствия чужих глаз, да и роботам нашим, наверное, все надоело: один дремлет, сидя на диване, другой читает "Советский спорт", женщина разглядывает детские книжки. Лишь учащающиеся телефонные звонки вызывают в них все большее раздражение, и они заставляют соседа отвечать, что нас нет дома.

Наконец, протокол закончен, мы просматриваем отобранные у нас вещи и с удивлением замечаем, что в опись включены пленка с записью Алькиной воркотни, письма из моего личного архива, протокол предыдущего подобного грабежа. В ответ на наши возмущения — усмешка... Валера пишет протест, отказавшись подписывать эти бумажки, и все летит в мешок...

А потом его уводят. Уводят несмотря на мои требования предъявить хоть какой-нибудь документ, позволяющий уводить человека из своего дома. В ответ на это — все та же усмешка. Оказывается, по каким-то законам они имеют на это право. И имеют право вообще мне ничего не сообщать!..

Вот и все...

А потом начались телефонные звонки. Я уже знаю, что обысков было семь, что всех возили в районные отделения милиции на допросы, что Витя Сорокин уже с трех часов неизвестно где... Я уже не вижу, чем занимается Алька, я только бегаю к телефону и говорю одни и те же слова: "Да, обыск. Да, увезли. Нет, не приходил..." Последний звонок — около двух часов ночи, и все те же слова: "Нет, не пришел..."

А утром у нас с Алькой начинается новая жизнь: ему надо самому придумывать себе дела (он бьет часики, поливает водой диван и стулья, разносит зубные щетки по квартире), а мне — звонить по каким-то телефонам в милицию, УВД, прокуратуру, и выслушивать глупые, лишённые смысла слова: "Ну, не найдете сегодня, так позвоните завтра..." Я чувствую, что поток этих телефонов и этих слов закручивается во мне в какой-то клубок нелепостей, вытянуть кончик из которого уже невозможно. Я собираю себя в комок, одеваю Альку и иду с ним на улицу копать песок. А вернувшись через час, укладываю его спать, снова набираю 231-40-00, слышу: "Бурцев слушает", — произношу свои заученные слова и различаю ответ: "3-е отделение милиции, там три дня; потом переведут куда-нибудь".

А неделю спустя я нахожу в разбросанных еще бумажках листок, исписанный ужасно непонятным, очень близким и знакомым почерком:

"...Эта записка придет к тебе в тягостное время... Забудь, что между нами выстроена стена глупости, мы говорим с тобой сейчас, мы рядом... Они разлучили нас, но только мне и тебе дано понять: не разлучили, лишь отдалили и предали небытию суетные и вздорные дни глупых ссор и пустых обид, оставив нетронутым мир, существующий только для нас двоих... Все время внешней разлуки ты будешь со мной... Перед тем, как заснуть, очень-очень прислушайся, чтобы различить мой негромкий голос..."

В. Ронкин, С. Хахаев

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СОЦИАЛИЗМА

В настоящее время существует тенденция опровергать социализм, понимая под этим термином государственную собственность на средства производства и монопольное положение одной партии и идеологии.

На самом деле анализ социалистических учений, существовавших с древнейших времен, показывает, что главным в социалистической идеологии является отнюдь не это.

Возникнув впервые в древней Греции* как реакция на развитие товарно-денежных отношений и вытекающих отсюда отчуждений и пауперизации, социалистические идеологии ставили своей целью решить проблему преодоления отчуждения и ликвидации нищеты с помощью социально-экономических преобразований.

Вопрос ликвидации нищеты в каждом отдельном случае мог иметь различные решения, и не имеющие социалистического характера, причем несоциалистические варианты оказывались более реальными, чем социальные утопии.

Проблемами же отчуждения вне социализма занимались только религии. Однако чисто мистические способы их разрешения устойчивого эффекта не давали, а попытки соединить теологию с социально-политическими реформами приводили к различным вариантам религиозного социализма.

Социально-политические мероприятия для ликвидации от-

* Комедия Аристофана "Женщины в народном собрании" позволяет представить, насколько общеизвестны были социалистические идеи (в их анархистско-уравнительной форме) в то время.

чуждения и создания общества, в котором господствовало бы всеобщее братство, на протяжении более чем двух тысячелетий предлагались самые различные и были тесно связаны с уровнем развития общества, социального положения теоретика-утописта и т.д.

Многое из того, что предлагалось, выглядит сегодня абсурдным, но для современников этого писателя не выглядело ни абсурдным, ни революционным. И наоборот, то, что сегодня выглядит тривиальным, в свое время казалось абсолютно невыполнимым.

Естественно, что ранние социалистические идеологи (фактически до 19 века), видели перед собой как идеал старое патриархальное общество и именно к этому идеалу и хотели вернуться. Поэтому, несмотря на позитивный моральный материал, их социально-политические схемы были реакционными.

Ограниченные материальные и организационные возможности общества того времени не позволяли согласовать интересы личности и общества иначе как путем подавления личности.

Только машинная революция, давшая громадное увеличение производительности труда и новые организационные и технологические возможности, сделала допустимым появление позитивной социалистической идеологии, прокламирующей сочетание интересов личности и общества не насильственными и не экономическими методами, а иными — индикативными, о которых речь пойдет ниже.

Однако машинная революция, породив позитивную социалистическую идеологию, отнюдь еще не сделала возможным создание реальной позитивной социалистической структуры.

Это способствовало тому, что при попытках реального построения верх брала идеология реакционного социализма, что и приводило (даже в сравнительно развитых странах) к образованию тоталитарных режимов.

Тем более не удивительно, что в отсталых странах такие эксперименты не могут привести ни к чему другому, как к возникновению общегосударственного концлагеря типа диктатуры Пол Пота в Камбодже.

Сегодняшняя критика социализма прежде всего отталкивается от действительности существующих тоталитарных режимов.

Эти уродливые образования критиковать нетрудно и, на наш взгляд, проблема, актуальная еще лет 15 назад, на сегодняшний день изжила себя.

К сожалению, некоторые авторы на этом основании отменяют всю социалистическую идеологию в целом.

Впрочем, и до возникновения так называемого реального социализма в критиках социалистической идеологии недостатка не было.

К чему же сводятся основные обвинения против социализма?

Социализм рассматривается как разрушительное учение, ставящее своей целью уничтожение семьи, религии, государства, нации, частной собственности, введение принудительного равенства и, как следствие этого, полное подчинение человека коллективу, т.е. уничтожение личности.

Действительно ли теоретики социализма на всем протяжении человеческой истории обнаруживали такое удручающее единодушие?

Начнем с религии. Маркс, как известно, был атеистом. Атеистами были Оуэн, Бланки, Мелье и один из древних социалистов Эвгемер.

Напротив, в утопии Платона атеизм и богохульство приравнивались к самым тяжелым преступлениям.

В утопии Т. Мора, который сам был искренним католиком, царит свобода совести, однако атеисты презираются. Город Солнца Кампанеллы – теократическое государство.

Наконец, социалисты эпохи Просвещения и 19 века (Морели, Бабеф, Кабе, Вейтлинг и др.) были пантеистами. Фурье и Сен-Симон пытались создать свои религиозные системы, близкие к пантеизму. Почти все социалистические теоретики этого времени (в том числе и марксисты) провозглашали свободу совести.

Особо следует сказать о религиозном социализме. В конце прошлой – начале нашей эры возникли религиозные секты евсеев, терапевтов, назареев и т.п., проповедовавшие всеобщее единство, в том числе и имущественное.

Отголоски социалистического сектантства есть и в Евангелии. "У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа и никто из них ничего из имени своего не называл своим, но все у них было общее" (см. "Деяния", 4. 32, а также 2.44 и 4.34).

В дальнейшем официальная церковь отказалась от подобных экспериментов, признав социальную действительность такой, как она есть. Но еще в начале 5 века епископ Константинопольский Иоанн Златоуст вздыхал о временах раннего христианства: "Тогда был вырван корень всех зол. . . деньги они отвергли, не было холодных слов "твое" и "мое"."

Реликтом социалистических идеалов раннего христианства оставались только монастыри. (Впрочем, на берегах реки Парга-

вай в 17 веке иезуитами был проведен еще один социальный эксперимент — основано тоталитарное теократическое государство, которое просуществовало около 150 лет).

Однако рядом с официальным христианством всегда существовали социалистические секты (катары, альбигойцы, вальденсы, апостолики, анабаптисты), которые пронесли идеи социализма через все средневековье.

Остатки таких сект дожили и до наших дней. В России социалистические идеи существовали среди староверов-беспоповцев, а также среди духоборов и молокан.*

В 19 веке в Европе возникает христианский социализм, значительно окрепший и получивший признание официальной церкви в наше время (кроме того, существуют исламский, буддийский и т.п. социализмы).

Интересно отметить, что сам термин "социализм" был введен в обращение христианским социалистом Пьером Леру, христианский социалист Баадер ввел в новейшую литературу слово "пролетариат", и, наконец, христианский социалист Шефле ввел оборот слово "коллективизм".

Таким образом, мы видим, что отношение социалистов к религии на протяжении всей истории этой идеологии ничем не отличалось от отношения к ней современной им интеллигенции и, следовательно, не является чем-то специфическим для социализма.

Попытка нацело перестроить социальные отношения неминуемо вводила в сферу рассмотрения социалистических теоретиков и семью.

И в этом отношении мы не обнаруживаем единой точки зрения. Те из социалистов, которые идеал общества видели в общинах, экономически не связанных друг с другом, обычно относились к существованию семьи отрицательно. Особенно это характерно для социалистических религиозных сект. Секты, настроенные крайне эсхатологически, предполагали полное безбрачие, другие склонялись к полигамии, растворяя семью в общине, внутри которой предполагалась полная свобода половых связей.

Наоборот, те, кто считал, что общество не должно замыкаться в общине, кто мыслил масштабами национальной или даже мировой общности, как правило, оставляли в своих проектах парную семью, а иногда и большую патриархальную.

* И. Шафаревич, доказывая, что социализм всегда атеистичен, объявляет Т. Мора атеистом, поскольку в его утопии царит свобода совести. Средневековые сектанты — атеисты, поскольку их учения противопоставлены догматике правящей церкви. Вот как "диалектично" мыслят иные диссиденты.

Именно такая семья существует в утопии Т. Мора, прелюбодеяние же в ней карается смертной казнью.

Менее жестоко, но столь же последовательно преследует прелюбодеяние кодекс Морелли. У этих двух авторов, а также у Кабе, развод допускается лишь в исключительных случаях.

Исключением из общего правила являются системы Платона и Кампанеллы, в которых половые отношения, с позиций рационализма, доведенного до абсурда, сводятся к племенному делу*, полностью контролируруемому государством.

Начиная с 19 века в социалистической теории брак все чаще практикуется как равноправный союз мужчины и женщины, созданный по свободному выбору, свободный от утилитарных расчетов и подчиненный моральному контролю со стороны общества.

Пожалуй, единственно, что было общим для всех социалистических теоретиков (но не только для них), это роль, которая отводилась общественному образованию и воспитанию детей. Большинство авторов (за исключением Мора, Вераса, Кабе) настаивало на равноправии женщин.

Таким образом, мы видим, что и по вопросу семьи социалистическая теория не представляет собой ни чего-либо единообразного, ни чего-либо исключительного.

Такое же разнообразие мнений демонстрирует социализм и по отношению к национальности.

Платон мыслил свою систему в масштабах полиса. Томас Мор говорил о нации утопийцев. Кампанелла был сторонником всемирного теократического государства.

Средневековые сектанты выступали против национального разделения, ссылаясь на Евангелие (кол. 3.11).

Идея космополитизма ("ни Россий, ни Латвий" – Маяковский), как и идеи мирового государства в той или иной степени сохраняются в социалистическом движении и позднее, но ни те, ни другие не являются монополией социалистических утопий.

На рубеже 19 века, как следствие лозунгов французской революции, в социализм проникают представления об интернационализме, идеи о содружестве идеологическом, а затем и экономическом всех национальностей, населяющих земной шар.

Противники социализма очень часто приводят цитату из Коммунистического манифеста: "Рабочие не имеют отечества", доказывая тем самым антинациональный характер учения Маркса.

* Некоторые русские крепостники практиковали нечто подобное, отнюдь не будучи социалистами.

Попробуем, однако, продолжить цитирование: "У них (рабочих) нельзя отнять того, чего у них нет. Так как пролетариат должен прежде всего завоевать политическое господство, подняться до положения национального класса, конституироваться как нация, он сам пока еще не национален, хотя, конечно, не в буржуазном смысле. . .

. . . В той же степени, в какой будет упразднена эксплуатация одного индивидуума другим, будет упразднена и эксплуатация одной нации другой. Вместе с противоположностью классов внутри нации отомрут и враждебные отношения наций друг к другу"*.

Одновременно с появлением интернационализма в социализм проникают и шовинистические взгляды, оформившиеся в 20 веке в идеологию национал-социализма, а после второй мировой войны ставшие достоянием слаборазвитых стран.

Идеологи национал-социализма, фашизма и некоторых других "измов" считают государство, принудительно регулирующее взаимоотношения между его гражданами, основой национальной (или территориальной) общности, служение ему – высшей целью человека.

Эту теорию проповедовал еще Платон, а вслед за ним и Кампанелла.

К сторонникам принудительной верховной власти, наделенной широкими полномочиями, следует, пожалуй, отнести Вераса, Морелли, Бабефа, Сен-Симона, Кабе.

Столь же давни представления о ненужности и даже вредности внешнего принуждения – они восходят еще к Зенону и киникам.

Религиозный сектантский социализм, как правило, противопоставлял власти земной, греховной власть небесную, истинную.

"Мы так должны понимать о Христе, господине нашем, что кроме него над нами господина не должно быть, и сами мы ни над кем не должны господствовать и властвовать", – учили сектанты.

Философы-рационалисты нового времени по-разному подходили к вопросу о государстве. Кроме вышеназванных сторонников сильного государства, большую популярность в трудах социалистов завоевала идея демократической республики.

Одновременно с этим вновь возрождаются антигосударственные анархические тенденции.

Наконец, появляются идеи революционного государства

* Имеет ли что-нибудь А.И. Солженицын против мыслей, изложенных в последней части приведенной цитаты?

как переходной формы к безгосударственному управлению (Бланки, Маркс), которое мыслилось у ранних социал-демократов (и у некоторых анархистов) как создание органов управления, указания которых выполняются добровольно.

Уже рассматривая вопрос о государстве, мы можем видеть, что отношение к личности не может быть чертой, объединяющей социалистические учения.

Действительно, наряду с анархизмом, проповедовавшим полную независимость общины от государства и личности от общины сразу же после победы нового общественного строя* (Годвин, Фурье, Бакунин, Прудон, Кропоткин), в социализме существовала тенденция ее полного подчинения будь то всепоглощающей иерархической государственности или столь же всепоглощающему равенству общины.

Впрочем, в конкретных условиях абсолютный анархизм зачастую оборачивался абсолютной тоталитарностью.

Средневековые сектанты отказывались подчиняться земным властям, признавая только подчинение человека воле Бога. Но на практике это толковалось не как подчинение собственной Совести, а как подчинение религиозной общине или ее лидерам, которые и воплощали Божественную волю.

Вполне естественно, что если подчинение государству всегда мыслилось как относительное, то Божественная Воля претендовала на абсолютное подчинение.

С проблемой свободы тесно связана проблема равенства, ибо равенство, введенное принудительно, полностью отрицает свободу, а свобода при определенных социально-экономических ситуациях разрушает равенство. Далеко не все социалисты считали равенство необходимым условием их системы.

Интересно отметить, что те из идеологов, которые игнорировали равенство, как правило игнорировали и свободу (Платон, Кампанелла, Верас, идеологи современного тоталитаризма).

Другие считали равенство необходимым условием социализма. Те же, для кого было ясно, что при существующих условиях равенство и свобода несовместимы, — жертвовали свободой.

Однако к моменту образования Второго Интернационала в социализме победила тенденция считать равенство и свободу одинаково необходимыми для будущего строя, при котором "исчез-

* П. Кропоткин писал: "Свобода есть возможность действовать, не вводя в обсуждение своих поступков боязни общественного наказания (телесного или страха голода) или даже боязни порицания, если оно только не исходит от друга".

нет всякого рода неравенство, за исключением неравенства природных качеств, которые получают все средства к развитию” (Лафарг).

”Техническое руководство и воспитательное воздействие интеллигенции станет тогда единственной формой общественного устройства” (Лабриолла).

Почему это ”тогда” до сих пор не превратилось в ”теперь”, разговор пойдет ниже. Сейчас же отметим, что ни отношение к равенству, ни отношение к свободе не может быть родовым признаком социализма.

Может быть, вопрос о социализме целиком сводится к проблеме ликвидации частной собственности?

Но государственная собственность на средства производства восходит еще к ранним (первоначальным) государствам-деспотиям, а корпоративной собственностью владела как католическая, так и православная церковь — организации, бывшие гонителями социализма почти на всем протяжении своей истории.

С другой стороны, далеко не все социалисты абсолютно отрицали частную собственность.

В государстве Платона собственности были лишены только члены правящих сословий — философы и воины. Крестьяне же и ремесленники оставались собственниками.

В общине Морелли в личной собственности оставались орудия ремесла.

Сен-Симон не отрицал даже крупной земельной и промышленной собственности, считая, что под влиянием идеалов Нового Христианства промышленники добровольно станут подчиняться решениям планирующих органов и создадут координационную систему, задачей которой будет повышение благосостояния общества.

Фашистская идеология в этом смысле следовала теории Сен-Симона, заменив Новое Христианство идеей национального единства.

Фурье так же сохранял частную собственность в виде акций, предлагая распределение по труду, способностям и капиталу, внесенному в фаланстеру.

Наконец, обобществление собственности мыслилось также по-разному. Если одни (Морелли, Бабеф, Базар, Каутский, Ленин) говорили про общегосударственную собственность, то другие (Мелье, Годвин, Оуэн, Прудон, ”анархо-синдикалисты”, Шляпников, ”рабочая оппозиция” и др.) представляли ее как собственность общины или коллектива рабочих.

И все-таки за всем разнообразием подхода к проблеме собственности уже начинает чувствоваться нечто такое, что может дать ответ на вопрос: что же конкретно определяет ту или иную идеологию как социалистическую. Действительно, эти социалистические учения, несмотря на перечисленные разногласия, все-таки представляют собой части некоего общего социально-политического движения.

И не только противники в полемических целях объединяют столь непохожие теории в одно целое.

Сами авторы этих теорий чувствовали свое родство. Это родство можно проследить по аппарату ссылок и цитации, по заимствованиям и опровержениям, по канонизации предтеч и общей терминологии.

В чем же заключается это родство, что же это общее, объединяющее столь разные теории, позволяющие отнести их к разным направлениям одной идеологии?

Если остановиться на чисто формальной стороне вопроса, общее — это отрицательное отношение к торговле и товарно-денежным отношениям.

”Все, что называется торговлей, недостойно честного человека” (Платон).

”Ессеи друг другу ничего не продают и друг у друга ничего не покупают” (Флавий).

Среди средневековых сектантов-социалистов был очень популярен образ Христа, изгоняющего торговцев из Храма. Следует отметить, что эти сектанты — противники церковной организации — под храмом понимали всю общину верующих.

”Каждый обращает любовь свою на деньги, а из этого произошли мошенничества и люди часто продают и перепродают свою веру. . . подчинили корысти науку и религию, забросили земледелие и ремесла, став рабами денег и богачей” (Кампанелла).

В проекте Морелли торговля карается как тяжелое преступление.

Фурье пришел к выводу о переустройстве общества, исходя из анализа торговли и конкуренции.

Оуэн выдвинул идею меновых базаров, долженствовавших заменить собою товарно-денежные отношения.

Марксизм, переносивший центр тяжести из сферы обращения в сферу производства, тем не менее утверждал, что ликвидация частной собственности есть только средство для ликвидации товарного хозяйства.

В программе ВКП(б), принятой на VIII съезде (1919 г.), го-

ворится: "В области распределения задача Советской власти в настоящее время состоит в том, чтобы неуклонно продолжать замену торговли планомерным организацией в общегосударственном масштабе распределения продуктов".

Мы могли бы привести большое количество цитат, взятых у противников социализма, говорящих о великом значении торговли в деле развития человечества.

При этом по многим другим вопросам, касающимся роли государства, политического устройства общества, образования, религии, национализма и космополитизма они не расходятся с социалистами, т.е. в трудах апологетов торговли можно найти весь тот спектр представлений, какой мы находим у теоретиков социализма.

И только отношение к товарному хозяйству проводит грань между этими направлениями*.

Чем же объяснить, что, несмотря на очевидные положительные стороны торговли, всю человеческую историю пронизывает идеология, враждебная ей? Идеология, имеющая своих героев и мучеников, вербовавшая своих приверженцев среди философов и священников, государственных деятелей и недоучившихся студентов, родовитых дворян, богатых купцов и бедных простолюдинов.

Эта идеология существует и проявляется в самых разных социальных условиях, при различном уровне развития производительных сил, в различных социально-экономических системах.

Следовательно, корни этой идеологии не социально-экономические, а социально-психологические.

До возникновения товарно-денежных отношений (или там, где люди не были затронуты этими отношениями) человек всегда выступал как представитель некоей общности: общины, религиозной конгрегации или нации. Свое поведение он должен был согласовывать с интересами этой группы.

Король должен был пеших об интересах подданных; вассал — об интересах сеньора, сеньор — об интересах вассала. Общество, государство представлялось современникам в виде тела, каждый член которого выполняет функции, нужные всему организму.

* Поскольку евреи занимали особое место в европейской торговле, антисемитские взгляды довольно характерны для идеологов социализма. Коммунист Дезами, утопист Фурье, социал-христианин Пьер Леру, народоволец Л. Тихомиров, фашисты и национал-социалисты — вот далеко не полный перечень социалистов-антисемитов. В других районах мира посредническую роль выполняют представители иных наций, находящихся в рассеянии (армяне, китайцы), и тамошние национал-социалисты не забывают и о них.

За каждый же член, за каждую клеточку болел весь организм. Конечно, далеко не все следовали этой морали.

Непосредственная связанность, личные отношения приводили к тому, что общество видело в человеке личность во всем многообразии ее проявлений.

Выгнать из дома состарившегося раба, заболевшего слугу считалось аморальным. Господа пеклись (или должны были пещись) о душах своих подданных, о их семьях: баре женили своих мужиков, короли устраивали браки своих вассалов.

Но это признание человека личностью шло извне и сводилось к тому, чтобы вогнать реального человека в некую абстрактную идеальную схему, единую для данной социальной группы.

Сам же он себя личностью не считал и не имел на это ни морального, ни юридического права — он был винтиком сложной социальной машины, клеточкой общественного организма.

Поступки, чаяния, желания диктовались человеку его местом в обществе.

Признание человека личностью не предполагало, а исключало его право на индивидуальность.

Появление товарно-денежных отношений коренным образом изменяло положение, деньги де-юре и де-факто порождали новую мораль.

Эта мораль предполагала, что каждый должен заботиться сам о себе и что из суммы эгоцентрических устремлений рождается благо общества в целом (см., например, у Бентама).

Деньги стали барьером, разделившим людей, изменили отношения "человек—человек" (будь то отношения господства, подчинения или взаимопомощи) на новый тип: "человек—деньги—человек".

Что бы ни представлял собой человек, особенное теряет значение в товарно-денежных отношениях, которые уравнивают несходных людей, как и несходные товары.

Но потеряв свое социальное значение, перестав быть угрозой социальной стабильности, особенное, индивидуальное освободилось от внешнего давления и получило, наконец, право на существование и развитие.

Товарно-денежные отношения стали той скорлупой, под защитой которой сформировался не виданный ранее птенец — личность, осознающая себя индивидуальность*.

* Эту роль денег как социального барьера осознали уже эссеи, предписывавшие членам своей общины не брать у отступников, изгнанных из нее, ничего иначе как за деньги, внутри же общины денежные расчеты исключались.

В новых условиях человек осознал свои индивидуальные интересы (не только материальные, но и духовные), научился противопоставлять их интересам социума и бороться за них.

Немало было написано о генезисе индивидуализма, начавшемся в эпоху Возрождения и окончательно утвердившим себя с наступлением индустриального общества, поэтому мы не будем подробно останавливаться на этом вопросе. Отметим обратную сторону медали — для сформировавшегося цыпленка скорлупа становилась помехой.

Став личностью для себя, человек перестал быть личностью для общества.

Для продавца покупатель — это тот, кто владеет определенной суммой денег. Его личные привычки и привязанности, национальность, раса, вероисповедание, политические убеждения, возраст — все это не имеет значения. Продавца интересует одно — платежеспособность. Для предпринимателя рабочий — только производитель прибавочной стоимости, для рабочего хозяин — только работодатель.

Человек, предчувствуя себя как личность, тяготился путами, мешавшими ее развитию. Человек, став личностью, осознал необходимость социальных связей, ибо личность может существовать только как элемент сложной социальной системы. Отвергнув пути, человек возжаждал коммуникаций. Отвергнув опеку со стороны общества, он захотел заботы.

Отчуждение от социума, сделавшее возможным возникновение индивидуальности, стало осознаваться как ущербность, мешающая ее дальнейшему развитию.

Реакцией на это отчуждение и явился социализм.

Проповедь религии или атеизма, национальной или космополитической общности, полного равенства или изощенной иерархии, полной свободы или самодовлеющей власти, проповедь гедонизма и аскетизма, полной половой свободы или укрепления семейной морали, проповедь превращения всей собственности в государственную, кооперативную или ее уравнивательный раздел, проповедь мирной агитации или кровавого террора — все это не более чем поиски средств для достижения одной цели — спасения личности от пустоты отчуждения, достижения гармонии индивидуального и общего.

Возникновение товарно-денежных отношений имело не только социально-политический эффект, оно (особенно на ранней стадии) приводило к резкому обострению социальных противоречий, пауперизации и обнищанию значительных слоев населения, причем

было очевидно, что нищета одних является следствием безумной погони за богатством других.

Товарно-денежные отношения приводили к яростной конкурентной борьбе при отсутствии в то время всяких социальных гарантий для проигравших.

Эти отношения противопоставляли буквально каждого каждому. Конкурировали продавцы и покупатели, рабочие и работодатели, конкурировали друг с другом и между собой.

Глобально перепахивая сложившуюся раньше социальную структуру, товарно-денежные отношения при своем становлении порождали массу деклассированных, особенно остро чувствовавших все последствия подобной конкуренции.

К этой категории относятся все, кто, потеряв старый социальный статус, не приобрел нового (солдаты, безработные, бродяги и т.п.) или не успел освоиться с новым социальным статусом (разорившиеся крестьяне, ремесленники, ставшие рабочими).

Всякий раз, когда в силу социальных сдвигов в обществе появлялось большое количество подобных элементов, мы видим рост социалистических настроений и массовых движений под социалистическими знаменами.

Известно, что социалистические движения сопровождали всю реформацию (совпавшую с наступлением торгово-мануфактурного капитализма), они же активизировались в начале 19 века в связи с первой промышленной революцией.

Массовая безработица после первой мировой войны в Италии и Германии являлась одной из важнейших причин победы национал-социализма*.

С другой стороны, в среде интеллигенции сострадание к народным массам и протест против новой морали, порождавшей межличностное отчуждение, приводил к поискам такой социальной структуры, которая устранила бы товарно-денежные отношения, а вместе с ними и социальный хаос.

Не понимая всей сложности взаимосвязи между экономической структурой общества и его социальной структурой, они зачастую видели выход в возвращении к патриархальному обществу.

Только к середине 19 века Маркс сформулировал положение, согласно которому возможность и стабильность существова-

* Известно, что в канун победы тоталитаризма в этих странах симпатии населения приблизительно поровну делились между наиболее радикальными партиями: фашистами и коммунистами.

ния той или иной социальной структуры определяется достигнутым уровнем и характером производительных сил.

Говоря современным языком, способ управления обществом определяется уровнем, которого достигла его технология.

Первобытное общество охотников и собирателей управлялось традициями, создававшимися методом проб и ошибок на всем протяжении образования вида.

При стабильности условий, простоте общественной жизни и высокой степени внушаемости первобытного человека этот способ управления был вполне достаточным. Его особенностью было то, что социальные требования не воспринимались индивидуумом как нечто внешнее. В этом обществе не существовало и социальных противоречий между его членами.

В силу этих особенностей первобытное общество впоследствии часто идеализировалось и представлялось как идеал, к которому следует вернуться.

Но, вопреки мечтаниям Руссо, первобытный человек вовсе не был свободным, вовсе не мог выбирать способа поведения, жестко детерминированного внушенной ему традицией, гораздо более жесткой, чем палка рабовладельца. Это было внутреннее рабство, от которого не был свободен ни один член общества*.

Переход к земледелию и скотоводству (аграрная революция) привел к усложнению социальной структуры в результате укрупнения объектов управления.

Возросшая производительность труда создала возможность получения прибавочного продукта, за счет которого мог содержаться профессиональный аппарат управления и армия (дружина). За счет этого прибавочного продукта, сконцентрированного в руках правителей, осуществлялись меры, обеспечившие в дальнейшем развитие цивилизации (сложное техническое строительство, искусство, теология, философия, наука).

Традиционных методов внушения для управления таким обществом было явно недостаточно, к тому же темп изменения традиций не мог угнаться за темпом социальных изменений.

С другой стороны, поскольку сельское хозяйство было, в основном, натуральным, товарно-денежные отношения не могли быть использованы для изъятия прибавочного продукта.

Поэтому единственно возможным методом управления на

* Не случайно идеализаторы первобытного общества столь же безответственно зачастую ставили в пример человечеству пчел или муравьев.

этом этапе стал метод внеэкономического принуждения*.

Несмотря на господство внеэкономического принуждения, индивидуум в аграрном обществе был более свободен, чем в традиционном, ибо принуждение носило внешний характер, и его в ряде случаев можно было обойти.

Разделение труда и рост товарно-денежных отношений, окончательно восторжествовавших с развитием промышленности и возникновением массового городского населения, привел к появлению нового способа управления — экономической детерминации.

Несмотря на все его недостатки, о которых говорили социалисты, товарное хозяйство явилось оптимальным методом развития производительных сил, созданных первой промышленной революцией, оптимальным регулятором и организатором промышленной экономики.

На базе товарного хозяйства был достигнут высокий жизненный уровень во всех промышленно развитых странах. Отказ от внеэкономического принуждения позволил осуществить демократические свободы (права человека) и социальные гарантии.

Но проблема отчуждения не могла быть решена на базе товарного хозяйства.

Конкурентное противопоставление человека человеку, хотя и в несколько смягченном виде, продолжает оставаться социальной и нравственной нормой общества и в значительной степени ее движущим стимулом.

Уже на этом примере видно, что для отказа от внеэкономического принуждения была необходима промышленная революция и создание современной индустрии.

Как будет показано далее, отказ от экономического принуждения и товарно-денежных отношений станет возможным в результате второй промышленной революции и потребует решения целого комплекса социальных и технических проблем.

Без этой новой материальной базы переход к новому способу управления и организации, а тем самым и вопрос о социализме теряет всякий смысл.

Тем не менее, попытки построить социализм начались почти сразу же после появления социалистических идей.

В 132 году до н.э. в Пергаме произошло восстание Аристо-

* Как исключение, в некоторых изолированных областях земледельческое общество не переросло традиционного способа управления. Результатом этого явилось, однако, не идеальное общество, а стагнация и неспособность к дальнейшему развитию.

ника, в ходе которого восставшие пытались реализовать программу Ямбула, изложенную им в утопическом романе "Город Солнца".

Создатели подобных программ, стремясь к ликвидации товарно-денежных отношений, подходили к этому вопросу с разных позиций.

Если в одних случаях будущее мыслилось как переход к более прогрессивным способам управления, то в других отказ от товарных отношений означал возврат к более реакционным формам.

Эти противоречия на всем протяжении истории развития социалистических идей прослеживаются не только между различными социалистическими конструкциями, но и внутри любой конструкции, созданной одним автором.

Наряду с гениальными прозрениями социалистическая теория содержала в себе достаточно и реакционных идей.

Эти реакционные черты объясняются прежде всего тем, что из двух задач социализма — ликвидации нищеты и ликвидации отчуждения — наиболее остро стояла первая задача.

Осознавая ограниченные возможности современного им общества, ранние социалисты видели выход в ограничении потребления (аскетизме, принудительном нормировании, однообразии в одежде, жилье и т.п.).

Для достижения этих целей мыслилось жесткое подчинение личности обществу.

Даже самые ранние социалисты предчувствовали индикативный способ управления, однако существовавшие условия делали маловероятным его полное торжество, т.к. указанные ограничения требовали от человека слишком больших жертв.

Принцип же материальной заинтересованности считался неприемлемым, отсюда та роль внеэкономического принуждения, которой отдавали дань авторы различных утопий.

Характерен в этом отношении способ, которым Томас Мор предлагает решить проблему "грязной работы". Эти функции в его Утопии выполняла секта альтруистов, посвятивших себя служению людям. Но, поскольку таковых могло оказаться недостаточно, предполагалось и существование рабов, выполнявших "грязную" работу из-под палки.

Да и само по себе индикативное управление мыслилось скорее как внушение, чем как убеждение. А поскольку (и это было известно давно) эффективность внушения резко падает при наличии разномыслия, в истории социализма прослеживается тен-

денция к ограничению интеллектуальной свободы, догматизации принципов, на которых основана данная утопия, и изоляция утопийцев от "нечистого" ("буржуазного", как сказали бы теперь) окружения.

Противоречия между реакционным и позитивным социализмом впервые были осознаны в 19 веке и сформулированы Марксом и его последователями.

Для характеристики идеологии реакционного социализма Маркс ввел даже термин "казарменный коммунизм".

В полемике с русскими бланкистами Г.В. Плеханов предостерегал, что при неразвитых формах товарного производства его ликвидация может привести к тому, что захватившая власть партия "начнет искать спасения в идеалах патриархального и авторитарного коммунизма, внося в эти идеалы лишь то видоизменение, что вместо перувианских "сынов солнца" и их чиновников производством будет заведовать социалистическая каста. Но русский народ и теперь уже слишком развит, чтобы можно было льстить себя надеждой на счастливый исход таких опытов над ним" ("Социализм и политическая борьба").

Подобным оптимизмом и объясняется тот факт, что в социалистической теории 19 века противоречиям между двумя тенденциями социализма было уделено слишком мало внимания.

Между тем в периоды серьезных социальных потрясений на политическую арену выходили и начинали играть наиболее активную роль те деклассированные слои, о которых говорилось ранее.

Именно они наиболее легко усваивали реакционные элементы социалистических идеологий, результатом чего и явилось возникновение в 20 веке различных форм тоталитарных режимов.

На связь бюрократических идеалов с идеалами реакционного социализма указал еще Салтыков-Щедрин. Мысль о сочетании идеи прямолинейности с идеей всеобщего осчастливливания была возведена в довольно сложную и не имеющую идеологических ухищрений административную теорию ("История одного города").

Следует оговориться, что хотя идеология реакционного социализма и явилась одним из факторов, способствовавших возникновению тоталитаризма, последний отнюдь не есть какая-либо форма социализма (даже и реакционного), ибо целью тоталитарных режимов является удержание классовой позиции бюрократии (привилегированной прослойки), а совсем не ликвидация отчуждения, которое при тоталитаризме является даже более острым.

Придя к власти с помощью социалистической демагогии (а также демагогии, связанной с острыми национальными проблемами), тоталитарная верхушка очень быстро отказывается от всяких попыток построения социализма, ограничившись превращением частной собственности в корпоративную (или государственную), что, как указал Энгельс, еще ничего не решает*.

В работе "Анти-Дюринг" Энгельс писал, что признание общественной природы современных производительных сил заключается отнюдь не только в их огосударствливании, что является лишь формальным средством, а в том, что будет "с одной стороны, прямое общественное присвоение продуктов в качестве средства для поддержания и расширения производства, а с другой – прямое индивидуальное присвоение их в качестве средства к жизни и наслаждения".

Поэтому попытки отвергнуть социализм, опираясь на критику тоталитаризма, совершенно несостоятельны.

Несмотря на то, что в социалистических теориях была и реакционная сторона, несмотря на ошибки теоретиков социализма, в их трудах было немало догадок, открытий и озарений, ставших в настоящее время достоянием человечества.

Морально-этический идеал социализма – идеал всеобщего братства – оказал огромное влияние на историю человечества и, в первую очередь, на историю Европы.

Известно, какое глобальное значение для европейской цивилизации имело христианство. А между тем социалистическая сущность раннего христианства не подлежит сомнению.

Социалистические секты средневековья явились важнейшей идеологической предпосылкой Реформации. (Роль протестантизма в Нидерландской, Английской революциях и в формировании политических принципов США хорошо известны). Известно влияние на идеологов французской революции теорий Мора, Кампанеллы, Мелье.

У колыбели современных западных профсоюзов стояли социалист Оуэн и чартистское движение, имевшее социалистический характер.

Наряду с профсоюзами, современное лицо индустриального мира определило социал-демократическое движение.

Но, добившись значительных успехов в деле гуманизации то-

* Разрушив или ограничив товарно-денежные отношения, тоталитаризм отнюдь не переходит к более совершенным, а наоборот, при нем роль внеэкономического принуждения резко возрастает, что и дает основание расценивать эти перевороты как реакционные.

варно-денежных отношений, ни либеральные буржуазные политики, ни социал-демократия не ставили своей целью преодоления товарно-денежных отношений и связанного с ними отчуждения, в результате чего термин "социализм" в интерпретации утратил свой содержательный характер.

Относительное материальное благополучие современного Запада создавало впечатление, что задача построения общества всеобщего благоденствия фактически решена и без построения социализма.

Однако события 1968 года во Франции, деятельность "красных бригад" и тому подобных организаций в Японии, Западной Германии и Италии показывают, что до всеобщего благоденствия еще очень далеко*.

Наличие большого количества озлобленных аутсайдеров, неизбежное при товарно-денежных отношениях, неравномерность мирового экономического развития, интриги тоталитарных режимов – вот те факторы, которые при всеобщем отчуждении в любой момент могут вызвать серьезные социальные потрясения, вдохновляемые идеологией социализма.

Любые антисоциалистические идеологии оказываются в критической ситуации бессильны перед ней и, как показывает опыт истории, зачастую они сами превращаются в одну из разновидностей реакционного социализма и приводят к установлению тоталитарных режимов. Единственной возможностью противодействовать реакционному социализму является позитивный социализм.

Со времени Маркса считалось, что главной движущей силой социализма является рабочий класс. Однако история показала, что чем более зрелым становится рабочий класс, тем более тред-юнионистски он настроен**. В этом смысле Маркузе совершенно прав, говоря, что современный рабочий класс интегрирован индустриальным обществом. Забастовочное движение ставит своей задачей улучшение условий продажи его рабочей силы, а не отмену системы купли-продажи.

Кроме того, удельный вес рабочих в развитых странах неиз-

* Реакционный характер идеологии этих организаций проявляется не только в избранных ими методах борьбы, но и в ориентации на деклассированные элементы в собственных странах и на авторитарно-патриархальные идеалы третьего мира.

** Не случайна слабость компартий во всех развитых капиталистических странах, кроме Италии и Франции, где популярность коммунистов обусловлена их заслугами в годы Сопrotивления.

менно падает, соответственно падает и роль рабочего класса в производстве.

Ведущей силой современной индустрии становится фигура инженера. Современная индустрия требует огромного количества лабораторий и НИИ, создающих для нее технологию, а также большого числа преподавателей, готовящих для нее кадры.

Кроме того, материальное богатство общества, усложнение общественной жизни и потребностей современного человека приводят к тому, что потребление знаний (информации) становится одним из серьезнейших аспектов человеческой жизни, что вовлекает в сферу их производства (помимо производства знаний для индустрии) значительные контингенты людей. Даже индустрия развлечений (туризм, спортивные соревнования и т.п.) фактически сводится к получению новых знаний.

Эксплуатируя эти тенденции на будущее, можно утверждать, что именно производство знаний станет важнейшей отраслью человеческой деятельности, а интеллигенция станет основной силой общества.

Очевидно, что оптимальное регулирование производства информации должно носить иной характер, нежели регулирование промышленного производства.

В отличие от прочих продуктов человеческой деятельности, информация не распределяется, а распространяется (т.к. стоимость процесса размножения и материальных носителей может быть сколь угодно мала по сравнению со стоимостью и значимостью самой информации).

Информация есть первый продукт, который может распространяться и уже частично распространяется по потребности.

Сеть библиотек, курсов, лекториев, музеев и т.п. — все это примеры нетоварного распространения информации.

В отличие, скажем, от станка, который система товарно-денежных отношений (в идеале, конечно) заставляет использовать там, где он дает наибольшую прибыль, информация может быть одновременно использована в разных местах.

Поэтому всякая монополия на знания экономически нецелесообразна, вредна, а, следовательно, и антигуманна.

Поскольку получение информации — труд творческий, постольку сам процесс и удовлетворение любознательности могут служить стимулами сами по себе.

Кроме того, стимулом деятельности здесь могут служить

такие виды поощрения, как популярность, уважение, престиж и т.п.*

Может возникнуть вопрос: ну, а промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг и т.п. — как будет обстоять дело там?

На это можно сказать следующее: сельское хозяйство на определенном этапе носило натуральный характер. Промышленность, подчиненная товарно-денежным отношениям, как только она стала основной сферой деятельности людей, подчинила этим же отношениям и сельское хозяйство (соответственно преобразовав его техническую базу и резко уменьшив количество занятых в нем людей, несмотря на то, что сельскохозяйственная продукция до сих пор остается основой существования человечества).

Экстраполируя эту закономерность на будущее, можно утверждать, что производство знаний, став основной сферой, подчинит своим законам и остальные виды человеческой деятельности.

Таким образом, вторая научно-техническая революция делает возможным переход к принципу "от каждого по способностям, каждому по потребностям".

Отказ от экономического способа управления поведением человека, следовательно, и от товарно-денежных отношений, означает, что на смену ему приходит новый способ регулирования — индикативный, при котором согласование деятельности достигается не путем внеэкономического или экономического принуждения, а путем добровольного следования совету или доказательству.

Простейшим примером такого способа управления являются взаимоотношения врача и пациента.

Поскольку индикативный способ управления не предусматривает никаких санкций, это открывает широкий простор самоуправлению низовых коллективов и обеспечивает наиболее полную свободу человеческой личности.

Однако и при победе нового способа управления старый способ исчезнет не совсем, а отодвигается на второй план.

Так, господство экономического способа управления отнюдь не ликвидировало внеэкономического принуждения, оставив ему довольно широкую область уголовного права. Вполне вероятно, что при индикативном способе управления экономичес-

* Можно привести такую аналогию: человек, нашедший самородок, стремится похвастаться своей находкой, при этом оставляя его у себя. Человек, сделавший открытие, демонстрируя его, тем самым передает его другим. Ему достается престиж, а общество получает открытие.

кий способ будет играть определенную роль, особенно на первом этапе.

Рассматривая экономику будущего социалистического общества, выделим две проблемы: проблему собственности и проблему плана.

Поскольку на пути к социалистическому обществу экономика будет лишь постепенно выходить из-под влияния товарно-денежных отношений, ликвидация частной собственности будет происходить тоже постепенно, неравномерно в разных секторах.

Вопрос о национализации является вопросом не принципа, а экономической целесообразности.

Единственным принципиальным вопросом является реальное участие трудящихся в управлении производством.

Постепенный переход к самоуправлению и является средством ликвидации отчуждения, на первых порах внутри данного предприятия.

Что касается планирования, то необходимость его сейчас ни у кого не вызывает сомнений. С самого начала строительства социализма регулирующая функция товарно-денежных отношений должна заменяться планом во всех случаях, когда дело касается общественных потребностей (здравоохранение, образование, охрана окружающей среды, связь, транспорт, дорожное строительство, энергетика, жилищное строительство, эксплуатация недр).

Производство товаров личного потребления долгое время останется в сфере товарно-денежных отношений ввиду практической невозможности планировать их производство.

В этой области возможно только прогнозирование, если, конечно, общество ставит своей задачей не подгонять потребности людей под результаты жесткого плана (что возможно только в условиях полной государственной монополии), а наоборот, формировать свои планы, выполняя запросы членов общества*.

Достоверное прогнозирование может быть осуществлено только при условии кибернетизации.

Разумеется, что результаты прогнозирования должны использоваться в интересах общества, а не для достижения максимальной прибыли отдельными фирмами и предприятиями, и руководство прогнозирующими институтами должно осуществлять общество.

* Социализм детерминирует производство с учетом потребностей людей. Тоталитаризм детерминирует потребление, исходя из интересов производства, в свою очередь, ориентированного на интересы правящей бюрократии.

На основании этих прогнозов могут быть выданы и рекомендации.

Поскольку выполнение рекомендаций планирующих органов (при условии их компетентности) будет обеспечивать и успех предприятия, никаких других форм воздействия не потребуется, и планирование в индикативном варианте постепенно подчинит себе все производство.

Условиями осуществления индикативного управления являются:

1. Низкий уровень социальных противоречий, обусловленный высоким уровнем развития техники и культуры.

Для иллюстрации того, как уровень техники влияет на способ управления, приведем такой пример: возьмем кочегара газовой котельной и кочегара примитивной угольной топки. Распоряжение поднять давление пара будет воспринято ими по-разному: первому достаточно повернуть задатчик на регулирующем приборе, от второго требуется значительное физическое напряжение. Естественно, что во втором случае необходимо, чтобы указание было подкреплено возможностью экономических или внеэкономических санкций.

При низком уровне противоречий личность будет способна к определенному самоограничению в интересах общества (если ей будет доказано, что это — действительно интересы общества).

С другой стороны, общество должно быть достаточно стабильно, чтобы частное своеволие не создавало серьезной угрозы общественным интересам.

При таком положении дел многие болезненные вопросы сами собой отпадут.

В условиях плохой звукоизоляции современных домов вопрос шума у соседей зачастую может быть решен только полицейскими методами, или требует значительного самоограничения.

При хорошей звукоизоляции необходимость самоограничений резко снижается и полицейские меры не требуются.

2. Высокая компетентность и объективность советов.*

Компетентность во многом связана с развитием кибернетики, позволяющей просчитать многие экономические процессы, а также с развитием наук о человеке — психологии, социологии и др.

* Такое название рекомендательному индикативному органу управления мы дали, исходя из исторической аналогии. Вспомним, что органы внеэкономического принуждения на Руси именовались приказами. Вспомним Тайный Приказ.

Перед социал-демократическим движением отсталых и тоталитарных стран эта задача сейчас и стоит.

Им предстоит добиться осуществления политических свобод и прав человека, поставить прессу на службу обществу, а не правящим классам, организовать мощное независимое профсоюзное движение и сделать идеалы социализма достоянием широких масс, очистив их от реакционных сторон и противопоставив псевдосоциалистической тоталитаристской демагогии.

Что касается объективности, то ее гарантирует только широкая система демократического контроля, подлинная выборность, независимая пресса и опять-таки высокий культурный уровень населения.

Эти же факторы обеспечат субъективную уверенность членов общества в правильности и обоснованности даваемых рекомендаций.

Таким образом, мы видим, что непосредственную возможность перехода к социализму имеют страны с высоким уровнем развития техники и культуры и низким уровнем развития социальных противоречий. Им остается пройти лишь завершающую часть пути к социализму.

Отчуждение нельзя ликвидировать каким-нибудь декретом. Его вообще нельзя ликвидировать извне. Можно лишь создать условия, при которых и отчуждение не будет навязываться внешней средой.

К сожалению, такие страны составляют меньшую часть человечества. Громадное большинство людей живет в странах отсталых либо в политическом, либо в экономическом, либо в том и другом отношениях.

Само собой разумеется, что все тоталитарные режимы относятся к категории отсталых (сколь бы ни была высока их экономическая база).

Этим странам предстоит пройти еще тот отрезок общего пути к социализму, который в передовых странах уже пройден и который с большим основанием можно связать с деятельностью профсоюзов и социал-демократии.

Рабочее движение, не сумев преодолеть систему товарно-денежных отношений, тем не менее достаточно реформировало ее и создало общество, способное перейти к социализму.

ДИСКУССИЯ С ДИСКУССИЕЙ

В декабре 1978 г. в Москве, в Центральном Доме Литераторов, состоялась дискуссия "Классика и мы", которая вылилась в острый спор о том, какой быть России, в спор между великодержавной тенденцией и либерально-демократической. В прошлом выпуске "Поисков" мы поместили стенограмму дискуссии с комментарием Раисы Лерт. В данном выпуске мы продолжаем публиковать материалы по поводу дискуссии "Классика и мы", помещенные в основном в самиздатском №6.

И.Н. Поньрев

ЧТО У КОГО ПОЧВА?

Из помещенной вашим сборником записи выступлений, неполной и весьма обдуманно неполной, это чувствуется, да из комментария, опирающегося выводами на ту же запись, следует, что многие в Москве остались недовольны. Чем же? Не тем разве, что безобидный спор об "интерпретациях" соскочил в круг русских болей и нерусских обид, когда всплыло имя России, замызганное и нелюбимое, да не встречающее равнодушных? Собравшись по поводу литературы, школы, политики, Бога — о чем всегда говорим, не о России ль? Разговор тут долгий, не по сегодня-завтра, он обойдется и без твоего-моего участия — не беда: на заносчивых, самоутверждающихся, недовыхехавших и пр. — еще найдутся больные Россией. Не страна нам обязана объясняться, а нам еще поболеть, поразмять свою кожу и гордость, чтоб достичь этой речи, слова этого. У слова "Россия" долгий раскат смысла, слава Богу, к нему не приходится присоединять прежних наивных словечек

о "миссии", о "своеобразии" и т.п. — все это состоялось, и отпала надобность в словах. Сегодня не нужны никакие гороскопы — судьба страны зримо составлена в ее и общей истории. Все на то поработали. Сей день и сей час каждый в России и поставлен перед заслуженным, и что бы ни говорили об "ужасном прошлом", ужаснее заработанный выбор на т р е х .

Выехать ? Недовыехав, остаться? Или с Россией — быть? . . .

В этой дискуссии была заминка, повторившаяся не у одного и не раз. На нее, похоже, не обратили внимания. Для этого я второй раз, от начала к концу, пробежал речи, и вот.

Начал, как и вообще первым в зале заголосил, не Палиевский, а порядком струхнувший Эфрос:

— . . . Я очень волнуюсь . . . Я СНАЧАЛА ПОДУМАЛ, ЧТО МНЕ, МОЖЕТ БЫТЬ, И ГОВОРИТЬ НЕ НАДО . . .

Тему продолжил всесоюзный наш Евтушенко:

— . . . Я НЕ ХОТЕЛ ВВЯЗЫВАТЬСЯ В ДРАКУ, НЕ ХОТЕЛ НИ С КЕМ СПОРИТЬ . . .

Вслед Жене — и Борщаговский с тем же:

— . . . Я НЕ СОБИРАЛСЯ ВЫСТУПАТЬ, меня на это подвигла полемика . . .

А там и Битов:

— . . . Я хотел говорить о классике и о нас . . . Тем не менее, ПОЛЕМИЗИРОВАТЬ Я НЕ ХОЧУ . . .

. . . и Ломинадзе:

— . . . Выступление предшествующих ораторов СБИЛО МЕНЯ С ПЛАНА . . .

. . . и Инна Роднянская:

— . . . В ВОЗНИКШЕЙ ЗДЕСЬ ПОЛЕМИКЕ Я УЧАСТИЯ ПРИНИМАТЬ НЕ БУДУ . . .

Вы поглядите только, что за твердость! И щемящая солидарность — пришли на дискуссию, не чтобы спорить (зато "с планами"). Вообразим большой зал ЦДЛ, который, как сообщает автор записи, — "полон. Стоять негде", — кем полон? И собравшихся не спорить, не полемизировать, с планами благодушных выступлений о самих себе. Их — целый большой зал!

А еще место . . . ЦДЛ — это страшно далеко от России, еще дальше, чем в целом вся Москва. В ЦДЛ прекрасный буфет, в России не бывает таких буфетов, и неоткуда быть. Не мне сказать, что от известнейшего Булгакова знаем, чем кормили "у Гри-

боедова”. И так, при чуме обещана дискуссия о классических ценностях, дискуссия с ужином ”у Грибоедова”. Докладчик выходит в зал . . .

Первая непрощаемая Палиевскому обида та, что он не принял условий игры, и с самого начала *отказался разговаривать* с этим либеральным варьете, разговору о классике предпослав выяснение вопроса о НАС. И дискуссии ”о классике” пришел конец. Одни тут же теряют голову от страха, уж не готовятся ли их ”прорабатывать”, другие озираются с преувеличенным видом достоинства, однако втихомолку присматривают запасной выход; третьи теребят засаленную либеральную перчатку, не зная, кому ее бросить — вдруг не возвратят, известное дело, все почвенники воры и бандюги . . . Или кто лепечет с трибуны — что это вы . . . мы вас читаем, любим, вы же так приятно . . . про Пушкина вот писали, про Грэма Грина. . .”, зачем так неистово топтать” здесь, где все свои?

Да, Палиевский как раз на том и поставил, что не надо нам больше таких ”своих”! Когда говорится ”мы”, это отнюдь не значит ”все мы”, отнюдь еще не значит!

”Мы полукультурны” — Битов: заявляя строем фразы, что хоть несколько не относит полукультурность и *к себе*, распространяет ее через ”мы” на всех прочих. — Такое у него ”мы”.

”Мы все запряжены в упряжку русской литературы” — вприпрыжку пристраивается ”к Гоголю” Евтушенко: ему не впервой. Для него ”мы” — это стремена, куда вставить ногу — где ”все мы”, то уж он в первых рядах, и не преминет ляпнуть кокетливо, что ”н а с хвалят советологи”, советологов же затем и лягнув. У него такое ”мы”, пряткое. (Золотусский в таком ”мы” верно почувял на своем хребте Женечкин башмак: ”Я не желаю быть с Евтушенкой в этом тесном местоимении”). Но н и о д н о г о не было совестного МЫ, ни одного собирающего российского МЫ, кольцующего в общей вине, в задаче и судьбе общей, — но главным, режущим и неудобнейшим углом ее на себя возлагаемой.

Сегодня все ”мы” говорливых дискуссий суть московский способ начать от лица всей России, особо и своим кружком. Такова отсебятина, в том числе круговая или салонная отсебятина, что наружу она вывернута беспрекословным: ”Правда вот: ”Хочешь войти в рассуждения — все твои боли давно обращены в ”проблемы” и ”темы”, а т е — позаняты, расписаны между журналами и кружками. Изволь приобрести проездной талончик, кружковый или партийный, мне все равно! Таковы сегодня все (негазетные,

конечно) городские идеи: идея равенства прав городского человека со всяким другим городским человеком, идея права городского человека выезжать, куда и когда захочется, идея горожанина о "родниках народной души", будто он, собирая опенки у своей загородной дачи, природен, народен и религиозен. И не полагайте, не помышляйте, что посягнуть на непроведенные границы позволенных тем вам дадут — у нас есть меры пресечения и негосударственные, средства пока невластные, нефизические, но действуют крепко.

Только, если высказанные ваши мысли никчемны и тем удобны, их преследуют догадками о ретроградном подтексте, в них для городского ума не покажутся Сталин и чернота. В противном случае, особенно при слове **Р о с с и я**, зреют и лопаются гроздь гражданского гнева: тех же вздоров о союзе "сталинистов" и "деревенщиков", идущих громить театр на Таганке по указанию Астафьева и Шиманова. Стоило придумать нелепый вид, а там уже он оброс "логическими подробностями", правдоподобнее всякой правды. Идет проработка частных: вот вам и "Кремль ставит националистический эксперимент" (попробуйте, представьте: цековский Отдел пропаганды, ставящий эксперимент), вот уже неназываемые темные силы "гнетут" Эфроса, мечтают сокрушить преопаснейшего Любимова (анекдотический куль в остатке раздутого Западом и "Правдой" — дела Любимова, живейший пример потолка "экспериментальных" талантов ЦК). Все? Как бы не так. Оказывается, заключена "сделка с властью", Политбюро тайно перешло с коньяка на квас и берет краткосрочные уроки русского языка.

Тут не пикни, слышь, тут — не Россия уже, а "мир в опасности!", "русский национализм — угроза человечеству". В общем, трепещи Канада и Австрия, — "идут мужики и несут топоры . . . что-то страшное будет!" Теперь что не так, слово не то, или фамилия тобою произнесена, вроде "Коган" — навалом тебя — в форменные стукачи, в шовинистическую шваль: кончай гада! В общем, по тому же смачному Багрицкому:

Ну, а кто подымет бучу —
Не шуми, братишка:
Усом в мусорную кучу,
Расстрелять — и крышка!

Слава Богу, не получил нынешний городской гуманизм аксельбантов и к кобуре не допущен . . .

Кто в середине?

Но без кобуры, сами понимаете, гуманизму — никак. Из этой беды — безвластия — выручает нас столичное мнение. Оно же и мировое, не сильно ошибетесь.

Есть среди либералов похитрее и поглупей, есть с известным именем, а есть мелюзга, словом, всякий здесь народ. Вместе они составляют текущий состав либерального варьете, но самая хлопотливая часть: организация публики, распределения ее по рядам и раздача кружковых билетиков — не их. Даже всякий ли час нуждается наш прогресс в "самом" Кармазинове? Нет, не всегда. Дело Кармазинова — просочинить афоризм, а там уж его распространят. Кармазинов его и придумывает, норовя кстати ("Патриотизм — последнее прибежище негодяев" — Аплодисменты). Следующий час принадлежит не ему, а политической швали.

В отличие от ораторов в ЦДЛ и комментаторов (из идейно сердитых мужчин и политически озабоченных дам) никого мы не хотим подразумевать здесь, кроме прямо названной ш в а л и , откровенно разнуздавшейся до того, что пора назвать вслух. Ни одна городская идея не выходит в путь без задней мысли, всякое московское "мы" имеет и свое дно, всякая нация располагает своими мерзавцами и даже почитает их за атрибут независимости. В обычные времена это серое дно колышется где-нибудь внизу, не особенно вздымаясь и не отравляя верхних слоев. Но вот эпоха — Город, этакая "мировая деревня", рой столичных кружков, хуторов, интеллигентных околиц. Шаг за любую околицу, и ты не в России, ты — в миру, на высочайшем современном и интернациональном уровне. Здесь Петр Петрович запросто письмецо за письмецом подмахнет кардиналам и президентам, а Нил Нилыч шагу не ступит через Пятницу, чтобы не оповестить нас о "шаге редкого гражданского мужества". Здесь и постовой поостережется штрафовать за неположенный переход улицы, раз по манере держаться и по смутно знакомой фамилии — то ли министр, то ли диссидент: черт разберет! . . . поймет, что такой — не по ведомству.

. . . И тут же, близко, совсем рядом, откинувшись в "Чайках", разметавшись внутри Кольцевой — с а м а в л а с т ь , демократически доступная шоферскому интиму подшучиваний, и отнюдь же не страшная: какая ни есть державно всемогущая, и связанная — другими великими реальностями, что из Москвы не видны. В отличие от зримых свойств — толпы чиновников в метро — "пик", надменной сталинской дуры МИДа на Садовом — реаль-

ность потусторонней России трехсот миллионов и потустороннего мира четырех миллиардов (то, что связывает власти руки на дурака) исчезающе мелко! Подчас кажется — пустота, только взяться — и пересилишь.

Два поприща, суживающееся власти и растущее у городской интеллигентной, противостоящей среды — не судя ни одного из них, спросим, *что между* — не пересиливающее ли обе их силы?

Где нет ни чиновной дисциплины, ни моральных крайностей, где не производят дрянных машин, но и не болеют о собственных, пускай тоже не из лучших, "идеях" — *кто посередке*, в мертвой зоне сердца и совести, в этой подвижнейшей из городских сред, человеческих сумерках — где пьет, ссорится, протестует, восторгается и кишит непросыхающая столичная шваль, неофициальный полусвет и официальный сброд?

И здесь-то копится пересиливающая власть сила, вот беда. Босяковатая южнороссийская пьянь и мрачная пьянь великорусская, оборванные алкаши с их опрятными волевыми женами причистеньких гостиных, те неопасны, покуда их не оболтали, не настрополили и не одарили прогрессивной всепоедающей идеей (хоть: "цыганы русских прижали"). Страшнее их необорванная, полуученая, способная недельку-другую пробить трезвой столичная гольтьба: напористо-безнациональная. Гольтьба перезванивается, переругивается через советские журнальчики из одного салона в другой, но способна присочинить и статейку в "Монд" (попробуй-ка не опубликуй — а мы по рукам пустим, и еще про эту "Монд" с припиской, что "боится Советов"), легко пристраивается в списках протестов, благо несть им числа; и не в самом конце.

Шваль с адресами, дрянь с именами, стрючки со списком "трудов" и скарбом всенародных претензий: им до мировой арены раз шагнуть, через Пятницкую. Им от неопохмелки — в Мефистофели — шась! . . . к ближайшему телефону, и номерок, номерок втихую, и там уже вдруг трезвея и возрастая в собственных глазах: ведь сердечное состояние швали для нее — "посредническое" — прямо, ну тебе "Поэт и Царь", прямо — . . . А ответь мне, Пушкин! . . .

Сегодня чернь в полу-оппозиции, развлекаясь этим полуофициально. Так смываются недавние рубчики стыда, сматываются шагатные границы между моральностью, независимостью — и бесстыдным празднобесием, богемностью, "современностью". Такова наша с е р е д и н а, пространство занятыц столько неразрешенных, сколь ненаказуемых, пограничное как с властным, так и с оппозиционным поприщем, сохраняя входы (и выходы) туда и

сюда. Не она пока делает музыку, но не она ли уже отбивает ее такт? Прощела же вся эта пакость в той московской двусмысленности, дополняемой западным радиогласием, где так легко хоть огородами, хоть задними последними ходами, хоть ненадолго выскочить в самый-самый "круг света" (вокруг — толпа отбивающих такт — "шире круг!"), и сделав пяток юродских "па", сорвать аплодисменты — ах, велика важность, чьи — пускай закулисные, от "своих", коль не повезло на ООН! . .

Всюду здесь полутемно, в ходах и выходах легко столкнуться то с мировой радио-"примой", а то с полковником в штатском, или вот западный корреспондент, никак в полумгле не могущий различить в людях . . . и всюду, везде с низких потолков свисают важные кончики, ниточки и веревочки, и за каждую дерни, и не позабудь отметить — наша деревня-то *мировая*: дернул за веревочку, а отозвалось прямо на "мировой арене", в вечерней передаче "Голоса". . . — Угадать бы, вот бы угадать-то, какую! . . . Можно бы привести недолгий перечень обсуждаемых имен и "тем" швали (да нельзя: пойдет за донос!) — не тяжкое бремя того, что у нее считается "культурным вкладом" и "современными духовными ценностями": пьеска в полнамека, повесть про дом, про сад, роман про пенсионера, фильм "Июльский дождь", где показано, как она страдает, и "Зеркало", где она исстрадалась вконец.

Насколько все это далеко от медленного, злокачественного кружения людских масс — дома, палисады, полупустые поля, провонявшие гастрономы — внутри которого угадываешь, наоборот, сорванность с места и неспособность остановиться, прорастить внутрь . . .

Кстати, о Багрицком

Наивысшее, что противопоставил гордской гуманизм революционной поэзии (отрекаясь от родного дитя) — НЕЛЬЗЯ ПОЭТИЗИРОВАТЬ ЖЕСТОКОСТЬ. Верно, нельзя (сказал, и полегчало, будто променял целковый на гривенник). В этом "нельзя" есть отзвук большого счета, до либералов и без них предьявленного веку саму. Но видно, по этому счету готовы спустить все несравненное, непросчитываемое в гривенниках, все, что опаснее, чем чай гонять — а вся классика и вся Россия такова. Ибо что же с т о к о с т ь ? Что позволено по этому "нельзя" — к жестокости наверняка причесть?

Беспорное: абажуры из людских кож, матрасы из женского волоса и крематорный тук — сюда? Их никто одописать и не про-

бывал, а взять бесспорную поэзию — что там не жестокость? Не суров ли старый Бульба, порешив Андрея, несчастного любовника? Не противоправно ли знаменитое "Тебя породил, тебя и убью"? Предмет здесь для гоголевской поэзии или не предмет? Предмет ли сцена, когда в Днепре топят "жидов" (простите — Гоголь!) или не предмет?

Все жестоко. Немяжок Коган — гребя из-под крестьян хлебушко, жесток Опанас, кончивший Когана. Благой завет привозной морали (а другой не имеем, у нас вся такая, чтоб не про нас писана, а про Гоголя) обернется досужим судом над поэтами.

Верных принципов много имеем, а сами верны ли мы своим новым, чистым, химическим принципам? И дикарь привозному зеркальцу радовался, часто подносил его в темноте к самому носу, и даже молясь тайком, но до повторного появления кораблей капитана Кука на горизонте ему не дано было узнать простого символа этой вещи. А едва разъясняется (в обратном переводе на русский) один простой смысл, как становится еще хуже. Капитан привозит своему "развивающемуся" другу из демократической Англии — судейский парик, и бедному дикарю приходится, важно воссев под пальмой, судить свое прошлое, всех его Багрицких, Коганов, Лениных и прочих.

Кто знает, когда теперь снова и с чем еще завернет к нам капитан Кук . . .

Легко обратить к стиху Багрицкого принцип "современной", непрожеванной морали. Труднее понять, чем он царапает слух и задирает тебя до того, что стал возможен вопрос — а были ли в России такой поэт — Багрицкий?

Вы почитайте стихи. Как мир его ужасно тесен, дьявольски зажат. И не "догмами" — в порываньях, в восторгах-то всего более зажат и тесен. В "ТВС" и без выгодного для критика-гуманиста цитирования "Если скажет солги — солги . . ." — само выходит, до тошнотворности осязаемо ясно, что путь лежит только к тому ". . . Коли скажет "убей" — убей". *Изнутри* этого мира честного пути человеку нет, в нем живя, невозможно с Багрицким не согласиться, но сегодня пусть объяснят, как человек из нехудших попадал в такой мелкий (под видом *мира!*) сосудик, уверенный, что все здесь "щелкает", "звонит". Секрет сей гуманизму дешевле обойти — не далее, как позавчера, он и сам в той же бутылочке — заливался и щелкал.

Мир Багрицкого не подозревает, что он узок, себе позволяя расстегиваться, разнуздываться — "Ай, Черное море, хорошее море!", но и на этой, осязательно переданной волне, самого поэта не

выносит наружу — волна, как в днище баркаса, бьется и упирается в историческую тупь: *в единственность жестокого мира*. Уйти из него поэту некуда, и он, — совестью, словом поэта, — приговаривает себя к главному бремени — ”убей”: но с собою-то тем же словом и всех нас! Ладно, пока мир кромешный не поймал на слове, пока он позволяет бить Таганке, интерпретировать классиков и читать тонких литературоведов, буде таковых печатают. Но это поблажка, прихоть. Когда он все-таки ”. . . скажет ”убей” — кроме как эхом отозваться некуда: и убьешь.

Сегодня все это кажется нестрашным. Стремительно тает шагрень ”великой эпохи”, именно видимого ее — и врагами неоспоренного — величия, тает так скоро, что видно — на обычном остатке быта, главкой в учебнике не осядет и не успокоится (а предлагалось вводить новое всемирное летоисчисление еще не более, как лет тридцать тому). Нет, все тает в ничто. Не провалиться бы в эту свою ”главку” — всему учебнику.

Сегодня все нам помеха: кого когда потрясали, восхищали и нежили Дзержинские, являвшиеся в поэтически-туберкулезном удущье, и астральные Ленины с ”фотографии на белой стене”. И современные литературоведы (с глазу на глаз, конечно) объясняют, что все это было дело в Сцилле и Харибде, то бишь в Петле справа и Мифе слева, отчего Миф то и дело подводил под Петлю, а Петля виделась в дымке Мифа, — снастью романтической бригантины . . .

. . . Ой ли. Если так, то куда сгинул матерый исторический бык, Миф, заморожавший не одних продармейцев, вышедших в писатели, но и тонких интеллигентов, вышедших на старости во вдовье мемуаристы? Прянувшее ”из-под” революционного Мифа настолько непохоже на все те стальные речи, оказавшиеся былью, настолько совершенно не то, что было сперва воспето, а после разоблачено — . . . И ничего не зналось и не ведалось душой поэтической, то есть пророчески особенной чуткой?! Встреча поэта с Мифом не бывает случайна, самая мысль о случайном избранничестве оскорбительна для поэта. Чтобы встретиться, оба должны были *порознь идти навстречу*, поэт и ”век-часовой”. Ведь зачем-то вызывали поэты в свои туберкулезные кельи этих призраков, чтобы не свою совестью выбирать, чтобы ТЕ ИХ УБЕДИЛИ СОЛГАТЬ И УБИТЬ*.

Убалтывая себя, поэты убалтывают при этом и остальных; тогда получается, что мир тесен, а катарсис — ”выстрелом рваться вселенной навстречу”, всему уйти в волну, упереться — и двинуть в днище баркаса, — на веселое бандитское дело, — к рулю ко-

того, спихнув уклонистов Янаки и Ставраки, становится уса-
тый "папа Сатырос", вождь всемирного пролетариата. Тотальность
давки, воспетая как тотальность радостной жизни и ослепительно-
го величия, не одна и не просто *ложь*. Но и не скажешь, что святая
правда (за вычетом "обстоятельств"). Не сотворился же наш сего-
дняшний мир вдруг, из одной мартовской давки при похоронах
"папы Сатыроса" в Москве 53-го года!

Здесь главный вопрос о трагической тесноте века, той толчее
соблазна "единственной дороги", на которую многие вышли и не
вернулся ни один, хотя каждый дошел до своего упора.

Я выхожу. За спиной засов.
Защелкивается. И тишина.
Земля, наплывающая из мглы,
Легла, как неструганная доска.
Готовая к легкой пляске пилы,
К тяжелой походке молотка.

И никому не открылось иного выхода, кроме Мандельшта-
ма, но тот выходил на совершенно другой путь, и Пастернака,
свернувшего с полпути; Багрицкий же — честно: проследовал по
"неструганной доске" за борт.

Не только мир без выбора это, но и мир, где искренне отка-
зывались выбирать и поэтически отрекались от пушкинской "тай-
ной свободы". Критерий измены, конечно, не у бойкого Куняева
в кармане — он *в самой поэзии* двадцатых — тридцатых годов, бо-
лее того, *измена и была тайной ее лиризма, человечески-внятной*
тогда каждому ее струйкой. Пафос Багрицкого — дух отказа от
благоприобретенного, пафос стряхивания всего несовременного,
несоразмерного эмоции подвластия. Тот сплав, который бывал ос-
лепительным, светозарным, как Люцифер, не только отвечал воле
века и личной потребности поэта — он еще и формировал, лепил, тво-
рил многое наперед, нарасхлеб. Кто ответит, что хуже — бездарь,
рифмующая для газет о "вредителях", или весь нервозный к себе
обращенный стих того же Багрицкого, где мельком поминается
якобы подносимый в дорогу" пролетариату (кем?!). "отравлен-
ный чай". — Такое сильно, такое запомнится надолго.

Вот поэтические векселя, по ним уже нет оплаты. А ведь у
Пушкина ни один стих ни строчкой не ручался за ту эпоху, всяк,
однако, стараясь быть человеку словом, путем и верной опорой:
и это рвание русской поэзии еще в начале пути было волей с ка-
ким-то если не обратным Багрицкому, то совершенно иным эсте-

тическим и нравственным знаком. Пушкин от бесследной пропажи "его" эпохи ничуть не убыл, в девятнадцатом веке не осталось никаких его "имений". А вот для революционных романтиков до первого ареста с утратой исторического средства происходит обвал.

Чтобы довести заветное, не исчерпанное каким-то одним временем, Багрицкий должен был переступить через весь свой поэтический мир и, главное, свое одобрительно-поэтическое отношение к этому миру. Он этого не смог и умер от своевременного туберкулеза. Как, спрашивается, это сделают его стихи, не имея собственных средств для такой задачи, лишённые прямого, открытого, без паспортных и календарных отметок словника: русская речь — России . . . Главный труд по "интерпретации" возлагает поэт на читателя — а это уже не подлинник. Все ли пойдут сегодня на романтическое рандеву с "папой Сатыросом", хлюпя в отравленном чае, об руку с мнимым Феликсом — "вселенной навстречу" (рифмующейся у Багрицкого, кстати, с — "кровь человечья" . . .)

Речь немых

Вам покажется удивительным и обидным, что я все валю на поэтов эпохи, а не на ее негодяев. Над негодяями, однако, сильнее моих наветов, "есть грозный суд. Он ждет . . ." — и над многими уже свершился. Власть негодяев кончается с их смертью, поэты же будут на земле среди нас до конца всех расчетов, и до последнего Суда их судить не Богу, а людям. Негодяи проваливают черепа, — но приходят на смену дети. В поэтах проваливается, возможно, большее, не восполнимое и детьми — смысл, внутренний строй человеческих нравов, твердь под простым человеком — и, на смену людям, из провала посерединке приходит мразь.

Вы сможете сегодня говорить языком Багрицкого. Нет, конечно, и в этом сравнялись обличитель дня с его охранителями: и тот, и другой *не понимают* вещей, корневых для речи тех лет. Однако вы разговариваете — как же? Откуда ваш язык, куда уходят его корни и отчего так вертлява современная речь?

Вроде бы ищет она "современную форму для современного содержания", плывуча в меру дня, в меру определенна и невероятно искушена: знает приемы, стили, умело смешивает их в необычных сочетаниях. Язык не знает хребта — он гибок, настойчив, сорит метафорами и ассоциациями. Разнемевав после Сталина, свихивается в болтовню, а то вдруг замолкает — не подобраны

еще те слова, которыми хочет высказываться его мир.

Тут-то мы хватаемся искать слова, спасать в языке оставшееся от его надысторического скелета — но слов нет, но язык наш без костей, готовый молоть чушь по всякому юбилею и без. Прошедшая эпоха — самоубийца навалила груды мертвой языковой материи (навоз для газет и совписателей), но органика смысла исыхла . . .

И пускаются в азартные игры, во все тяжкие ставят на жаргонные слова-эмблемы *бывших* смыслов, слова "со значением", даже с подтекстом, чуть не всякое и не все. Язык обрастает и охрящивает с элегантностью динозавра, имея издалека вид "образный" и "выразительный" (геральдика "современного письма", "современной речи"). Но вам захочется ли так говорить, как пишет Битов? Нет, еще попрекнете писаревщиной, лучше спрошу — вам захочется, чтобы с вами так говорили, или с Богом — вслух, при вас, — так?

Вы оборачиваетесь назад, шарите позади — классика! — что там? Никак не найти в темноте выключателя, но на ощупь ясно, что здесь до вас уже были — все переставлено местами, перехватано, ящики впопыхах выдвинуты и все из них вывалено в пыль: Марлинского от Толстого не отличишь. Дабы была в той речи и прелесть и невоспаленность образа, но вам-то что — вам вернуться ли в музей с витринами смыслов, умерших и сомкнувшихся в геральдике "значений"?

Легко ли черпать горстью из классического наследия, когда НЕ ВАМ ОНО ОСТАВЛЕНО, — самому стоя в "современности", обведенной самолюбованием по периметру языка?

Руки коротки. Как судорогой, все в нас сведено тою же современностью — предмет неоклассических воцелений остается за стеклом не боли, не России и нелюбви всегда на миллиметр дале наших лап, а если удалось хватануть и отколупнуть нечто, фразочку, мысль, реминисценцию, то, затащенная к нам, в "современность", в загаженный бессмыслием обезьянник, она сморщивается. Мысль как-то необязательна, фраза кажется свалывшейся цитаткой, небось, украденной откуда-то, стих — структурой, "текстом".

Между нами и классикой вспенивается непроходимая *пустота*, которая и есть мы, бессмысленно посягающие на ее смыслы. Да, мы, клянущиеся классикой, мы, подсказывающие классике всякий раз свою новую гадкую мысль как якобы из нее извлеченную, ее "затаенную главную" — мы средостение между классикой и . . . добро бы собой, — Россией. И эту пустоту не за-

полнить томами классиков, хотя "культурно изданных" (Битов), и даже всей "Библиотекой всемирной литературы" (превращенной в род красной икры). Холодное бессмысленное пространство так же зияет, в нем классики как *тексты* не заместят НЕПОСРЕДСТВЕННОСТИ классического пробивания к смыслу (выдох) и классического озарения, вдохновения им (дар, вдох).

И не смыслов нам требовать себе в наследство, не мастерства, но язык: промотали столь подавно, что и грех не нам. Непосредственность классики, открытый дух ее взлетов и ее катастроф, для которого и сегодняшние враги, и вчерашние злодеи, и будущие мятежи все были с вои, вот что нами потеряно и не найдено, вот что взъщется только с нас, никак не с Багрицких. Не стенать о "корнях", и не рыть землю в поиске их — рыло в земле это еще не "почва", — а изначально не отрываться, даже начать с самой неоторванности, с цельности, с непотери России как с повелительного нравственного факта, с нравственного наклона речи и личности. Пусть кто-то ее терял. Мы — если хотим наследовать — мы ничего и не теряли. Россия — вот.

Доказанная надежда

Странное дело. Гибель в лагерях сегодня как бы дает право наследникам их творцов каждого из мертвых поэтов считать "своим", "непричастным" — "трагедия культуры" тем преломляется на себя, при осторожном умении избежать подобного конца. Заласкали сегодня и Мандельштама, даже хранят его от "чужих" похвал Куняева — не трожь, мол, наших (а похерили Осипа Эмильевича никакие не почвенники . . .) Что вам сегодня до Мандельштама, что Мандельштаму вы и ваши московские ласки? Он сам решил —

"Ну что ж, попробуем. Огромный, неуклюжий
Скрипучий поворот руля. Земля плывет . . ."

и как нечто естественное для смысла этих слов (тогда слова еще не изменили смысла ради "значений") — аристократически небрежно принял все последующее — с невиданной, пушкинской глубиной вдоха, до своего конца, который тоже принял без персонального ропота. Никогда не толкаясь у кормушки (не сравнить с "южной школой поэтов", никогда не различавшей кормушки от революции), никогда не отрекаясь от совместного дер-

жания времени. Когда все хлынуло к недорогой баланде, готовое попрिдержать, если надо, "современника", пока его режут, у постели смертельно больного времени оставались немногие — и Мандельштам. Духовно званый к отмененному пиру эпох, он не побоялся испытать прежнюю гармонию классики на силу и слабость, не побоялся потрогать и Пушкина рукой. "Там, где эллину сияла красота, мне из черных дыр зияла срамота . . ."

Массаами и в одиночку люде смывалось от чрезмерных трудов наследования и решения, от раскулачивания на верняк — Магнитогорск, Турксиб, Днепрогэс (кто строить, кто "воспеть"). Пообещав и перекусив всего понемногу в мишуре "серебряного века", городская передовая культура отменила Россию эрзацами "великого времени" и "нового мира". Инкубации века-волкодава активно помогала этическая сомнительность и блестящая геральдика пафоса героев "серебряного века" — превращение жертв в самообманщиков и коллективного безымянного палача. Это они могли, поворачивая руль, — не принять последствий: Сталина — как своего. Они обижаются на историю спустя даже сорок лет за то, что развернутое кормило двинуло рулевым по морде. Для таких тридцатые годы — абсурдный зигзаг, который уже сорок лет ждет "гуманистического трибунала". А для Мандельштама, представьте, 30-е годы — это творческая и человеческая *вершина* его воронежских ссыльных стихов, где впервые в речь поэта без напряжения и надрыва вошла русская земля с ее разором советской тоски и повинностью принять смерть от Родины. Сегодня Мандельштама тянут в свидетели "к суду истории", нимало не интересуясь, что думает об этом он сам — тогда как поэзия его исключает ваш нелепый шутовской суд с в о и м , п о с л е д н и м судом — незлобный расчет с веком, решавшим за Россию: твоя взяла — но больше не дадим . . .

Образованщине немислимо, чтобы в России помимо нее составилось что-то историческое. Легче отменить событие, чем признать свою руководящую непричастность к нему. Как так, чтобы русская классика внутренне сокоснулась с народом и нашла впервые его в себе — и не через интеллигенцию (а что не через, то ясно — годы-то какие, а интеллигенция, интеллигенция-то какая!). Раз не помним, того и не было.

Все как один встали на защиту тридцатых годов от простой догадки, что бывало и в те времена и позначительнее Сталина. Будто Палиевский заявил, что классика и народность встретились — в Иосифе Джугашвили! (других исторических лиц мы как-то не помним).

Но были, были и другие значительнейшие его лица. А только в лицах и возможна встреча, да понимать ее нужно не по-советски, не тиражно — не пели о ней громкоговорители по колхозам.

Спор России и русской литературы, России и ее мысли — спор стихий, не подсчитанный в числах. Нравственная стихия классики столкнулась со стихией народного заворожения революцией — столкнулась — да не столкнулась. Чуть ли не единственный честный гражданин России — русская классика приняла, не смогла не принять обвал империи целой эпохи — но не приняла и отказалась принять обвал общества, нации и человека.

Это великое действие, этот глубочайший вдох классической гармонии подобен бунту в крематории: не более чем мертвых — из погубивших душу вышла ценою такой "чепухи", как два-три гения — *вторая нравственная гармония России*. Сегодня еще только залог, надежда, вера, — но если бы не она, о чем нам сегодня спорить, предательство чего бы не прощать друг другу?

Вот что значит — *встреча*: это несколько человек пересилили в е к , духовно отменив, низложив его кривое величие, его мертвый материальный смысл. После Шолохова, Солженицына, Булгакова, Мандельштама нет нужды в "современном", "неоклассическом", "авангардном" и каком еще стиле — разрыва времен не было и нет, это мелкий миф журналистов: пушкинский Памятник вновь воздвигся, и гармония, которой за шестьдесят лет и шестьдесят миллионов жизней мы узнали цену, — восстановилась в цене исконной стихии русской классики.

Великая классика в тридцатые годы — всплывший Китеж, возвращенная Родина — двадцатые, полоумные, зачумленные лихорадкой отречений и расколов ее не хотели знать. В тридцатые — и кабинетное слово стало восстанием: не кто-то из советских граждан, советских философов и советских писателей, а только горстка тайных наследников Пушкина строила мир и продолжала Россию помимо и вопреки Сталину. Когда короткими ручками Хрущева время сдернуло покрывало, открылся вдруг не тот памятник, что строили и которого ждали все. И сталинцы, и ленинцы, и марксисты, все ожидали увидеть памятник Времени, монумент Эпохе — в воображении же наряжали Время по вкусу, в белый мундир Отца Интернационалистов или в адвокатский пиджачишко предсовнаркома. И на тебе — вместо Нового Мира чушь какая-то — "литература".

Нельзя не удивиться, не подойти с трепетом к удивительному факту, что целая великая эпоха страны, самого ее зарожде-

ния и укрепления оказалась в конце концов отвергнута, и не потомками даже, а в себе самой. Страна содрогнулась в себе, еще не смея видеть и называть вещи своими именами: она сама отшатнулась от только что оплаченного кровью нескольких революций и войн. Никакая Франция, которая, впрочем, тоже прекрасная страна, но так бы не поступила. И этот покаянный итог уже навсегда, сколько бы ни простоял запоздавший великосоветский Рим.

Еще и еще хочется всмотреться сюда, авось развиднеет нам и будущее из этого чуда: страна *не* вцепилась, *не* выросла в фантастичнейший и громовой из зигзагов своей же истории, — значит, болезнь не к смерти. По сей день все ходят вокруг да около, проклинают или оправдывают, но спокойно пользоваться не смеют.

Стихотворение "Памятник" оказалось великим пророчеством: страна стоит в невиданных — с иголки — руинах. Чуть построенное — Братская ГЭС, Дворец съездов, памятник Гоголю, социализм — все немедля сгнивает, становится моральным уродцем, нежитью. И впрямь, ничего нет прочного, кроме Пушкина. В нем подсказка, но какая?

Ни для русского писателя, ни для русского святого, ни для русского деятеля Россия не оставляет иной возможности разочтись с совестью и с народом, кроме спокойного, безнадрывного единения с Российской судьбой, без дистанций и щелок, безо всяких вычетов из судьбы по идейной ли, шкурной ли сметке. Там, куда приведен совестью или судьбой родиться — там будь что будет, — но голову под российский хомут подогни. Стоило ли привставать на цыпочки и подглядывать в щелку чужих историй за небывалыми, "глубинами и высями"? — в России *все* под рукой (кроме безопасности и продуктов — в отличие от них за смыслом и высями не надо и шастать в Москву). Не обидеть, не попать страны лишь за то, что ею можешь быть убит: это духовно. Да просто жить в России — духовно: самое простое сперто и поставлено на конечную простоту целого.

. . . Среди героев Евангелия меня занимает, как ни странно, *толпа*. Напрасно думают, что там она безлика и единообразна. Например, у водонош, торговавших холодной водой в толпе, орущей "Распни! распни Его!" само занятие располагало к наблюдениям и умственным опытам; было даже алиби — сами они не кричали. Вот модель московской "интеллигентности", ее "парадигма", в рамках которой бывают тонкие вариации — до Роднянской, Ю. Давыдова и Аверинцева. Здесь неподъемный библейский опыт России пошел на размен и бренчит словесной мелочью, и хуже того — "о чем бренчит?" Обоснованием боязни поступка и "множе-

ства”, ”прочих”, отказа мыслящих от совестного суда, вымещением всего на всех — хоть на Сталине, хоть на России, хоть на ”массовой азиатчине”. Кого ни возьми, что ни речь, что ни текст — комплексами красуются, как медалями. Такие Россию не зачерпнут — Россия не страна и не географическое понятие, Россия — задача, драма, мир в окалине духа. Кто бы ни был тот, освистанный, он верно сказал — Россия есть предмет веры.

Таким и видится выбор — замкового камня, средоточия, связующее в целое, в недоброе мы — или бытия посередине? То ли пустота разрыва, раскола с прошлым, у которого примостилась и сосет свое понемногу шваль — то ли Россия, чудом каким-то не обвалившаяся и не убившая нас Россия, ”наступающая будущая Россия честных людей, которым нужна лишь одна правда”?

Здесь фразы начало — дело пошло на разрыв.



Петр Абовин-Егидес

ЖИТЬ ИМПЕРИЕЙ

В противовес неучастию во лжи, сопротивлению фальши, в противовес борьбе за права человека, за общечеловеческую нравственность (то ли в религиозном, то ли в безрелигиозном виде) нам, с одной стороны, предлагают ”податься” в ”левый” бизнес, а с другой стороны, ”совсем наоборот” — в осуществление давней идеи В с е л е н с к о й России. В этой идее великодержавные почвенники по существу видят своего рода ответ на великий, вечный вопрос ”чем жить?”

* Приведенный ниже текст является IV главой из работы П. Абовина-Егидеса ”Чем жить?”, которая будет опубликована в следующем номере. Здесь мы решили дать эту главу в качестве отдельной статьи, поскольку она касается дискуссии о дискуссии на тему ”Классика и мы” (Ред.).

Анализ хода их мыслей показывает, что *не* интересами народа русского фактически призывают они жить, а интересами Империи русской, которой они готовы принести в жертву сам народ, как это делали Грозный, Петр I, Сталин. Не государство для народа, а народ для Государства — вот как можно кратко сформулировать суть их кредо.

Поэтому не пекутся они о правах человека, о личностных свободах, о демократических нормах, — все это можно легко принести на алтарь в жертву Империи. Их занимает не человек, а Идея, не индивидуум, а Всеобщее, не личность, а Держава.

В свете подобной ценностной ориентации прорисовывается и "тайный" смысл дискуссии под названием "Классика и мы", о которой шла речь в статье Р.Б. Лерт "Высказанное и недосказанное" (см. "Поиски" № 3). Вступая в скрытую полемику с ней, Понырев своим текстом по существу достигает обратного тому, чего хотел: его реакция лишь подчеркивает правильность оценок и выводов, сделанных в ее комментарии.

Понырев начинает с того, что принимает желаемое за действительное: "Безобидный спор об интерпретациях, — утверждает он, — соскочил в круг русских болей и нерусских обид". Нет не соскочил, о реальных нынешних болях никто в ходе дискуссии "Классика и мы" и не вспомнил. "Соскочили" наши великодержавные "почвенники" по сути лишь на дорожку, проторенную еще Сталиным — на идею величия Империи: и м Россия и то нужна лишь как идея, фетиш. Но любить абстрактно Россию, а не ее народ — легче всего: за это не надо расплачиваться своей физической свободой, жизнью, не надо проводить годы в заключении. . . . Да и Понырева, как видно из всей статьи его, занимает *"имя* России, замызганное и не любимое" (кем только?). Похоже на то, что ему милы "больные Россией" как именем, а не больные русским народом, что он за тех, кто хочет "с Россией (как абстрактно — П.Е.) быть", а не с российским народом как воплощением конкретной России: он даже не замечает, что нигде, ни разу не говорит о болях, муках, судьбах людей российских (за которых, как пишет священник С. Желудков, и печалятся правозащитники). А почему? Ибо для Империи люди всего-навсего . . . навоз. А ведь Россия и народ ее должны быть нераздельны, должны быть тождеством, — они едино суть. Понырев же этого-то и не замечает.

Зато он почему-то рвет и мечер против "самоутверждающихся, недовыехавших", ставя их рядом (через запятую). Кто же они? Кого имеет в виду Понырев? Молчит. Диссидентов? Это они,

сидящие в тюрьмах из-за борьбы за права *российского* человека – недовыехавшие? Самоутверждающиеся – да, ну и что же тут плохого? Или либералов имеет он в виду? Но ведь им, как, кстати, очевидно и самому Поныреву, тут ничего не грозит: тихи ведь, как мыши, – к чему же им выезжать-то? Ну, а если среди диссидентов и есть выехавшие под угрозой о ч е р е д н о г о ареста, уставшие от тюремных страданий, то Поныреву ли их укорять?*

Или, может быть, недовыехавшие – это инородцы, особенно евреи, которым, как говорит некто Н.Н., (см. "Синтаксис" № 3) "не место здесь". (Особенно ненавистны "уважаемому советскому литератору" Н.Н. те евреи, которые считали или считают себя русскими** и которых призывает искоренить РОД – Русское "Освободительное" Движение***). Нет, этого Понырев не говорит. Такто

* И все же: кто такие эти "выехавшие" и "недовыехавшие", о которых так презрительно, брезгливо пишет Понырев? Григоренко, Гинзбург, Синявский, Буковский, Любарский, Плющ – истерзанные ГУЛАгом? Орлов, Ковалев, Тихий, Руденко, Глузман, Гримм, Абрамкин, Подрабинекки – нынешние мученики режима, беззаветные борцы за права *российского* человека? Марченко, Гершуни, Серебров и прочие бывшие мученики? Неужели же те, кто трусливо кликушествует в кустах, упражняясь в суесловной "любви" к России, имеют моральное право отказывать этим бесстрашным людям в верности России, в желании с Россией быть? Как можно так легковесно делить людей на *в ы е х а в ш и х* и тех, кто с Россией х о ч е т б ы т ь? Разве выехавшие не хотят этого? Разве не потому о к а з а л и с ь о н и *в ы е х а в ш и м и*, что как раз с Россией х о т я т б ы т ь и п о э т о м у боролись и борются за нас?

Ну, а вы, милейшие, чем и как вы живете? На какой почве по сути дела стоите? Что у вас на деле почвой-то является? И как быть с Россией на самом деле? Хотите по-рабски уживаться с тоталитарным режимом? В упряжке с ним до Вселенской Империи дожить?

** Л. Копелев в одной своей статье замечает, что иные русские (вероятно, как раз вот такие, как этот Н.Н.) не хотят признавать его русским, хотя он по культуре своей именно русский. Я же могу сказать, что не н у ж д а ю с ь, чтобы меня эти люди считали русским, так же как они не нуждаются, чтобы я их считал русскими: таков *факт*, что я родился в России, что у меня русская культура, что я свою жизнь, чаяния и помыслы, энергию, время свое и кровь свою отдал ей, Р о с с и и, делу р о с с и й с к о г о народа. И никакой Н.Н., никакой Шиманов, никакие "почвенники", ни КГБ, ни Политбюро ОТНЯТЬ У МЕНЯ ЭТОГО НЕ МОГУТ, истребить ф а к т н е в о з м о ж н о. Меня можно сгноить в заключении, можно изгнать, но уничтожить факт, сделать меня нерусским – о нет, этого сделать никто не в силах. Я не считаю это (равно как и то, что я – еврей по происхождению, ибо это – тоже лишь факт) ни своей доблестью, ни своим недостатком: критерий достоинства, доблести человека совсем в другом – в уровне его н р а в с т в е н н о с т и, в том, ч е м ж и в ч е л о в е к.

*** РОД в своей знаменитой листовке пишет, что движение за права человека – это движение . . . еврейской интеллигенции, а за независимые профсоюзы

же все-таки эти недовыехавшие? Это остается его тайной, на его совести. Славно, что и говорить! . . . Не хочется думать, что "недовыехавшие" означает, что, по мнению автора, высылаемых и лишенных гражданства маловато, что власти должны умножить их ряды . . .

Из статьи Понырева можно, кажется, вывести, что его главное достоинство, предмет его гордости — это то, что он не уезжает, остается. Но ведь не уезжают не только мужественные, благородные люди, а и уйма негодяев, и огромное множество рабов. Так

(Продолжение сноски со стр. 49)

— еврейских рабочих. В конце "обращения" сказано: "РОД с величайшей надеждой будет молить бога (О, Боже! Кто только не говорит от имени Бога?! Какие только низости и мерзости не покрывают им? Ничуть не меньше, чем именем марксизма! — П.Е.), чтобы проснулись вы (русский и украинский народы — П.Е.) от кошмара сионистского гипноза и ясно осознали свой гражданский долг и ответственность (и о долге гражданском и ответственности кто только не говорит! — П.Е.) за судьбы своих народов".

Хотелось бы только справиться у этих родовцев (если действительно существует подобное объединение, если у его членов есть какие-то реальные фамилии) да "уважаемого литератора" Н.Н., равно как и у всех имперских "почвенников": ну, "вызволите" вы Россию от евреев (вышлете их, как сделал Гомулка в Польше), а д а л ь ш е ч т о ? Этим ли решаются проблемы горемычного русского народа? Исчезнет Архипелаг? Исчезнут беззаконие, бюрократизм, репрессии, бесхозяйственность, дикость, произвол? Появятся мясо? Появятся права человека? Не будет больше узников совести? На кого же тогда будут сваливать все трудности, недостатки, невзгоды? На диссидентов? Но они ведь по-вашему, тоже . . . "порождение евреев". Не восстанут ли в таком православном государстве одни "православные комитеты" против других, не начнется ли внутриправославная резня?

И любопытно, что всю эту черносотенную камарилью — этот "православный" неофашизм — не преследует наше правительство, возмущающееся терпимостью к неофашистам на Западе. Это вовсе не странно, если послушать Н.Н.: "Может, в соединении этих двух идейных течений (коммунистической идеологии и православия — П.Е.) и родится нечто новое, что и будет знаком оздоровления нации".

Комментарии, как говорится, излишни.

Вот на какой "почве" смыкаются "перлы" Шевцова, Пикуля, Евсева, Емельянова и др. с "шедеврами" Шиманова и К^о.

Всех людей российской Понырев делит на три категории: выехавших, недовыехавших и тех, кто с Россией хочет быть. К последним относит он, как видно из всего его текста, Палиевского, Шиманова, всех великодержавных "почвенников", ну, и конечно же, себя. Ну, а куда деваает он мужественных писателей-гуманистов-невеликодержавников, борцов за права человека — Владимова, Войновича, Корнилова? Куда деваается акад. Сахаров? Куда относится множество диссидентов в Москве и провинции, среди которых — доценты, инженеры, журналисты, юристы, медики, рабочие, которые тоже не жаждут ни имперского величия, ни возврата в 16-й век? И куда относятся те либералы-социалисты, которые тоже этого не жаждут?

разве может это само по себе служить критерием оценки человека, его поведения? Или критерием оценки преданности России и тем более русскому народу?

Видимо, критерий благородства, великодушия и любви к родине, которые и лежат в основе русской классики, отстаиваемой и Поньревым, надо искать в чем-то более глубоком и существенном. Но с тем потенциалом тотальной злобы и ненависти, которые накопились в душе Поньрева, ему такой критерий не отыскать, конечно. И откуда у него этот потенциал? Неужто же от христианства, от православия? Почему он так швыряет во всех свое любимое "шваль"? Почему — вместе с Палиевским — пытается установить некую монополию на любовь к России?

Не надо нам больше таких "своих", — кричит Поньрев вместе с ним, — "мы" не значит "все мы". Эти "мы", — распаляется Поньрев, — "мычат от лица всей России". Что же, мычать от лица всей России Поньрев позволяет только шимановцам?

Ему не нравятся в с е городские (прогрессивные) идеи: идея равенства прав человека, идея права "выезжать куда и когда захочется". Ему — неужели наряду с Политбюро? — настолько претят эти права, что он даже иронизирует по поводу их. Но над кем же смеется "защитник" старой, деревенской Руси? Не над собой ли? Неужели же так и хочется оставаться рабом, крепостным? . . . Нет, все же непонятно, чего больше жаждут те, кто вздыхает по "золотому веку" феодальной Руси — быть самим рабами или иметь рабов?

Между тем идея равенства прав человека донимала и нашу деревню с давних давен, а о праве выезда-въезда писал еще Курбский. А вот Поньреву, выходит, полюблилось тоталитаристское крепостничество — без права передвижения, с системой паспортной прописки. Здесь у него с властями оказался общий язык. И зачем только ему в таком случае псевдоним понадобился? Ведь власти это его сочинение сами напечатали бы, если бы не стыдились прямого обскурантизма.

Не думаю, чтобы нашим "деревенским" писателям, либеральным почвенникам, претили прогрессивные городские идеи, чтобы им импонировали рабство, крепостничество или тот идиотизм деревенской жизни, о котором писал Маркс.

Поньрев сетует, что "почвенников" (Астафьева, Шиманова) обвиняют, будто они з а к л ю ч и л и "с о ю з" со сталинистами. Однако не только высказывания упомянутого "уважаемого советского литератора" Н.Н., но и дискуссия "Классика и мы" это продемонстрировала. Да и шабаши "Общества защиты памятни-

ков” (об одном из них мы упомянем ниже) это подтверждают. Но, конечно, конечно же, этот союз (эта сделка) никогда не заключался: он устанавливался спонтанно — однако от этого он не перестает быть союзом*

И — что весьма важно подчеркнуть — касается он, этот союз, не почвенников вообще, а лишь великодержавных. Последние явно конфронтируют с почвенниками невеликодержавными. Так, если Солженицын предупреждает мир об угрозе великодержавного тоталитаризма, который все больше и больше расплозается по планете, то Понырев, незаметно для себя, именно над этим предупреждением похихикивает (хотя самого Солженицына не упоминает): ах, ”русский национализм — угроза человечеству”, — и ”трепещите, Канада и Австрия: идут мужики и несут топоры. . .”** О, если бы топоры: танки ведь в Чехословакию в 68-м пришли, танки! Танки могут доставляться и без мужиков — в Афганистан, Эфиопию, Анголу, Вьетнам . . . куда угодно. И, конечно, такое разбухание имперского влияния (пусть и с помощью кубинцев) импонирует Шиманову и К⁰: близится, как им мерещится, осуществление величайшей цели — Вселенской Православной Империи. Но ни им, ни Политбюро невдомек: шары нельзя раздувать выше предела (в случае же социума — выше экономических возможностей), иначе они лопаются. Нельзя поэтому плыть по течению (куда кривая вывезет) и брать бездумно, что само в руки плывет: это безответственно и нелепо. Шиманова, похоже, это мало беспокоит . . .

Правомерно ли однако, полемизируя с Поныревым, поминать Шиманова? Думаю, что да: как мы уже видели, многие их идеи совпадают.

Ну, а чего стоит хотя бы такая филиппика Понырева: ”па-кость” ”передового отряда швали” с ее ”московской двусмы-

* Следует заметить, что тоталитаристские власти научились в последнее время устанавливать подобные молчаливые унии с различными ”силами”, начиная с удобных ”диссидентов” и кончая ”левым” бизнесом, т.е. с кем угодно, лишь бы удержаться в седле. Эти сделки стали уже закономерностью, что является еще одним симптомом шаткости самого режима. Ведь можно даже говорить о болезнетворной ”молчаливой сделке” между правительством и народом: правительство смотрит сквозь пальцы на массовую ”итальянскую забастовку” трудящихся, что является платой за то, что население терпит тоталитаристский режим и привилегии элиты.

** Понятие ”российский империализм” хитро подменяется здесь понятием ”русский национализм”, который может иметь и другую, безобидную окраску.

сленностью” ”дополняется западным радиогласием”? Чем же вам радиогласие это помешало? Чем оно властям мешает — понятно: это ведь едва ли не е д и н с т в е н н ы й для святой Руси источник информации: своего-то не добились мы доселе. Но не им ли и вы пользуетест? А может быть у оппозиции, у Мысли есть другой способ обратиться к собственному российскому народу? К чему же эта ”гордыня” — это челядйное ”расейское” плевание в колодец, из которого сами же все мы пьем да и который к тому же не нами, к стыду нашему, создан? Не от комплекса ли неполноценности? К чему это подпевание властям?

Особенно противен Поныреву гуманизм, который он презрительно именует ”городским”*. А что он ему противопоставляет? Деревенский гуманизм? Но тогда бы надо серьезно исследовать тот и другой, сопоставить их, взять положительное у того и другого, — а он просто одной жестокости — жестокости коммунистической моноидеологии, которая вызвана была предыдущей жестокостью — противопоставляет другую (вернее, третью) жестокость же — жестокость иной, националистической моноидеологии, т.е. все то же отсечение неугодных и предание их анафеме.

Далее. Понырев совершенно прав, что с поэтов больший спрос, чем с властелинов: власть последних кончается с их смертью, а влияние поэтов на внутренний строй человеческих нравов долговечно. Это — глубокая мысль. Но, к великому огорчению, до нее (этой мысли) и после нее приходится продирааться сквозь нагромождение ”сетований” в духе нашего официоза — на то, что ”разнемев после Сталина . . . наш язык без костей . . . готов молоть чушь”. И в этом гвоздь, в этом вся проблема? Так что ж, не вернуться ли к Сталину и не зашить ли его, этот язык, снова?

О, Боже! Разве так писали классики, за которых вы, якобы, ратуете? Разве э т о г о они хотели? Разве э т о их донимало? Да и впрямь ли разнемел язык? Может быть, увы, свобода слова настала? . . .

Понырев вслед за Палиевским и Куняевым, ничтоже сумняшеся, узурпирует себе наследство классики: ”Легко ли черпать горстью из классического наследства, когда н е в а м о н о о с т а в л е н о ?” А кому? Шиманову, оправдывающему пролитие океана крови российского народа в гулаговском Архипелаге во имя . . . Империи (в чем он видит Божью задумку)? Палиевскому, рта не раскрывшему в защиту поборников прав народа рос-

* Что же, и гуманизм в ”почву” не вписывается? Не подать ли вам нагайку, плетку? Ай да ”почвенники”! Да ведь гуманизм — с т е р ж е н ь русской классики, гордость ее, — так хотя бы руки свои убрали от нее!

сийского? Не договаривает Поньрев, не договаривает. А почему? Чего он, собственно, боится, коль язык разнемел? . .

Ругая вслед за Палиевским тех, кто "подсказывает классике всякий раз свою новую гадкую мысль, как якобы из нее извлеченную", Поньрев так и не поведал нам, в чем же — хотя бы с его точки зрения — суть ее, "защищаемой" им классики? Что именно защищает он в ней?

Не раскрывая это, он все бранится и стенает: смысл классики "промотан", непосредственность ее, открытый дух ее взлетов, мол, потеряны. Но что же именно, какой конкретно смысл, какие взлеты имеются в виду? Об этом — ни слова. Гробовое молчание.

Уходя от этих существенных вопросов, Поньрев зато "вступает смело в бой" на защиту позиций Палиевского, которая выгодна верхам: да, подтверждает он, встреча классики с народом состоялась . . . в 30-х годах. И даже из приличия не оговаривает: вопреки кровавой диктатуре 30-х годов, вопреки уничтожению 600 писателей в концлагерях, прорвались подпольно 3-4 великих писателя . . . Так нет же, говорят о встрече (об открытой встрече) классики с народом. Хотя бы указали: где встретился замученный народ с распятой классикой? Да народ об этих растерзанных загнанных в подполье классиках и слыхом не слыхивал тогда. Лишь недавно и то частично узнал он о них.

Но Поньреву это нипочем. Он "гнет" свое: Палиевский ведь не "заявил, что классика и народность встретились в 30-е годы в Иосифе Джугашвили". Были в то время "и другие, значительнейшие его лица". Были. Ну и что? Состояние культуры тогда определяли, к великому огорчению, не они. *Встретиться* классике с народом не дали как раз пигмей Сталин и К^о (деспоты часто бывают пигмеями). Развернуться не дали. Обеспечить расцвет культуры не дали. Гноили ее и ее подлинных носителей в лагерях.

Да, деспотизм рождает свой антипод — подпольную, протестантскую культуру. Но говорить о том, что в эпоху беспросветного, невиданного деспотизма совершается расцвет культуры — до такой "диалектики", до такой оригинальности еще никто не додумался.

Дух 30-х годов определяется, увы, не подпольной литературой, не она задавала *тон*. Говорить, что в 30-е годы, отмеченные печатью геноцида, состоялась "встреча", состоялся "расцвет" культуры — по меньшей мере кощунство.

И неужели можно всерьез полагать, что гибель десятков миллионов людей и сотен тысяч творцов культуры уравнива-

ется наличием в те годы "двух-трех гениев" (кстати, тоже убитых или обреченных на молчание, кроме одного, который затем сам убил свой талант)? По логике Понырева, те, кто не согласен, что 30-е годы — годы расцвета, тем самым считают-де "чепухой" самое существование этих гениев. Нет, один-два-три гения — великое дело: они обеспечивают непрерывность культурного процесса. Но можно ли по-снобистски хладнокровно говорить о том, что в условиях геноцида эти 2-3 гения создали "в торую нравственную (!) гармонию (!) России"? Гармонию внутри кровавого месива Архипелага? Да и гениев-то этих — повторяю — растерзали... И это все — гармония? Что же тогда ад? Или и в аду есть нравственная гармония? Бог с вами, очнитесь же!..

Так могут рассуждать только фанатики, для которых прежде всего — величие Империи (Идея!), пусть и стоящей по горло в кровавой тине, а люди, народ, уместивший своими телами и душами путь к этому (никому не нужному!) величию — ничто. Спрашивается: а зачем? каков смысл этой игры в "величие", этого ажиотажа? Не лучше ли стране быть средней державой, но зато чтобы народу было чем жить — чтобы он мог глотнуть свободу, распрямить свой дух, воспрянуть духом? А?

Встреча народа и классики, — говорит Понырев, — "значит: несколько человек *пересилили* век". Слова, может быть, эти и красивые (и внешне кого-то пленят), но — простите за грубость (трудно от нее в данном случае удержаться: кощунство тут все же несусветное) — пустые: что же конкретно они пересилили — эти несколько великих мастеров культуры? Геноцид? ГУЛаг? Уничтожение крестьянства и морали? Ликвидацию демократии и мысли? Растаптывание идей Революции? Да, они создали шедевры, но эти шедевры лежали под спудом и — подчеркну еще раз — дух 30-х годов не они определяли: расцветала в 30е-годы **АНТИ-КУЛЬТУРА**.

Если Понырев имеет в виду, что нравственные семена, посеянные Булгаковым, Мандельштамом, Платоновым, как и всей прежней классикой, не пропали даром, что они в будущем, в конце концов, как все мы надеемся, переселят деспотизм, зло, безнравственность, государственную фальшь, насилие, тоталитаризм и приведут к расцвету культуры, то это, безусловно, так, — но причем тут 30-е годы, когда культуру убили?

И почему именно в 30-е годы состоялась вдруг эта "встреча"

народа и классики? Почему не в другие годы? Что к этому привело? Что этому способствовало в тот период? Хоть бы объяснили Палиевский или Понырев . . . Неужели для подобной встречи нужно такое л и х о л е т ь е , когда народ сгнаивают в концлагерях и сгоняют с земли.

До встречи ли с классикой было людям, которые пухли от голода на привокзальных площадях? С точки зрения Понырева, очевидно, да, до встречи, ибо он всего лишь "ш у т к о й (!!!) истории" назвал "рубку леса" в 30-е годы и ту цену в десятки миллионов жизней, которая заплачена за . . . "гармонию", якобы восстановившую (??) в правах исконную русскую классику.

Даже не верится, что язык может повернуться назвать ш у т к о й гибель людей. Да никакая гармония (тем более иллюзорная) и никакое восстановление (тем более надуманное, высосанное из пальца) какой бы то ни было классики не стоит принесения кому-то в жертву ни одной чужой человеческой жизни! Тем более и тем кошмарнее, что то была цена вовсе не за какую-либо гармонию или какое-то восстановление, а всего-навсего за торжество тоталитаризма. И так легко об этой цене могут говорить именно бессердечные фанатики, противопоставляющие — повторяю — отвлеченную идею России ее народу, готовые принести в жертву Идею народ, ставящие Россию *над* народом, а не народ над Россией, не понимающие, что Россия без народа — это фантом, что действительная Россия — это и есть народ ее, что просторы и культурный ландшафт, в котором объективирован дух народа, мертвы б е з него, что народа и России нет друг без друга. Не хотелось бы думать, что Понырев относится к подобным фанатикам.

Но вот вместо того, чтобы хотя бы поставить подобные кардинальные вопросы Бытия и Нравственности, Понырев продолжает пустопорожнюю перебранку: "Похерили Осипа Эмильевича (Мандельштама — П.Е.) вовсе не почвенники", а . . . "интернационалисты". А теперь, мол, наследники творцов лагерей, которые затем сами в них и гибли, считают его "своим".

Но почему в наследниках творцов лагерей "оказываются" лишь нынешние находящиеся на задворках либералы, а не те, кто строит нынешние лагеря и покровительствует нынешним "почвенникам", равно как и сами эти последние? И из чего следует, что Мандельштама уничтожили интернационалисты? Ведь только малое дитя не понимает сегодня, что Сталин — в е л и к о д е р ж а в н и к (своего рода именно "почвенник"), а интернационализм — лишь его маска, как и тех, кто вторгся в Чехословакию в 68 году. Но Понырев в эти "тонкости" предпочитает не вникать. А жаль. Надо бы.

И дальше, что ни фраза, то передержка или недодержка:

– “Южная школа поэтов не различала между кормушкой и революцией” . . .

Это просто дурно пахнущая фраза. Ну, а “почвенник” Палиевский не кормится у революции? Различает между кормушкой и революцией? Чем дальше от времени революции, тем все больше становилось таких писателей и поэтов, которые роятся вокруг кормушки. Теперь они просто расталкивают путь к кормушке локтями – и единомышленники Поньрева научились быть в первых рядах. В южной же школе 20-х годов таких было куда меньше (среди них – не случайно уцелевший Катаев), а искренних (хотя и ошибающихся) – куда больше.

– “Для Мандельштама, представьте, 30-е годы – это творчество и человеческая вершина его воронежских . . . стихов, где впервые в речь поэта . . . вошла русская земля с ее . . . повинностью принять смерть от Родины”, а “не – абсурдный зигзаг” истории.

Опять 30-е годы . . . Ну и дались они . . . Что же, смерть Мандельштама от Сталина и его мафии – это смерть от Родины? И почему Родину надо представлять кровожадной, требующей, чтобы от нее принимали смерть, а не жизнь? Зачем это ей? И почему из того, что в 30-е годы в стихи Мандельштама вошла русская земля (если даже исключить 20-е годы), следует, что либо “зигзаг” (в миллионы погубленных жизней) – мизер (а то и вовсе ничто) в сравнении с этим фактом, либо этого зигзага вовсе и не было? Что за элегическая пляска! Да и аморальная! Это ведь аналогично тому, как если бы, учитывая, что Ахматова написала “Реквием”, “Поэму без героя” и др. произведения, являющиеся вершиной ее поэзии, в последний период жизни, кто-то решил бы о п р а в д ы в а т ь тех, кто повинен в трагизме, породившем эту поэзию. Такой подход свойственен только ш и м а н о в щ и н е : все трагедии – во благо, поскольку они вписываются в промысел Божий, направленный на создание мирового величия России. Воистину, хоть бы Бога оставили в покое . . .

– “Сегодня Мандельштама тянут в свидетели ”к суду истории”. . . тогда как поэзия его исключает ваш ”шутовской суд”.

Это над преступлениями Сталина суд – ш у т о в с к о й ? Да Мандельштам сам чуть ли не первым вызвался в свидетели на этом суде, за что и принял мученическую смерть. Как же вы можете?

– ”Великая классика в 30-е годы – всплывший Китеж, возвращенная Родине (ну и ну: сталинский геноцид вернул . . . Родину! Кому? – П.Е.). 20-е – полоумные, зачумленные лихорадкой отречений и расколов – ее не хотели знать”.

А 30-е, выходит, умные, незачумленные? . . * Нет, никакой Китеж в 30-е годы не всплывал, и никому ни в эти годы, ни в другие Сталин Родину не вернул. Вернул он только слова ”Родина”, ”патриотизм”, ”Отчизна”, – для манипулирования мозгами народа, чтобы удобнее было превращать его в штабеля размолотых в концлагерях костей российских. Не рассылкой ли по ночам стаи ”черных воронов” – собирать по стране живые тела для гулаговской мясорубки – и подсовыванием песенок Дунаевского на слова Михалкова тем, за кем ”вороны” еще не успели, была возвращена народу Родина? . . . Но что вам до этого (не ваше же в самом деле тело сунуто было в воркутинские шурфы), раз . . . ”всплыл” Китеж? Но полноте – не и г р а ли все эти ваши восторги по поводу ”всплывания” и ”возвращения”? Что-то не похоже это на подлинное чувство: ведь не может оно быть совместимым с полной э т и ч е с к о й глухотой . . .

– ”Горстка т а й н ы х наследников Пушкина строила мир и продолжала Россию помимо и вопреки Сталину”.

Это уже честнее, чем у Палиевского, который говорит: ”Как бы ни судить об этой эпохе, но . . .” (т.е. этим допускается, что о геноцидной эпохе Сталина могут быть неоднозначные суждения), – но и тут восхищение произведениями тайных наследников Пушкина каким-то причудливым образом сочетается с – подчеркиваю паки и паки – поразительной глухотой к трагедии собственного народа. Эта глухота держит Понырева в тисках, так и не выпуская из них.

– ”После Шолохова, Солженицына, Булгакова, Мандельштама нет нужды в ”современном”, ”неоклассическом”, ”авангардистском” и каком еще стиле”.

Не говоря уже о том, что Шолохов – этот адепт тоталитаризма, который был готов Синявского и Даниэля поставить к стенке, – поставлен в ряд с жертвами этого же тоталитаризма (все перепутано!), ** – ложным является сама постановка вопроса: из то-

* Здесь не место анализировать ни 20-е, ни 30-е годы, но противопоставлять их так, что бы возвышать вторые и аннигилировать начисто первые – значит по меньшей мере забавляться детским играми, а по существу – отменять историю.

** Поставить рядом с Булгаковым, Мандельштамом, Солженицыным – Шолохова?! Для этого надо действительно потерять ориентир, где собственный

го, что Булгаков, Мандельштам, Солженицын создали великие произведения и из того, что велик "Тихий Дон", не следует, что на этом останавливается развитие и ни в чем другом больше нет нужды: нужны они, но нужен и авангардизм. Понятия же "классика" и "авангард" вообще не антиподы. Это — понятия разнопорядковые: и реализм и авангардизм имеют свою классику и своих эпигонов. Лишь эпигонство противопоставлено классике.

— Иные говорят: вместо "Нового мира" появилась какая-то "литература", почти ничего, — иронизирует Понырев.

Нет, не ничего, а как раз очень многое означает эта литература. Но тот период, в котором она поднималась, тайно творилась, она, к сожалению, не могла сдвинуть, — она влияет на наш период.

— "Ничего нет прочного (в стране — П.Е.), кроме Пушкина".

Да. Согласен. Но это бьет против вас: именно Пушкин — не просто русский, не просто демиург современного русского литературного языка и не просто сторонник России как таковой: — он — г у м а н и с т, горячо сочувствующий корчащемуся в тенетах деспотизма народу, он — поборник свободы: ему не любая Россия нужна (лишь бы большая, лишь бы в ранге мировой империи), а — с в о б о д н а я, в которой человек дышать и творить может свободно. Поставьте мысленный эксперимент: спросите подлинных классиков прошлого, что бы они предпочли — Россию свободную или Россию — тоталитаристскую, но зато мировую империю? . . . Вот это-то вы, "почвенные радетели" за классику, и обходите, т.е. обходите г у м а н и с т и ч е с к у ю с у т ь ее, подменяя великодержавной.

Основное противоречие имперских "почвенников" — это противоречие между великодержавностью и гуманизмом, между отвлеченной Россией и народом. Это противоречие перерастает в противоречие между "идейностью" и нравственностью.

Вот как это выглядит у Понырева: "Р о с с и я не оставляет иной возможности разочиться с совестью и с народом, кроме спокойного, безнадрывного единения с российской судьбой. . . Там, куда приведет совестью и судьбой родиться — там б у д ь ч т о б у д е т, — но голову под российский х о м у т п о д г о н и".

Итак, человек и его голова ничто: в хомут ее! Не хомут —

русский народ, а где лакеи его палачей, готовые извести миллины жизнью ради идеи то ли лже-коммунизма, то ли лже-России, лишь бы перед словом "Русь" трепетала вся планета.

средство для человека, а человек — его средство. Паки и паки: личность, народ, сегодня — ничто; Всеобщее, Россия, Империя, будущее — все.

Но ведь то же говорят и коммунисты-тоталитаристы: подгони голову под хомут "коммунизма". Идея дороже человека. Не идея — для человека, а человек — для идеи. Аналогичное: подчеркиваю снова — получается у Шиманова, Палиевского, Поньрева: не Россия для народа, а народ для России.

Так совпадают психология коммунистов-тоталитаристов и психология почвенников-великодержавников. Все это (обе эти психологии) лишь ипостаси трансцендентизма: Всеобщее, Бог находятся *вне* человека и его мира как некая с у б с т а н ц и я, противостоящая ему и управляющая им, а он лишь м а р и о н е т к а, р а б Божий, р а б Субстанции, р а б Государства-Левиафана. Этому противостоит п а н п е р с о н а л и с т с к и й подход: человек — это в с е, в нем светится все многообразие бесконечного мира, он суверен — и н и к т о над ним, он — всемерная личность, демиург, он — в его сущности и его подлинности — и есть Бог. Нет ничего выше человека. Всеобщее в нем: личность б о г а ч е Всеобщего.

. . . Вспоминаются слова Тургенева: "Я без России не обойдусь, а Россия без меня обойдется" (цитирую по памяти). Не нравятся мне эти слова, вернее, вторая половина фразы: если Россия будет относиться к своим сынам статистически, швыряться ими (мол, вас много, не один будет, так другой, третий), то это — холодный подход мачехи, а не матери-родины: н и б е з о д н о г о человека, сына своего Россия обходиться н е д о л ж н а, к а ж д ы й ее сын достоин свободы . . .

Россия б е з с в о б о д ы для народа, без благоденствия, счастья, возможности к а ж д о м у быть личностью, чувствовать себя действительным хозяином в своей стране, жить, где вздумается, дышать полной грудью — это пустой сосуд, отвлеченное понятие Родины, а не живая Родина. Что такое величие Руси ценой лишения свободы народа ее? Бутафория. По мне — не устану повторять это — пусть бы Россия была таким даже "второстепенным" государством, как Франция, но пусть бы ее н а р о д чувствовал себя вольготно, пусть бы ему легко дышалось, пусть бы люди не боялись, что за стенкой их услышат . . . Вот это и значит следовать Д У Х У классики: никогда, насколько помню, никакая классика наша не бредила идеей третьего Рима, но всегда бы-

ла полна тоской по свободе, по человечности, милосердию, доброте, великодушию.

Сознание же Понырева, как, к сожалению, и целой плеяды подобных ему людей, заикнулось на совершенно противоположном тому, чего жаждала классика: он не только требует голову в хомут российский, имперский, великодержавный впрягать, как скот, но даже не пенять, когда эту голову вожди захотят отсечь: "похвальна, — вещает он, — духовность, способная. . . не попрасть страны лишь за то, что ею можешь быть убит". Ого! "Страну" (читай: разные слои в ней, ибо страна ведь не абстракция) не критикуй, если в ней даже допущен из-за раболепия режим, который убивает! Лишь бы режим этот удерживал ее, страну, в ранге великой империи. . .

Готовый, стало быть, отдать народ на убиение "во имя имперской России" (хотя он так прямо не говорит и даже так прямо и не думает, но так получается из всей его устатановки, — и так — что самое ужасное — сделают те, кто вздумают ей практически последовать), Понырев впадает в экстаз: "Россия. . . не географическое понятие. Россия — задача, драма, мир в окалине духа. . ." И заканчивает дифирамбом своему кумиру: "Кто бы ни был тот, освистанный, он верно сказал, что Россия есть предмет веры".

Так пускай бы себе безобидно и верил, но ведь "он", как видно, готов *еще* 60 миллионов жизней отдать на алтарь своей веры. Нет. Россия должна быть — я уверен в этом — не мистическим, неуловимым предметом веры, а разумно-нравственно устроенной обителью свободных неусредненных, неконформных личностей: российский народ достоин ведь, наконец, этого — уже за те неисчислимые страдания, которые выпали на его долю.

Конечно же, разумной свободной обителью страна не может стать без опоры на положительные традиции, добротную почву, здоровые корни, иначе говоря, без опоры на историю. Понырев, безусловно, прав, выступая против "раскола, разрыва с прошлым". Но не рвать с прошлым — не значит возвращать с я в прошлое. И уж, конечно, не следует впадать в раж и обзывать тех, кто не хочет возвращаться в XVI в., швалью, приписывая им, будто они полагают, что история наша — дерьмо, что ничего хорошего в ней не было: было, — но было и РАБСТВО СНИЗУ ДОВЕРХУ, и возвращаться от нынешней его формы к прежней, кроме всего прочего просто нет смысла: надо двигаться к не рабству, к всесторонне-личностному обществу. А

Понырев из-за своего полярного типа мышления не видит ничего другого, кроме "либо—либо" — либо вернуться в древнюю Русь, либо . . . выезжать. Второе ему претит (и слава Богу), поэтому остается первое. И к этому примешивается немалая порция ненависти к тем, кто и этого первого не хочет, кто, почитая добрые обычаи старины, не желает при этом ее цепями замечать нынешние цепи.

В статье Понырева спорадически — то тут, то там — рассыпаны добрые зерна, но фон весь — какое-то болезненное злобствование против людей доброй воли, как ни печально признать это.

А разве стоит жить злобствованием?

Жаль, что на это тратит он себя. Вот к чему свелось на деле его "бдение" о классике.



Подобное псевдобдение Палиевского раскрывает Р. Лерт в своей статье "Высказанное и недосказанное". В дополнение к ней (к этой статье) мне хотелось бы больше коснуться существенного уровня проблемы, заглянуть немного в ее причинный слой.

Ведь в чем состоит *действительная* проблема, на которой играют те, кто создает *иллюзорную* проблему радения за "чистоту" русской классики? В том, как я полагаю, что решение у нас национального вопроса после Октябрьской революции таит в себе глубокое внутреннее противоречие: с одной стороны, поднимались образовательный и промышленный уровень ранее отсталых национальных окраин, меньшинств (что обычно и бросается прежде всего в глаза наблюдателю и что само по себе есть благо), но с другой стороны, в се нации — в том числе и русская — о п у с к а л и с ь до уровня рабов государства-Левиафана, *все* оказались лишенными п р а в . (Промышленный потенциал и образовательный ценз поднимались лишь там и лишь настолько, где и насколько это соответствовало великоимперской задаче*, которая не может быть решена без современной техники и без определенной степени образованных производителей**. Развертывание указанного противоречия привело не только к тому, что декларированное равенство между нациями обернулось р а в е н с т в о м в б е с -

* Она-то (эта задача) всех великодержавников и донимает. Спор лишь о том, под каким флагом ее решать — под сталинскокоммунистическим или под православным. Шиманову же и К^о по сути все равно.

**К этому и учебные заведения наши приспособлены: не человека они готовят, а производителя, исполнителя роли, функции.

п р а в и , а и к тому, что народ метрополии — русский народ — в угоду великодержавным интересам оказался в определенных аспектах в худшем м а т е р и а л ь н о м положении, чем народы ряда национальных окраин. Все это сказалось и на состоянии д у х о в н о й культуры. Причина всего этого гнездилась в послеоктябрьском тоталитаризме, для которого великодержавность является законом его сохранения.

Поэтому проблема национального развития, которое всем мнилось протекающим вполне успешно, оказалась "вдруг" неразрешенной и как бы неожиданно выплыла на поверхность со всей остротой. (А ведь что-то, но национальная проблема представлялась "впервые в истории действительно разрешенной").

Если отвлечься от общего для в с е х наций СССР разочарования в несостоявшемся социализме, о чем вполне обоснованно пишет Р. Лерт, то, говоря о причинах возникновения в наше время р у с с к о г о национализма, она касается лишь коллективизации, в трагедию крестьянства вылившейся, в чем те русские националисты, которые трансформируются в шовинистов, антисемитов, обвиняют . . . "инородцев". Но, во-первых, от коллективизации пострадало не одно русское крестьянство, а крестьянство и других национальностей (особенно украинское). Во-вторых, и *после* коллективизации в течение многих лет геополитика капиталовложений, строительства, политика цен были таковы, что это привело к з а х и р е н и ю коренных центральных областей России (посмотрите только на ее вымершие или заброшенные деревни). Поднималась целина в Казахстане, строились далеко от коренной России убыточные промышленные комплексы, а центральная Россия чахла, сама превращаясь в целину. Жизненный уровень в Закавказье, в Прибалтике, в Молдавии и по сей день выше, чем в России*. (Это все — плоды в значительной мере "высокой", великодержавной политики, хотя здесь сказываются и исторические особенности отдельных республик, их народов), — при полном бесправии — политическом, юридическом, культурном — *всех* наций. И если сюда приплюсовать варварское отношение к культуре, к памятникам старины, к гуманным традициям, то причин для возрождения национализма, в том числе и русского, окажется предостаточно.

Отсюда — социально-психологическая база для возрождения почвенничества. Однако почвенничество почвенничеству р о з н ь ,

* Но при этом русские рабочие, приезжающие, например, в Среднюю Азию, пользуются определенными льготами по сравнению с местным населением. Такова "хитроумная" имперская политика Кремля.

уяснение чего проливает свет на ход анализируемой дискуссии. Есть, на мой взгляд, по меньшей мере три отрога почвенничества (они были и в прошлом веке): 1) почвенники типа Шукшина или В. Распутина, которых можно бы назвать сторонниками бытового почвенничества, тоскующими по старой деревне, но вроде бы не касающимися политических проблем, т.е. как бы сосуществующими с тоталитарным режимом, которого по существу не приемлют, 2) такие почвенники, как Солженицын, считают врагом русской национальной культуры наличную диктатуру, уповают на гражданские права, причем не заражены великодержавными идеями, а признают право на самоопределение нерусских наций, хотя при этом, противореча себе, выступают за какую-то (неведомую им) автократию, за православное государство, за господство одной, православной идеологии* — да еще такой, которая имела место в XVI веке, 3) что же касается таких "почвенников", как Палиевский и иже с ним, то, как можно заключить из рассматриваемой дискуссии, их тянет к имперской идеологии третьего Рима, к великодержавности, для которой все равно, каким путем достичь своей цели — пусть даже посредством сталинского тоталитаризма. Здесь начинается явный перезвон с "идеями" Шиманова, который все это — в том числе и ГУЛag — объявляет . . . Божьим промыслом**.

(Кстати, это лишний раз показывает уязвимость веры в трансцендентного мистического Бога-Демиурга, вершителя судеб людских). Такое "почвенничество" можно уже назвать беспочвенным, ибо оно противоречит гуманистической закваске подлинной почвы нашей.

Палиевский и Поньрев не гуманистическую суть русской "классики" защищают, но не ее народно-демократические идеалы, а

* Знаменательно, что официальная православная церковь, видя страдания правозащитников, узников совести, участников демократического движения, молчит ныне (в отличие, между прочим, от католической церкви), как молчат и почвенники à la Палиевский. И что же, это рабское состояние покупается тем, что ее служители не "недовыехавшие"? . . . Да и что стала бы делать православная церковь, если бы вновь стала государственной, господствующей? Не то же ли, что делала и в царскую эпоху нашей истории? Или не то же, что делает ныне в "республике Хомейни" господствующая исламская церковь, оказавшаяся у власти и приведшая к резне мусульман . . . мусульманами?

** Вот почему в то время, как почвенника Солженицына предали остракизму, почвенника Осипова снова загнали в лагерь, "почвенникам", подобным Палиевскому, кремлевское руководство открывает "зеленую улицу", равно как "терпит" подобных Шиманову.

ее б у к в у , и не от ее подлинных разрушителей – реакционеров, тоталитаристов, репрессантов, а от тех театральных режиссеров, которые своим новым прочтением ее как раз акцентируют именно гуманистическо-либеральный смысл великой русской литературы.

Гвалт Палиевских с требованием "чистоты" русской классики – это сколок с воплей наших политических догматиков против оппозиционеров, ревизионистов, замахивающихся на "чистоту" марксизма-ленинизма. Единственные же носители "чистоты", ее "недремлющее око" – это они, ортодоксы политические и литературные. Так почвенники-догматики смыкаются с догматиком-тоталитаристами. Почерк один и тот же. Отсюда и нетерпимость, от которой один шаг до черносотенства***.

Ослиные уши этого черносотенства прорисовываются уже в апологетике кошмарных 30-х годов: "видеть в них расцвет культуры наряду с расцветом . . . истребительно-трудовых лагерей ГУЛага" – это не просто нонсенс, это духовный садизм. Сказать же, как Палиевский, что в те годы "писал Булгаков. Да, да, я подчеркиваю, писал и написал, что гораздо важнее, чем напечататься", – может, нежно говоря, только человек со сверх-хладнокровной натурой или с о ч у в с т в у ю щ и й п а л а ч у, наступившему кованым сапогом на горло писателю и при этом кощунственно улыбающемуся: "Ведь писать же вы все-таки имеете возможность!" Только адепт палача может *подчеркивать* не то, что печататься не давали да и сажали, сгнаивали, топтали, пытали, казнили, а то, что . . . писал и писал.

И после этого находятся наивнейшие люди, которые видят в Палиевском не только предчерносотенца (конечно же, эрудированного), а "сложного" почвенника.

Палиевский представил дело так, будто в 30-е годы гибли от меча левые художники, сами поднявшие меч в 20-е (и говорил он об этом с каким-то поразительным, нескрываемым злорадством), – словно "правые" художники, реалисты не погибали тогда же косяками.

Особенно ненавистен Палиевскому "международный авангард, 60-70-х годов". Многие же люди, слушающие его, относятся к этой его игре с авангардом легковесно: пускай, мол. А ведь в игре-то этой и "зарыта собака", в ней-то и секрет того, почему правительство "прощает" наскоки на "вколачивание в сознание масс" вкусов и взглядов (чем как раз само правительство и зани-

* Во время дискуссии Эфросу была прислана записка: создавайте свой национальный театр, а не лезьте в нашу русскую классику.

мается — с помощью, кстати, тех же Палиевских): наскоки на международный авангардизм — это новая, удобная, завуалированная форма былой борьбы с "космополитизмом". Они (эти наскоки) отвлекают внимание советских людей от внутренней экономической неурядицы, от насущной проблемы прав человека, от великодержавной политики (которую китайцы называют "советским социал-империализмом").

Призывая испелелить авангардистов, Палиевский тут же делает хитрый вираж, требуя "право" на . . . "сомнение". Однако он требует этого для "своих" токмо, противясь свободе интерпретации традиций. И н т е р п р е т а т о р с к а я культура, которая царит у нас, его устраивает. Иначе говоря, он требует свободы для себя и неволи для других. Это и есть с т а л и н и з м в д е й с т в и и : уничтожая малейшую критику в свой адрес, Сталин по-фарисейски ратовал за . . . "критику и самокритику как движущие силы нашего общества" и даже велел внести в Устав партии пункт о несовместимости зажима критики с пребыванием с ней. Надо же! . . .

Палиевский же идет еще "дальше": он, оказывается, против этих "могущественных звонков в редакции", против этой "дурной манеры — вмешиваться, требовать, чтобы кого-то напечатали или не напечатали" (это когда речь идет об угодной ему статье угодного для него Лифшица). Иные присутствующие на диспуте решили: ну, чистый демократ — и только. Но они тут же "забыли", что ведь именно он только что неистовствовал: "До каких пор мы будем присутствовать на подобных постановках?" что означает: мы требуем: *запретить* неугодные нам постановки . . . "могущественными звонками". А чем же иначе?

Ищущих театральных режиссеров, которые по-своему, творчески прочитывают старые шедевры, Палиевский поносит: он сравнивает их с чертями в сказке Шукшина, желающими изменить иконы. И зал "клюет" на это дешевое сравнение: аплодирует. Но ведь в чем смысл собственного прочтения классики, например, Любимовым, Эфросом, равно как постановщиками в Польше (вспомним, какой вопль был поднят лет десять тому назад по поводу новой постановки "Дядюв" Мицкевича)? Они проводят параллели с нетоталитаристской современностью, прозрачно намекая на ее пороки, — с целью ее либерализации, гуманизации, демократизации. Это заставляет думать. Д у м а т ь ! Но именно это не нравится Палиевскому да Кожинovu. Почему же? Потому, что сие неугодно режиму? . . .

Палиевскому неприятны прогрессивно-гуманистические па-

раллели с действительностью в нетрадиционном прочтении литературных произведений — а вот требования "соцреализма" к писателям прочитывать самое действительность не такой, как она есть, исказить ее, припудривать, Палиевского не трогают. Знаменательно, не правда ли?

А другой радеть за "чистоту классики", поэт Куняев считал, что весьма удобным в *наше* время приемом протаскивания своей правопочвеннической идеологии — это ударить по Багрицкому, ахиллесовой пятой которого является воспевание революционной жестокости.

Обстоятельно комментирует этот пассаж Р. Лерт. Однако не во всем можно с ней согласиться. Так она утверждает, что не только поэт Багрицкий виноват, а все наше старое поколение. Но прав был в свое время Евтушенко: поэт в России больше, чем поэт: к нему повышенные требования. Что же касается поколения, то оно никогда не бывает однородным. Р. Лерт далее поднимает вопрос: "Надо ли отлучать от русской поэзии "всех, кто романтизирует" жестокость?" Если да, то отлучить следует не одного Багрицкого. Думаю, что подобный аргумент сомнителен: дело не в том, одного или не одного. Но если правомерен пушкинский вопрос — совместимы ли гениальность и злодейство? — то куда правомернее вопрос совместимы ли поэзия и злодейство. Очень соблазнительно полагать, что подлинная поэзия питается *только* гуманностью, что без нее поэзия лишена *с т е р ж н я*. Но это весьма дискуссионно, как дискуссионны и вопросы: тождественны ли жестокость и злодейство, поэтизация войны и поэтизация жестокости, применение силы против насилия и жестокости? Но это, как говорится, особая тема . . .

Главное же, думается, в споре с Куняевым другое: действительно ли он, как и Палиевский — противники жестокости, действительно ли они хранители русской классики XIX века? Если бы это было так, то почему они не восстали против того, что уже в 60-е годы не кто иной как Шолохов — автор (?) "самого великого", по определению Палиевского, "романа XX века" — требовал вернуться к памятным 20-м годам и поставить Синявского и Даниэля . . . к стенке? (Ведь это уже жестокость не авангардиста, а . . . реалиста, и к тому же это требование применения силы не против насилия, а против *мысли*!). Ведь Лидия Чуковская нашла в себе мужество заклеить за это Шолохова, а визгливые "стражи" традиций и классики оказались в кустах, да еще тщатся создать какую-то видимость воителей.

Если вы, господа "истые почвенники", действительно пече-

тесь о традициях реалистической классики, то почему вы не вступились за Солженицына, когда его изгоняли из страны, силой оторвали от почвы? (Не вы, а Евушенко послал Брежневу телеграмму протеста. . .). Ну, а Г. Владимов, В. Войнович, В. Некрасов тоже "в разрыве с традициями русской классики"? Почему же вы *этих* писателей не отстаиваете? Почему вы не подаете свой голос протеста против того жестокого произвола, который чинят тюремщики *сегодня* (о чем пишет, например, в своем письме из заключения поэтесса Ю. Вознесенская)? Аль вы не знаете об этом? Нет, знаете — но м о л ч и т е , "радетели" за землю русскую, за ее культуру, за традиции!

Вот со всем этим, кстати, и не мешало бы выступить л и б е р а л ь н ы м оппонентам Палиевского, Кожина, Куняева — Эфросу, Борщаговскому, Евушенко. Но они, к сожалению, на высоте не оказались. Правда, унижительно выпрашивая у Палиевского мир, эти трое все-таки тут же не выдерживают и ополчаются на его реакционность, стараются опрокинуть его положения и вызывают сопонимание у части присутствующих. Эфрос даже намекнул, что сторонники имперской идеологии стремятся развернуть кампанию репрессий против "нео врагов народа" под новой кличкой "международные авангардисты". И лишь в свете этого можно понять слова Эфроса: "Я молюсь на наше время за то, что оно перестало играть такими вещами". Понять, конечно, можно, но принять нельзя: да, такими вещами как репрессии за "космополитизм" нынче не играют, но ведь играют другими: с а ж а ю т за инакомыслие, свободомыслие, за просто "мыслие". Неужто вам, либеральные, добрые, мягкие люди наши, сие неведомо? Так почему вы это з а м а л ч и в а е т е ? Почему даже не намекнули на это в ходе дискуссии? (А вот, просить мира, пощады у ретроградов и предпогромщиков, предлагать им "сообща драться" вы не преминули. Ну и ну!) И разве н р а в с т в е н н о молиться на такое время? Намного ли это пристойнее, чем видеть в 30-40-х годах расцвет культуры? Разве подобное пресмыкательство может привести к подлинно человеческому смыслу жизни? Разве на этом пути могут и должны либералы искать, ч е м ж и т ь ч е л о в е к у ?

В результате получается такая раскладка:

Такие поэты 20-х годов, как Багрицкий, молились на жестокость *открыто*;

"почвенники"-антилибералы, вроде Палиевского и Понырева, молятся на жестокость 30-40-х годов *ф а к т и ч е с к и* ;

а либералы, выступившие на дискуссии, "молясь за наше

время”, реальную жестокость 60-70-х годов з а м а л ч и в а ю т .

И все они, вместе взятые, не выдерживают испытания перед лицом гуманистической сути классики XIX века – линии Радищев – Пушкин – Герцен – Толстой – Чехов. Толстой писал: “Не могу молчать!” А они молчат или . . . юлят. Станным образом ж и в у т они тем, что молчат о г л а в н о м .

Конечно, современные либералы (почвенники и непочвенники) могут сказать, что жестокость нашего времени не та, что довоенная. Да, репрессируют нынче не их, либералов, а лишь диссидентов, правозащитников. Но разве так уж трудно перейти от вторых к первым? Ведь до первых буквально рукой подать: грани ведь, как “учит диалектика”, подвижны, благо основа (институт репрессий) не искоренена.

И все же я хочу подчеркнуть, что мною владеет не только чувство стыда за современных наших либералов (о чем пишет Р. Лерт), но и какая-то глубинная уверенность, что не смогут они долго остаться в этом постыдном состоянии: ведь совершенно очевидно, что если бы не поддержка либералов в начальный период диссидентского движения, то диссидентам было бы куда труднее, и если бы не наличие диссидентов, не их самоотверженность, если бы правительство не боялось, что либералы могут примкнуть к диссидентам, то оно давно послушалось бы Палиевских и зажа-ло бы их (либералов) окончательно, учинив тем самым полный разгром культуры.

Я убежден, что эволюция наших либералов еще не завершена, что они еще не сказали свое последнее слово (это начинает присосываться уже и на примере “Метрополя”).

Только альянс либералов (почвенников и непочвенников) с диссидентами – спасение как для первых, так и для вторых, равно как для будущего наших народов (а значит, и для прошлого, для того, что в нем было благородного, для гуманных традиций нашей культуры) да и всего человечества, если хотите.

Только на этом пути, думается, решается вопрос “чем и как жить?”

О КЛАССИКЕ И САПОЖНОЙ ВАКСЕ

(Ответ И.Н.Поньреву)

“...Фразы мало” — поэтому пятнадцать страниц отборнейших фраз, и под конец, “дело пошло на разрыв”. Тут оборвано, предложено возражать. Ничего не скажу — удобно.

Секрет, в ком же или в чем разрыв: раскол в народе, или в образованных разделение — и надо ли делиться, и по какому признаку: вправо и влево от центрального прохода? По вопросу, млеть перед Петром Васильевичем или не млеть? Но в ЦДЛ млели направо и налево, а отчего — от восторга, вожделения или страха — уж пускай останется альковной тайной. . .

Уважая, Поньрев, ваши чувства, и ценя ум и быстрый яд иных из наблюдений, не могу признать за вашими заметками ни откровенности, стоящей псевдонима*, ни прямоты смысла, на которой вы настаивали (“русская речь, Россия”). Не только ваш язык, что было бы еще ничего, все смыслы и сама ваша злость — метафоричны, окольные... Подмена тезиса у вас — не слабость логики, но расчетливость стиля.

Я возражаю на первый же абзац, Иван Николаевич: спор в Центральном Доме Литераторов был *не о России*, да никакого спора там не было. Одни прятали в кармане кукиш, другие кулак, но вывернуть карман никто не решился — из этого метафорическое богатство речей, составленных из суммы намеков на кулак и на близкую смену способов его поднести, дать понюхать. Запах кулака, завораживая умы, перебивал и родной чад отечества, и вонь его гастрономов.

Распределено на вечере 21 декабря 1977 года было так — одним попугать, другим попугаться, одним — приподнять свой фиговый листок на полпальца, другим, в уроне, — прижать поплотнее свой. И разве удивительно, что в зале началась большая

* Ведь в девичестве вы Иван Бездомный? “Жертва луны”? И наконец, по замыслу М.А. Булгакова — “сотрудник Института истории и философии”...

истерика, как только выяснилось: под всеми фиговыми листками у присутствующих *одинаковый срам*?

Наш срам скучен и социален. Он лишен всякого драматизма, и вот: пока умные шкуры самовыражаются на казенный счет, умные трусы примеряют казенную шкуру, прицениваясь к казенной силе. Ссора происходит тогда и там, где трусы, пополняя ряды своих и сборники статей, обращаются к умным шкурам за аплодисментами. Те шумно протестуют — социальная мнимость на целых пол-пальца (“... в наше время, когда повернуто на “ясно”, когда все хорошо. . .”; “я молюсь на наше время”) — скандал, неглиже; “путчик” . . .

Если вам, Понырев, не нравятся пришедшие в ЦДЛ поразить язычок, какого черта было соваться вам в эту разминку?

Какого черта столь правильных идей человек, по-вашему, как Петр Васильевич, не только ввязался в спор, но весь спор и затравил, а под занавес еще заверил, что “классика победит”? К чему был этот хэппенинг? Вы так остро обижены “домыслами о союзе “сталинистов” с “деревенщиками” — домыслами о модернистской угрозе России вас, видимо, покорили.

В “дискуссии о классике” я не ишу никакой руки Кремля — я не нуждаюсь в этой гипотезе, слишком все было самодеятельно и психологически всем нам сродни. На это и не “сталинизм” никакой, и не “либерализм” — это русизм; салонный русизм фрачной публики.

Спор эксгибиционистов с нарциссами, имитируя жизнь — там, где ее не было или не получилось, очерчивает замкнутый, заговоренный круг условных кличек, в который в жизни вообще никогда не дойти. Так нагнетается *ситуация*, флора под колпаком. Люди, трусящие открытой речи, не говоря уже о поступке, создают полигон для испытания задних мыслей — их ударной силы. Ведь простой речью вслух иное не скажешь, без цензуры не скажешь: школьники засмеют. Эзопова речь помогает вывернуться и тут, да так, что сама Инна Роднянская, обойдя колющие, отметит “интересные духовные моменты”.

Легко ли косному западному интеллектуалу вдруг заявить себя либералом, но и коммунистом, а притом — культурным фашистом? Эге — попрыгай, брат-немец. . . А мы нате. Ученейший Петр Васильевич о д н и м а б з а ц е м отмахнется от постылых большевиков (“как ни относиться к этим годам с политической точки зрения”. . . — кстати, оказано и элитарное парение над политикой), но отмежуетея и от западнической либерально-мрачной оценки эры Сталина (“надо признать. . . громадное значение сое-

динения классической и народной. . .”), а там решительно переступит через обывательский здравый смысл, ибо что за синтез культур при возможно более полном истреблении их носителей? А вот что значит — т и ш и н а . Погаддели — и хватит. И без Грэма Грина, и без Фолкнера Палиевский найдет что писать — но невыносимо, когда со знанием своего ума нечем и некем распорядиться; нельзя даже выйти на трибуну, чтобы — замерли, гады, с интересом разглядывая твой двубортный габардиновый костюм.

Поэтому, повторю, наш срам ничуть не пикантен, хотя и русский вполне. Устраненная от власти образованщина переделывает свой кукиш в кулак, по-иному складывая пальцы в том же кармане. Берясь руководить бесхозным — духом, Достоевским, Бахтиным и Булгаковым, не брезгуя притом педсоветами и институтами, она проникается новой дельной идеологией; но сперва помалу и в меру немедленной выгоды, наверняка. Все происходит помимо и поверх России. Взогревая себя успехами, вскипает тонкий слой новых деловых идеологов; непроницаемо прижатый сверху номенклатурой, он зато испаряется в “элиту”. Элита становится кадровой, карьерной, в нее начинают лезть. Напихивается столько ловких и умных ребят, что номенклатуре кое-где придется потесниться. Взамен элита демонстрирует кадровый реализм и завидные идеологические способности бить по башке отстающих, не перестроившихся с кукиша на кулак: кулак впервые тогда появляется на свет из кармана — прекрасный кулак, несколько не анемичный.

. . . А Россия? ”Россия, — сказано с придыханием у вас, — вот”, — где же тут Россия, Иван? Откуда и какой щелкой замешаться в эти сделки российской повседневности, как войти ее голосам, живому их разнобою? Царь Небесный не благословлял чернь, толкотню у государева блюдечка. . .

КСТАТИ, О ”ШВАЛИ”

Признаться, ваша генеалогия швали из ”пустоты разрыва с прошлым”, с определением черни как ”бытия посередке” близка злобе дня, хотя и не нова. Но даже тут, Понырев, и не вас одних, а всю партию *кипящихся*, губит недосуг присмотреться к собственной мысли. Любая ваша идея зря скользит в эпиграмму, в злой анекдот.

Пустота безвременья не создана ни Октябрем, ни революционной культурой как таковыми. Дела, случай, исторический факт *сами* одним своим нравственным существом не могут про-

рвать основу истории, так как со-ткнутся с ней вместе. Иной вопрос, составляют ли события прочный участок "основы" или редкий, со слабой нитью. . .

Соединив революционную романтику Двадцатых с другим бесспорным пунктом — духовной пустотой современности, столь близким обрывом ведущих к нам нитей, вы получили простой обвинительный пунктир, и немедленно скользнули по нему в риторiku "неубывающей в нас (в — вас?) России". А раз вина доказана вами, то вы как бы *вне вины*, и предлагаете себе подобных в пример нерушимости русских нравственных почв. Все — "спектакль окончен. Разъезд. Конец". Время восстановлено (в вас), трагедии как не бывало, а врачебный признак второй нравственной гармонии (в вас) — естественный цвет лица. . .

Нет, Понырев, цветущее лицо, чистое от стыда и чувства вины — это верный признак "бытия посередке". Этих-то я хорошо знаю, ото всего свободных, даже порой от возраста, бодреньких, бессмертно суетных и бессменносмертных. С гадкими хобби им подстать. . .

Не мелькнуло ли вам, когда вы говорили о сгнувшей без следа эпохе, что дело не в календарных пробелах, документированных газетами и доносами, и не об умерщвленных речь, ибо люди не истлевают без следа, а о неких живых, топчущихся рядом с нами, и отчасти о самих нас? Увы, Понырев, разрыв времен — не "мелкий миф журналистов", поправимый кадровой перетряской, а сегодня господствующий в обществе надо всем нравственный типаж. Он не тайна Кремля, не великий немой, а напротив, довольно болтливый тип, любящий помногу писать "о времени и о себе". Почитайте-ка Катаева, Бондарева, Симонова, и при всей разнице дарований, и при всем скачущем непостоянстве намерений, — вот вам прошлое, спрятавшееся от себя в "прозу" — и проза, выдумывающая затем "прошлое" из головы; даже трагическое из головы. Когда у них спросят о прошлом, *о них в прошлом*, они лезут в карман и предъявляют липу этой прозы, как будто ничего больше не случилось, только описанное.

Смотрите, как все они подобрали себе по алиби в "мгновениях", в "звездных часах" — все придумано по текущему спросу, даже "осколки разбитого времени" — сочинены, ничегошеньки для них не разбивалось — для Шкловского, Катаева, Бондарева, с такой жалостью к себе описывающих трагически разбитую жизнь.

Взамен реально скользнувшей, разбитой, которой и не думали ни собирать, ни терзаться. . .

Вся работа сочинителей современности — в жутко деятель-

ной пустоте. Перемолоть языком катастрофу времени, перевернуть себя покрасивей, отвлечься от нечего делать на оргазмы сорокалетней давности, ... задним числом выстроить жизнь рядом "мгновений", исторических сладостей, всех наиболее симпатичных оскалов и масок из тех, что, предохраняясь, нашивали, пока "под" — не смылось *лицо*.

А лицо — это связь, сустав всякой традиции, переверни его — и та оборвется. Не Октябрь прервал, не Иосиф Сталин, не Багрицкий и не война — *эти*, уцелевшие за счет всех, сажали они тогда или сами сидели, но сегодня все превзошедшие и усвоившие: Октябрь, деревню, войну, ГУЛаг — на дерьмо. Связующую нить не сплеховали те, кто ее вязал, не рассекли те, с саблями на скаку — *ее сперли современники*.

Будь мы просто трусы, шкуры, отпетые предатели и палачи — не беда. Все это общечеловеческие смертные пороки. Открываясь всем, они что-то важное сообщают людям, от чего люди стыдятся и чуть меняются, нечувствительно обновляя основу. И та прочнеет. Бывают мемуары предателей, есть исповеди палачей; трус, получивший пощечину, вдруг может перемениться. Если же не кается "подлец-человек", то карой приходит настоящая проза, чующая под уверенностью в себе деловой эпохи — океан, неисчисленность, страсть. За углом у нее прячется Достоевский. . . Ведь можно войти в любую долю, самую горькую и пропащую — пониманием, сочувствием, стыдом, что сами такие — когда та говорит в открытую. Так нет же! Кто мог в чем-то признаться (за кем не водилась наша вина? . . .), пускай сбивчиво и темня, в невыгодных, стыдных местах, предпочли просто похерить прошлое в себе, разменяв на беллетристику, смакующую "моменты".

Вот оно, прошлое наше. Сталин, тот гниет у Стены, миллионы вмерзли в северный наст — оно хорошо одетое ходит, оно ездит за границу выпендриваться, с глубоким подъемом учит нас жить, и спит с бабами, и снова учит нас жить. Оно есть — и нет его, как нет. Попробовали бы вы тащить *правду* из кого-то вроде Катаева — думаете, это легко? Думаете, она там хотя бы есть? Его ложь ведь — не просто его корыстные враки. Ложь — это время, в нем запнувшееся на себе и помалу заплывшее салом: *ложь есть его личность*. Даже брат его следователь не извлек бы наружу ни истинки, кроме множества сальных сплетен и комка запутанных комплексов. Как, и все? Все.

Отекшие, опухшие собственностью на опыт, им ненужный, они всех нас обокрали. Не в пробелах летописей гнездится пустота — оборвав человеческий провод времени, и этот воплощенный

обрыв, провал, пробел, *пустое место* ходит подле, дурак — но *никем не заменимый дурак!* Жилочка слова о трагедии — пере-
давлена. Время, стряхнув трагическую глубину, стало плоской и
скучной дрянью, а заодно и поводом для желчных острот: здесь и
ваши, Понырев, и вашей братии. Это весьма твердая плоскость.
На ней устоят не только Кремль и ЦДЛ, но и новая идеология го-
това состояться тут же.

Пустоту не проберешь никакими колкостями и концепция-
ми, а в сторону она сдвинуть себя не даст. Под ней умирает прош-
лое, недостижимая земля трагедии дедов и братьев, мертвых и
живых, почва. Пробриться к ней надо, как вернуть себе жизнь, как
иметь детей. Но чем, откуда? . .

Умом не достали Россию, революцией не доскребли, теперь
внутренней свободой, мыслью независимой стоять — не по нам,
что ж, желчью дождемся? Злобой высверлим в Россию дырочку?
Злость бывает умна, злость нынче — стилист, и за красное словцо
тащит совесть, будто за галстук. Она доступнее веры, достижимей
народных прав — ура, ею же из-под глыб воспрянем, не замяв
брючную складку!

КАК НАШ САПОГ ЗАСВЕРКАЛ

Сто лет назад или около того у нас в журналах вошло в обы-
чай не появляться на публику, не рванув на себе батистовой руба-
хи. Историками объяснено, что так дворяне каялись перед наро-
дом за всю историю, но дворянство, объясняют потом историки,
шло к упадку, и надолго рубашек ему не хватило, во всяком слу-
чае своих. Тогда взялись за чужие.

Ввиду оскудения гардеробов прогрессировали и нравы: не-
зачем стало кого-то в чем-то разубеждать, разводить антимонии
стало недосуг. Наскоро рванув на себе воротничок, вроде манда-
та, тут же брались за литературного ближнего. Все делали "по
праву совести", и оттого крайне неколебимо: впервые в те годы у
нас совесть запросила себе мандат на чрезвычайные полномочия.
О *больной* совести спору, впрочем, не было и тогда: не знали та-
кого, на что не имела бы права больная совесть. Она таскала за
вихры Тургенева, водила Пушкина за его барские бачки, попре-
кала Шекспира сапогом. О Достоевском что и поминать — плешь
прогрызли Достоевскому. До кожаных курток впереди лежала
еще дальняя дорога (от батистовой-то белизны). Зато и дубели

тоже резво, десятилетие — и пядь во лбу долой*).

Дальше — хорошо известная нам картина: народу подпирало, давка усиливалась со дня на день. Все потянулись к чьим-нибудь воротничкам и заявили право скорбеть. Наконец, делегаты большой души, выдвиженцы горя народного сосчитали мандаты (рваные воротнички) и указали *своих*. Номенклатура больной совести повела себя как и всякая номенклатура: резко ограничила доступ в свои ряды, но зато расширила список позволенного кадровым работникам.

Все, посторонних теперь к народному горю не допускали. Только в порядке заверенной рваности. Вопрос о предпочтительности сапога перед Пушкиным муссировался и потом, но как-то вяло, лишь когда в поле зрения критиков попадала чудом уцелевшая репутация. Подстрочно поругивая царя, губернатора и попа, номенклатура совести никаких намеков в свой адрес не пропускала. Отсюда имелись последствия, вам хорошо известные, а многими и хорошо *испытанные*, хотя и не вошедшие в школьный учебник. "Классика" уже побеждала раз, когда Бог знает когда затеянная дискуссия о Пушкине и пользе сапога, что под разными видами тянулась до середины Тридцатых, вдруг была оборвана товарищем Макбетом в пользу Пушкина и Шекспира. С Пушкиным, "интерпретированным" в строго классическом стиле плюшевых портьер, золотого обреза и академических окладов, наш сапог за сверкал на весь мир, наливаясь эпической правдой**. В надежде

* В пример приведу два отклика известнейших русских полемистов на появление *первого* романа Н.С. Лескова "Некуда" (под псевдонимом Стебницкий), справедливо пришедшегося не по вкусу того времени.

"... Даже из людей, сочувствовавших г-ну Стебницкому и вполне разделяющих его мнения, ни один не решился вступить за него печатно..." Это Салтыков-Щедрин, в похвалу литературным нравам.

А Дмитрий Писарев прямо ставит вопрос отделу кадров: "Меня очень интересуют следующие два вопроса: 1) найдется ли теперь в России... хоть один журнал, который осмелился бы напечатать... что-нибудь выходящее из-под пера г. Стебницкого и подписанного его фамилией? 2) найдется ли в России хоть один честный писатель, который будет настолько неосторожен и равнодушен к своей репутации, что согласится работать в журнале, украшающем себя повестями и романами г. Стебницкого?..." Как видите, Поньрев, — ледяной прозекторский тон статей вам известного критика г. Латунского, уже готовый, разлит по тарелочкам остужаться. Оставалось изобрести Агитпроп и "Литературную газету".

** Многие, похоже, забыли, какой блестящий сезон открылся Пушкинским юбилеем в Москве, в январе-феврале 1937 года. Символизм времени юбилея конгенитален символизму его сути: праздновались *сто лет со дня убийства*. И в полне в классической манере Реалиста всех времен и народов.

славы и добра многие кинулись глядеть на этот блеск, причем кое-кто тогда уцелел. . .

Здесь ось вашей и Палиевского тонкой метафоры: *эра крови есть эра правды*.

Рассмотрим ближайший этому пример, скажем, расстрел. Разумеется, совершенно условный и отвлеченный. Для полноты беспристрастия за вами, Понырев, остается право самому решать об имени и взглядах казненного и против кого он, "как говорится, поднял меч" (П.В. Палиевский). Мне это безразлично.

В акте расстрела легко различимы такие духовные составляющие:

1) человек у стенки, остающийся вдруг сам-на-сам со всем высоким и низким в себе, и в этом значении открываемый для себя как *просто человек*, "через свое вступающий в связь с общечеловеческим" (П.В. Палиевский);

2) беспочвенность головных идей, открывающаяся казнимому в "крушении отвлеченных ценностей" (П.В. Палиевский), оставляя ему одну лишь "основу" — причастность к "своему", к "целому". Все его прошлое и мертвое спасительно сгорает до гла, коража — замечает Петр Васильевич меланхолически — и живое;

3) и, как духовная сумма, альфа и омега — бесценный *для литератора*, опыт узнавания человеком смысла и бессмертия его души за секунду до того, как вышибут ту из него одним пинком, пулей или саперной лопаткой. . .

Стерев случайные черты — безоружного и жалкого человека, боящегося, что пуля может ударить ему в лицо, да не на смерть; холуев с маузерами, расстреливающих его "с наслаждением" (П.В. Палиевский), их "пли!" и произвольное мочеиспускание организма, мы откроем читателю поистине космическую картину. Жизни духа, отлетающего по стволу ее к корням, от унесенного судьбами человека-листика — во всеобщую родовую основу, в почву. . . Разве не возносит нас эта картина над узкой этикой "старого гуманизма", да и над замшелым иудаизированным христианством? . . . А попутно можно порезонерствовать и откровенно в духе сапога о пользе "истребления середины" (словцо-то какое нашел Петр Васильевич, вроде *селедки*). Отсылка же к бедной ужокошенной Лизавете вы не примете, Понырев. Я знаю, Достоевского ваш шеф приносовил и взял себе референтом: старик хорошие цитаты дает к докладам о Шолохове. . .

Чем плоха моделька в смысле нравственности? Нравится многим, в соблазне этом — новая сила и для пристреливающих маузеры (пока по тирам), и, главное, для кандидатов к будущей

стенке — духовно и дельно, и стиль лакомый — всем взяли, Поньрев, вы и "вещи", а опять н е в с е х ! Почему же, — спросите вы, — почему не всех? (И справедливо спросите, потому что новая идеология с первой минуты, как начала обдуманно строиться, предполагалась на всех нас, чтобы никого не насторожить заранее, не обидеть ни Агитпроп, ни Роднянскую; и чтобы вдохновить, и чтоб уверить, и показать, как можно *работать* "русскому интеллигенту" внутри той системы, с которой, как доверительно пояснялось, и какать сесть рядом стыдно: и что такого? Какать будем особо, среди *своих*).

Смерть для идеологов, чума для эстетиков и стилистов — не либералы, а — всякие пустяки жизни, человеческий разной, бездарное и никчемное стремление быть при своих 36,6⁰ по Цельсию: сколько все "умы" в мире ни бьются, ничего поделатъ с этой дуростью не смогли. Всех богов смешивали, все самое соблазнительное валили в одну постель; ваяли ослепительных "людей будущего" из отпетой швали — а какие у тех сапоги были, какие марши! . . . ничего не вышло. Всякий раз всякий новый малеванный классический мрамор от полнокровия вдруг оплывал и гнил — тут самая шикарная из метафор, а хоть выноси. . .

Бывало, даже у самой стенки уверишь человека в правдивости поставленной сцены и в гений Режиссера (Режиссер начинал модернистом, но прославился как уверенный классик) — а тех, за стеной, слышавших простой хлопок, не сумел уверить. Никогда ведь точно не знаешь, кого необходимо срочно вписать в "сердцу" — родство, память, милосердие, даже талант всюду вносят неопределенность; и на тебе — доходит разной до человека "с черной ладонью", и пиши пропало.

Обратный рост волны, *вала реальности*, тем и велик и славен, что вызвать его никакой умной злобой нельзя, он тихо вздымается над Большим и над всесоюзным, и над всяким театром без чьей-то подсказки — и тогда уносит к чорту весь его красочный реквизит вместе с маузерами. Из-под фальшивых метафор, вроде "сталинского века" и вашей, только задуманной, вал вышибает постаменты и табуретки; а там — бездна, куда мы себя и вы нас так хитро заманили, с такими выдумками и талантами.

Один раз это было, от начала к концу, от "прелести" — в яму. Правда, в яму, ничуть не похожую на пропасти духа, а просто с известью, да и то не всегда, нас вел "рыжий, рыжий, конопатый, убил — дедушку лопатой" — не умея связать вслух трех слов, и переводя всю бумагу в СССР на жуткие реестры "основных черт", "пяти пунктов" и "главных признаков". Он был не Ницше, а

жаль. Жаль, что в России не было Ницше. Не Розанова, не Леонтьева, а кого-то "вместе взятого", красавца совратительней всех. . . Правда, можно задуматься — почему же все-таки не было, тогда как составные способностей, ума, стиля налицо, и на книжицу поопасней "Заратустры": что-то, видимо, не дало — и такой важный урок *стиля*, ведущего в ту же яму, пропал.

Жаль — в виду будущих ям и умножающихся красавцев, которых заедает их бессилие, стиль и "вечная Россия".

ПРИМЕР ДУРНОГО СТИЛЯ

В России существует традиция некрасиво писать, но упорным письмом чего-то доискиваться и добиваться. Плохие стилисты русские ничего не берут голосом выше обычного разговорного тона. Иногда им вообще не дают голоса, и они роют слову какую-то внутреннюю дорогу, но отказываются от подтекста, и не приплачивают соблазну метафорической лжи. Зато ими написанное поначалу глядится сикось-накось, долгие годы пылясь на полках общего доступа районных библиотек.

"Крупные русские писатели не пером пишут, а плугом пахут по бумаге, пробивая ее. . . Вот почему легкое писание, беллетристика, русскому кажется пошлостью, и русский писатель кончал свой путь непременно той или другой формой учительства и объявлял дело своей прошлой жизни "художественной болтовней".

И если иные не кончают учительством, а остаются художниками до конца, то это художество не совсем свободно, в нем какой-то безумный загад смотреть и радоваться солнышку, когда голова будет отрублена. Не знаю, кого бы назвать из таких писателей*.

Вероятно, если ничего не переменится, я сам буду такой. . ."

Михаил Пришвин писал это, живя в Союзе ССР и членствуя в Союзе писателей, в самые жаркие времена "соединения классики и народа", из которых вышел относительно невредимым. Ни для кого не было сомнения, что писатель он хуже А. Толстого и Паустовского, а сам он, если спрашивали, "кто у нас первый писатель?", благоразумно называл имя первого секретаря СП. Фраза его то и дело застрекает на мыслях и подолгу топчется вокруг да около, глаза на никчемные вещи; да и те он не умеет по-катаев-

* Вас не кольнуло, Понырев, на этом месте? "Безумный загад" — не прямо ли это о вашем творце, Михаиле Булгакове? . .

ски сочно подать на стол. Что еще? . . . Вел дневник, на такие вот пустяки тратил все эпохальные времена и умер годом позже кремлевского Всея Руси Сусанина. . . Был почвенник в *первичном*, от Федора Михайловича смысле:

”Идея человечества есть русская идея, противоположная идее фашизма. . . и состоит в смирении нации перед всеми нациями”.

— по нынешним временам это режет ухо, вроде ”на, возьми мое портмоне”: так серьезные люди сейчас не думают, а, Понырев?

Теперь стало яснее, что даже в напечатанном, как и в заметках для себя, Пришвин бился над невероятным для советского писателя вопросом: можно ли стерпеться с российскими судьбами за свой счет, заплатив какую-то только личную, позволяемую совестью цену и оставаясь внутренне живым самому, участвовать в судьбе всех? Короче — как ”выйти из давки” человеком? Вопрос дышит тоскою сверх-исторического смещения времен в самой душе человека.

”Мысль моя определенно ходит по истории. Слово свое имею от русского народа. . . России суждено сказать новое слово. . .

. . . Приближаясь к финалу, который заостряется то ли в чувство правды русского человека, то ли в мире. . . К чему выведет, не знаю”.

Здесь все открыто: и заостряющееся куда-то чувство правды, и мир в финале, и — ”к чему выведет?” Смысл своей задачи — примирение с русской трагедией и прощение рухнувшего, не дается — избирательным предпочтением одной из идейных версий случившегося: выбор идет в душе, а душа одна. И что делать, если Россия в душе не примиряется с очевидностью России вокруг — уповать на века впереди, опираясь на станковое российское, тысячелетнее прошлое?

”Простыми же совсем словами сказать, мы хотим, чтобы *века правды*, сменив *века свободы*, действительно освободили пребывающего в рабстве человека”.

Вроде бы — новый миф: когда Россия видала эти ”века свободы”? Где-то они были, — ”на берегу Атлантического океана”, — но вокруг ни свободы, ни правды, и Пришвин это различает ясно.

”Наш старый русский интеллигент приходит к новым убеждениям не потому, что у себя хорошо, а потому, что там, куда он с детства с верой смотрел, стало плохо, и не потому плохо, что там есть нечего, а что нечем стало там дышать. . .”

В таком случае, нечем дышать и здесь: там уже умирает

свобода, здесь правда *еще* не принялась — чем жить в перерыве, России и тебе самому?

Ответ существовал, и многими в разное время принимался за единственный выход: великий пастернаковский соблазн "в надежде славы и добра глядеть на мятежи и казни". Да и то скажем — какое милое у нас тысячелетие на дворе? — Идет год 1950-ый. Когда Пришвин заносит в дневник свои все менее своевременные мысли, а Режиссер задумывает свой последний шедевр, "дело врачей", Пастернак, уже уставший от соблазнов, подводит итог своей уцелелости — всеобъясняющий и всепрощивший роман с предуготованным смыслом. Пришвин же своим "не знаю" просто заболевает —

"Никто не разберет, о чем я писал и чего хотел. Так вот сходится жизнь к концу, будто я рыба и вхожу в узкую мотню".

Он также берется за последний в своей жизни, и роковой для нее роман ("Осударева дорога"), полный решимости оправдать российскую катастрофу — которой, заметим, никогда политически не соблазнился; и оправдать *личностью*, как свою, если потребуется, он готов отдать в залог неоправданному смыслу свою личность. Этот признанный мэтр позднесталинской литературной эпохи ("О природе. . ."), обладатель дачи, автомобиля и квартиры в Лаврушинском переулке, все как у людей, — берется писать для печати роман с действием в Тридцатые годы на Беломорканале, с героями эсками. . .

". . . Замысел первоначальный: изобразить рождение коммуниста в мальчике Зуйке на фоне крушения старого мира и борьбы и восхождения нового. . . Дать картину возможного коммунизма, в который все мы верим, . . . и отделить его от картины провалов на пути к цели. . . Но дело в том, что в моей душе содержится евангелие коммунизма, и оттого все, что ниже его, все, что есть "заменитель", . . . не выйдет из-за моей совести".

Вроде бы с первых шагов — сто уловок в запасе, и тот же метафорический запас в надежде славы и добра разглядывать казни как "восхождение нового", не говоря уже о "возможном коммунизме", понимай как знаешь — варенье из роз; да еще "отделить. . . от картины провалов"! Но Пришвин не приемлет оптимистических метафор и обобщений в стиле А. Толстого:

"Медный всадник сказал бы Евгению: "Ты *мелко* мыслить!" Так образуется сила обобщения: путем уничтожения, убийства случайного".

Как ни просится, как ни подсказывает себя отождествление "будущей правды" и "возможного коммунизма", сразу выровни-

вающее дорогу к бесконечному тождеству и примирению, но ситчко совести жестко — правда дана трагедией. Она и есть сама трагедия, в искомом Пришвиным ракурсе: повернувшаяся человеку открытым, не требующим унижения смыслом.

”Раз испытывшему это чувство хватит на всю жизнь. . . Оптимизм становится возможным при условии личной трагедии”, и как ”последствие трагедии”.

Только так он разрешил себе прорываться к гармонии, в которую, конечно же, верил безоговорочно. Задумав ”роман-оправдание”, он начинает писать *роман о правде*. Чтобы утвердить оптимизм в краю вечной мерзлоты и могил, этот любимец пионеров и стареньких библиотечкариш приступает чуть ли не к сказочно-му ”Архипелагу ГУЛаг”. Эпиграфом к роману Пришвин не зря ставит: ”Аще сниду в ад, и Ты тамо еси”. . .

История борьбы одинокого писателя с непомерной задачей драматически восстановлена в воспоминаниях В.Д. Пришвиной ”Наш дом”: она кончилась достойным его поражением и смертью, в разгаре новых попыток отыграть смысл; в поисках правды, которая бы обняла трагически расщепленное жизнью целое.

”Знаю, что подстилаю доброе дело под стройки канала. . . Гадость подстилает все на свете. Гораздо труднее найти хорошее.

. . . Справиться с мерзостью и вытащить из нее душу младенца.

. . . Вообще смысл таких катастроф есть рождение новых личностей, *сосредоточивающих в себе смысл событий*”.

Это — великая догадка: смыслом должен быть выход для человека, возможность жить, не ослепнув.

Взамен державно-величественных (”да умирится же с тобой. . .”), элитарных, не без подлинки (”А мы, мудрецы и поэты, хранители тайны и веры. . .”) и прямо подлых ”искупительных” трансценденций (”Как ни относитесь к этим годам. . . , нельзя не признать. . .”) — смысл катастрофы ищется в дорастании самого человека до этого смысла — принимая в себя и перерастая трагедию, выходя из ”давки”.

Но кто эти ”новые личности, сосредоточившие в себе смысл”?

Естественно для писателя числить среди таких — себя. В таком случае роман может быть простым исповедальным монологом о тех духовных началах, которые все эти годы помогали не только выдерживать, но и вообще что-то писать. (”Правдотворчество дает бесстрашие самому себе”). Смысл, просто отождествленный с автором, может быть поэтому вынесен им за скобки, за рамки текста, в скрыто ощущаемую его точку зрения. . .

Но тем самым за те же скобки выносятся, сглаживается катастрофа, вынужденно стирается ее незарастающий трыв-травой след в людях, что на бумаге необходимо вернется ложью в деталях.

Все силы Пришвина уходят на то, чтобы этого не допустить.

”Я хотел найти добро. . . вот отчего началась борьба: добро мое боролось с наличием зла”.

”. . . Я не мог себе представить чекиста, как мне надо, хорошим человеком. . .”

”. . . Я начинаю видеть в нашей жизни все больше и больше дурного”.

Последнее тревожит Пришвина не так нелояльностью, как угрозой внутренней душевной гармонии, которую он рассчитывал все время работы сохранять нравственно непрерывной. На его глазах между прошлым и будущим, между смыслом и тем, что есть, пробежал волосок трещины, немедленно затронувший его личность. Ею-то и начинает действительно входить смысл в ”душу младенца”: трещиной ровности.

”Конечно, наше время есть и начало чего-то, и конец. Хочется войти в начало, но и конца не . . . переживать: пусть оно кончится без меня, я же войду в начало.

Мало того, мне кажется, я рождаюсь, не имея возможности об этом сказать кому-нибудь, и оттого мне хочется на старости, как ребенку, плакать и жаловаться”.

Вот оно, трещина — между концом в самой личности и ее, личности, началом. Та самая ”новая личность, накапливающая в себе смысл катастрофы” — не рождается, пока не выместит старую и та не умрет; и всюду в те годы с Пришвиным эта боль — то, что рождается, непримиримо со сложившимся Михаилом Пришвиным, привычно уклоняющимся от всего одностороннего. . . Кто знает, какой ценой Пришвин крепит в эти годы веру в дивную Россию, и к о г о он для этого в себе преграждает, к о г о вымещает? Ч ь е й правде сопротивляется?

”. . . Я сделаю с собой то же самое, что сделают с собой все мои герои — строители канала”.

Понимает ли он, что для этого есть один путь — испытать это ”все” шкурой строителя-зэка, если не буквально, то позволив такой резкий крен своей личности, чтобы центр ее оказался в пределах *зоны*: но не понарошке, не с временным испугом туриста? Понимает ли, что эта шкура — тоже личность, копящая ”смысл катастрофы”, но другой, неискупимый смысл? Что трещина конца не может быть обойдена по пути к началу, и тот самый младенец, ко-

того ни за что швырнули в мерзость, вырастет не с душой Зуйка? . . . Есть подводная сторона смысла, перевешивающая казую (кровь и неволю эзков), долгодействующая — и глыба ее уже молча подплывает под киль в глубине. . . Пришвин понимает это своим чутьем на правду.

”Любить жизнь — значит забывать все плохое (”переживать”) и удерживать все хорошее. Огромное большинство молодых людей этим и живут. **НО ЕСТЬ ВЕРА И РЕШИМОСТЬ ДРУГАЯ: МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ПРОСИТ, ЧТОБЫ ЕМУ ВСЕ ПОНЯТЬ, НЕ ЗАБЫТЬ И НЕ ПРОСТИТЬ**”.

Конечно, писатель не знал, что пишет это о вполне реальном человеке по имени Александр, живущем совсем недалеко от него, но *за проволокой*, и годящемся ему в сыновья, в котором смысл катастрофы уже нашел в себе цельное и грандиозно-крайнее воплощение. Он верил в ”благополучный конец”, в то, что ”сказка — это выход из трагедии”. Но трещина правды, бывшая, как мы тогда не знали — бездною, немо глотала все его образы оправдания: разрыв не зарастивался жизнью даже в воображении. Воздушные пути для правды заказаны: правда обрушивается в жизнь своими *великими крайностями*, а все прямые дороги к ней — крестные. Их Пришвин знал и никогда не пытался пробовать — не по силам (”*Всем буду заниматься, только останусь на воле*”). Здесь был сказке конец.

”Переживаю крушение своих многолетних трудов”.

”Осударева дорога”, к счастью ненапечатанная, есть картина совершенного посрамления автора в его попытке сомкнуть прошлое с настоящим.

”Подумываю, не удрать ли вовсе из литературы. Можно бы дачу продать. . . устроиться в маленькой избушке: корова, поросенок, куры. . . Да так бы и жить потихоньку?”

Нет. Неудача перестает быть всего лишь литературным неуспехом: страшный вопрос о полной правде уже пущен в самую сокровенную личность, и в оправдании теперь нуждается *она сама*, а не чекисты при ”добром деле строительства”. В.Д. Пришвина вспоминает: ”Борьба с собой у Пришвина была трудная, безысходная. Он был в те дни, как распятый”.

”Ночью во сне что-то виделось, и потом ясно представилась жизнь моя в ее порывистой беспомощности. . . И деятельность моя, литература, так ничтожна!”

Не свелись концы с концами в себе — не сводятся и на бумаге; осталось лишь упрямство не лгать и вера в гармонию, которой — и это создано, — прочного исторического места нет, почвы нет,

а вера зачем-то есть: "невидимая страна существует, и это есть моя родина". Россия превращается в невидимую страну, пока правда ее не станет видимой и она с правдой не примирится.

. . . Смысл приоткрылся позже и в других личностях. Тайна правды о катастрофе, высказавшись сполна, пополам распадет весь ствол сознания. "Чувство правды русского человека" вступит в смертельный бой с миром в его душе и вокруг, а "новое" слово", выношенное Россией Солженицына и Архипелага, отбросит ее на хрупкую кромку жизни.

Или пустота — или бездна. Стыть в пустоте Шолоховым и Катаевым, быть среди жерновов Конца и Начала, продавливаясь по капле в правду трагедии, или глядеть на солнышко, радуясь, "в безумном загаде" (но такое третье не нам, Булгакову и Мандельштаму). Смена эр идет не вращением Пушкина в Шолохова, Шолохова в Солженицына, Солженицына в социализм, а крутой катастрофой свободы, у которой не вынес и провалился хребет. "Эра правды" начинается с освобождения от всех враг о свободе, с отказа от всех попыток переписать трагедию на свою сберкнижку. Когда все будут названы по именам: гении, палачи, иуды — откроется еще большее и крепкое человеческое большинство трагедии, не дотянувшихся, слишком поздно понявших, нетерпеливых, заблудившихся, чересчур жестких характером и душевно хрупких. Пришвин был с ними, от них слово имел и сам был таким же, не подогнанным под аршин "великой эпохи". Обстоятельно прислушиваясь ко всем разговорам ради их правды, он иногда набредал на ответы, пугавшие тех резвых, кто подыскивал себе роль новых ведущих (из разговора Пришвина с другом):

"Личная свобода как благо культуры Запада. Больше сказать ему нечего.

Я ответил, что эта свобода там есть наследие прошлого как результат подвига в прошлом лучших людей. У нас же сейчас пришло время такого подвига, и в нем каждый человек может найти свою свободу".

Ничего себе задачи задает человек с дурным стилем; почвенник, он предрекает в будущей России движение личной свободы, диссидентство как жертвенный подвиг.

В этом ли признал Пришвин путь, оставшийся личности — принять в себя правду-бездну, и России — чтобы не соскользнуть в яму навсегда? . . . Не пересказывать трагедию в сказках — кровь задушит сказку — но не позвать ли внука, не попытаться ли его поставить на правду, развернув к ней лицом, чтобы правда не разрушила его, грянув однажды сзади? Для этого пускай сам

выбирает, к чему повернуться лицом — иными словами, для этого нужна свобода в смысле тверди, в значении почвы. Правда-трагедия все-таки грянет, но освободившегося не убьет, а *подвигнет*. Путь свободы так перейдет в путь личного подвига правды и вырвет душу России из непосильных самому Пришвину тисков, между "концом свободы" и "непочатой правдой".

Знаете, Понырев, все проверяется временем. временем, то есть миллионом трупов. Любая мысль, тончайшее создание духа, может быть испытана миллионом трупов. И ни о какой идее наперед не скажешь, что она — убийца: нужны доказательства, то есть мертвый оскаленный миллион. А бездны духа невымеримы на глазок, как и ямы России. Как знать, не бездна ли таланта в ваших, и Петра Васильевича парадоксальных эссе? Или все-таки яма? К духовным глубинам незачем бы так настойчиво зазывать и ощутимо подталкивать в спину.

Конечно, как идейного человека, я вас понимаю: испытание миллионом трупов — это верх мечтаний всякой грандиозной идеи, ее заветный *острый опыт*. Когда опыт срывается, в запасе есть еще один ход — у д в о и т ь метафору, ибо набитую мертвыми телами яму легко засчитать за "бездну духа" (и правда, кто подсчитает объем человеческого духа, ухнувший в Заполярье, в Сибирь, в пустыри, в подвалы, в голодные лета, истратившийся на ложь ради корма и детей? . . .), и с "бездной" как-то там идеологически примирятся, мол, "несмотря на . . ."

Но остроумничать ввиду свежесасыпанных ям вам придется с оглядкой. Взамен мифического "авангардизма" у вас появится оппонент посерьезней — и позлее вас. Когда из последнего окопа вылезет последний еле живой, завшивевший человек, то *что он скажет* метафоре, погнавшей его в яму, то и будет для нее окончательным судом, последней правдой. Даже Гегель тут ничего не перегнет в другую сторону. Из окопов люди выходят злые не только на Гегелей, но и на метафоры вообще. Немцы, те после сорок пятого пару лет отплеывались даже от тончайшего Рильке, а Рильке никого не зазывал в приукрашенный окоп: он только писал чересчур красивые стихи, как стало казаться. . .

Но тот край ямы — мир враждебной вам *трезвости*, всему возвращающей ясность пределов и очертаний. Политика вновь становится политикой — а не "землепроходческим рысканием" и не "вековечным кочевым движением русских масс на Восток" (это слова не Риббентропа, это А. Проханов в позавчерашней

”Литературной газете”); поэтика — поэтикой, а не подготовкой интеллектуалов в Риббентропы; искусство ”просто” и ”только” искусством, а не полем номенклатурных битв; а ЦДЛ. . . если к тому времени что-то останется от этого района Москвы . . . и от этой части России . . . и от России самой . . .

Зато миллион еще не остывших трупов *тогда* никто не назовет ”синтезом культурных традиций”: фронтовики — люди грубые, могут побить. . .

Но вернемся в сегодняшний день. Особенность его в том, что мы *не хотим* проверять ничьи идеи таким окольным костным путем — и вам, Понырев, постараемся не дать. Кое-что пора извлечь из *опыта ям* такое, что отсутствовало в богатейшем духовном *опыте бездны*.

Это два разных, но равно необходимых, оба предельно русских опыта, дополнительно-духовных: вместе они суть *одна правда*, открытая современному сознанию на всех его ”этажах” — от наинизших, элементарных, ”шкурных” его движений спастись, от простейших свирепых рефлексов не дать перебить детей — до крайних интеллектуальных сомнений в истории, последних вопросов нравственности и веры. Россия должна знать свои ямы, равно как и свои бездны: но прежде всего она должна узнать, что она — Россия, место для жизни людей, а не географический полигон для размена идей на трупы.

И да будем трезвы, не отлагая.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИСКУССИИ

Николай Рерих

ШОВИНИЗМ

В спорах нашего времени нередко звучит имя русского художника, религиозного философа и оригинального культурно-политического деятеля Николая Рериха. Характерна для Рериха сквозная тема России, которую он мыслит равновеликой всему человечеству, ибо в ней неразрывно сплелись многие духовные традиции и национальные судьбы Востока и Запада. Столь же свойственно ему и религиозное отношение к

хранению и делу культуры (Рерих — основоположник Пакта Мира, одного из источников ЮНЕСКО). Надо сказать, что сегодня стали обычны попытки "мобилизовать" имя и тексты Рериха на службу великорусскому высокомерию, представить его почти как советского резидента за рубежом (журнал "Огонек", Палиевский, Валентин Сидоров). Естественно, далеко не все, написанное Рерихом, ложится в этот "образ", чтобы оказаться достойным публикации в журнале "Огонек". Одна неопубликованная заметка из "Листов дневника", нам кажется, вносит свой угол зрения в нашу "дискуссию о дискуссии".

Шовинизм — очень опасная эпидемия. К прискорбию, нужно сказать, что и в наш цивилизованный век эта болезнь распространяется по миру яростно. Постоянно вы можете слышать из самых различных стран, что национализм понимается в виде шовинизма. Все — доброе и худое — прежде всего отстучивается в области культуры. Так и в данном случае национализм, понимаемый в виде шовинизма, прежде всего отражается в искусстве и науке и приносит с собой не рост, а разложение. Постоянно приходится слышать о том, что в той или другой стране должна быть какая-то своя культура, отличная от всех прочих, должно быть какое-то свое ограничительное искусство и какая-то своя особенная наука. Точно бы наука и искусство могут отойти от всечеловечности и замкнуться в предрешенные, узкие рамки. Спрашивается, кто же будет брать на себя эти предрешения, кто же во имя какой-то мертвой схоластики может лишать искусство и науку их живых неограниченных путей. У русских всегда было много недоброжелателей. А между тем именно в области шовинизма Русь могла бы дать много прекрасных примеров как из прошлого, так и из ближайшего времени. Вспомним, как доброжелательно впитывала иноземные достижения Киевская Русь, затем Москва и все послепетровское время. В московской Третьяковской галерее имеется и иностранный отдел. Собрания Щукина, Морозова, Терещенки, кн. Тенишевой и всей блестящей Плеяды русских коллекционеров имели превосходные произведения иностранного искусства. Никто не сетовал на них за это, наоборот, все радовались, что таким путем молодые поколения даже в пределах своей родины имеют возможность ознакомиться с лучшими иностранными достижениями. При этом можно было видеть, русскость нашего искусства вовсе не страдала от такого обилия иноземных образцов. Там, где сильна сущность народа, нечего беспокоиться об угрозе подражания или обезличивания. Там, где живет строительство, там все примеры и пособия будут лишь желанной помощью. Здоровый организм переварит все новое и даст новое выражение ду-

ши своего народа. Шовинизм будет лишь знаком позорной боязливости или зависти. Кроме прискорбных знаков шовинизма сейчас замечается и эпидемия переименований. Только что исчез Сиа́м и появился, для удлинения, Маунг-Та́й. При этом указывается, что Сиа́м есть слово иностранное, и поэтому должно быть заменено. Не знаем, на каком языке слово Сиа́му имело свое значение. Может быть, в наименовании Маунг-Та́й скрыты какие-то магические созвучия, и они помогут быстрому и прекрасному росту этой древней страны. В таком случае мы даже перестанем жалеть всех школьников, которым по неизвестным для них причинам приходится переучивать многие названия. А географические карты по нынешним временам должны перепечатываться почти ежегодно. Кто знает, может быть, и Греция задумает переименоваться в Элладу. Если такое переименование обнаружит в Греции философов и художников, равных ее классическим прообразам, тогда пусть вместо Греции будет Эллада. А школьники могут поднатужиться и заучить и это переименование. Если переименования происходят от какого-то своеобразного шовинизма, тогда они были бы одним из самых грустных явлений нашего века. Конечно, при римлянах Париж назывался Лютецией и многие английские города имели римские названия. Но нельзя же себе представить, что в силу каких-то желаний Париж исчезнет и заменится или древнегалльским или каким-то неожиданно-современным названием. Не будем думать, что эпидемия переименований тоже является каким-то особым видом опаснейшей болезни человечества. По счастью, слово шовинизм никогда не было почетным. Так же точно алкоголизм или наркотизм и всякие другие измы не произносятся с восторгом, а если и говорят, то с каким-то явным или тайным устыжением. Интересно бы припомнить, при каких именно обстоятельствах и кем именно изобретено слово шовинизм. Мы слышали, что и гильотина была изобретена ради милосердия. Неужели и шовинизм был изобретен ради мирового торжества культуры?

3 июня 1939 г.

Л. Копелев

ГОРЕ ОТ ЛЮБВИ

(Быль)

Несколько человек в разное время замечали, как инженер Ч. украдкой жует комочки ваты, смоченные спиртом, которыми в лаборатории протирали приборы. Жует и блаженно улыбается. Видели, как он жадно обнюхал бутылочку из-под спирта. . . Невысокий, узкоплечий, он казался болезненно постаревшим юношей, почти мальчиком. Бледное узкое лицо, бледно-голубые удивленные глаза, бледно-русые волосы, жиденькими прядками, бледно-розовые тонкие губы; застенчивая улыбка. . . Разговаривал он изысканно старосветски вежливо. Иным старым лагерникам казалось — даже подобострастно. Однако, работавшие с ним говорили, что он вот так же вежливо противоречит любому начальству — "Тихий, но упрямый. На вид цыпленок, а в работе — орел". Специалисты утверждали, что он отличный радиоинженер. "Один раз глянет на схему, и уже в ней, как дома".

Сосед по камере в свой день рождения поднес ему полчашки разбавленного одеколona. Ч. сразу же захмелел; смеялся, ку-даха и привизгивая.

— Ах, как хорошо! Как прекрасно! . . . Спасибо, мои милые,

*Из книги воспоминаний "Утоли моя печали".

спасибо, родные! А я не решался приобретать одеколон, чтобы не было соблазна. Такая радость, неожиданная-негаданная! . . . Знаю-знаю, что вредно. — Зеленый змий! Из-за него ведь и сюда угодили. — Да-да, вот именно из-за водочки. За сладостные минуты и часы расплачиваться — горькими годами. . . Нет-нет, что вы! Я на хулиганство не способен. И в детстве был тише воды. Аз есмь кроток, аки агнец. И водочка мою кротость лишь усугубляет. Одна беда: разговорчив становлюсь безмерно. Вы уж не обессудьте, не посетуйте на болтуна. . . Нет-нет, и не за болтовню. Да и что бы я мог сказать дурного даже в сильном хмелю?! . . . Ведь я воистину советский патриот и разумом и сердцем. Водочка подвела меня совсем в ином смысле. В таком, что даже трудно поверить. . . Простите, там на доньшке, кажется, есть еще на глоточек? . . . Благодарю вас, дорогой мой друг! Безмерно благодарю. . . Да-а, так вот, подвела меня она, как бы это выразить поточнее — будучи и катализатором и проявителем моих чувств — искренних сокровенных чувств, но не в подходящих условиях. . . Да-да, любовь, именно любовь. Но только не такая, как вы, кажется, предполагаете — не романтическая, не адюльтер, не ревность. . . Нет-нет, чистая патриотическая любовь к товарищу Сталину! . . . Да-да — это звучит парадоксально, представляется неправдоподобным. . . Но клянусь, это чистейшая правда. Я попал в тюрьму за то, что — как бы это сказать, — слишком люблю товарища Сталина, за то, что проявлял свою любовь в неположенных формах и. . . неуместно. Вот именно — неуместно. . . А в этом как раз и повинна водочка. Зеленый змий! Стоит мне выпить, и я уже не могу сдерживать чувств. Вот как сейчас. . .

Он говорил, кротно улыбаясь, не замечая насмешливых взглядов, не слыша злых голосов: "Что он — псих или сука?" . . . "Хлебнул на копейку, а выгребывается на рубль, пидер верноподанный!" . . . "Чего ты свистишь, фрей небитый, если кто дунет, что ты здесь одеколон сосал, тебе и Сталин не поможет".

— Товарища Сталина я люблю с детства. Уже школьником, можно сказать, его боготворил. Читал, видел в кино, слушал по радио и лично видел три раза — на демонстрации. . . Он стоял на мавзолее — улыбался, махал нам. В годы войны все его речи, все приказы читал — перечитывал от слова до слова. Я тогда студентом был. — Просился на фронт — не пустили. И здоровье никудышное, и близорукость минус двенадцать. И радиоинженеры нужны. Я тогда полюбил его еще сильнее. . . Ведь это он спас Москву, спас Россию и весь мир. Люблю его, как родного отца.

Нет, пожалуй, больше. . . С моим покойным батюшкой у нас были сложные отношения. Он в свое время крепко выпивал и, случалось, бил и меня, и даже маму. Хотя интеллигент был. Чистейшей воды бессеребренник. А когда и я с водочкой познакомился, он меня больше всех корил, ругательски ругал. Любил я его, конечно, любил и уважал, но видел теневые стороны. А товарищ Сталин — свет без тени, чистый свет мудрости и добра! И так за него иногда тревожно — что не жалеет себя, не бережет! Он-то ведь один, а врагов не счесть. . . Выпьешь, — вот как сейчас, и — вдруг страх возьмет и прямо за горло хватает: вот я тут жизни радуюсь, прохлаждаюсь, а он там в Кремле неутомимый, неустанный, сил своих не щадит, за все, за всех душой болеет. И может быть в этот миг враги к нему подбираются, и уж, конечно, где-то орудуют заговорщики, тайные злоумышленники. . . Года два назад, в компании друзей, вот так же разговорились, выпили изрядно, и; — верте, не помню даже, как именно, — оказался я на Красной площади. . . . Потом уже мне рассказывали, что стучал в Спасские ворота, плакал и просил пустить к товарищу Сталину, хочу сказать ему, как люблю, как тревожусь, и слезно упрашивал солдат, чтобы лучше его оберегали. . . Они забрали меня в свою караулку в башне. Наутро проснулся — ничего не помню, и не пойму, где нахожусь. . . Они проверили документы, позвонили мне на работу. Потом пришел полковник — серьезный такой, корректный. Расспрашивал обстоятельно, кто, откуда. Никаких протоколов, только его адъютант что-то записывал. Под конец он пожурил меня строго — не годится и даже непристойно среди ночи пьяным пробиваться в Кремль. . . Да ведь я и сам понимал. Стыдно было так, что и слов не найти. Извинялся. Обещал.

Но прошло несколько месяцев, и приключилось то же самое. И опять я себя не помнил. . . Проснулся в милиции — районном отделении по месту жительства. Паспорт с собой был. Милицейские начальники разговаривали уже не слишком любезно. Грозили отдать под суд, лишить прописки, выселить из Москвы. . . И на работе были неприятности. Вызвали в спецчасть, в отдел кадров, на заседание месткома. . . Но что я мог им сказать, кроме того, что люблю товарища Сталина всей душой. . . А как известно, что у трезвого на уме, то пьяный и выбалтывает. Разумеется, я признавал недопустимость своего поведения, — калялся, — искренне калялся. . . Но прошло еще меньше времени — в октябрьские праздники и продрог я на демонстрации. Охрип, мы много пели, ура кричали. Весело было, дружно. Зашел потом к приятелю погреться. Твердо решил, приказывал себе: две стопочки, не больше. И

помню хорошо — хотел сразу же домой ехать. Но в метро не пустили — заметили, что под хмельком. . . А что дальше было, не помню, и проснулся уже в боксе — на Малой Лубянке.

Все это я слышал от Ч. несколько раз. Стоило ему в тихий вечер или в праздники потешить себя глотком спиртного, и он начинал рассказывать все то же и едва ли не теми же словами и с теми же интонациями. И так же влажно поблескивали испуганно расширенные бледные зрачки. И каждый раз в этом месте все окружавшие его — и те, кто уже знал всю историю, и те, кто впервые слушал, смеялись. . . Одни смеялись презрительно или злобно, другие — жалостливо, сочувственно, однако все с известным облегчением — наконец-то! . . И каждый раз он при этом запинался испуганно, недоуменно, а потом тоже посмеивался. И продолжал говорить о том же и так же.

— Да-да, на Лубянке. Там повели следствие. Сказали, что я опять пришел на Красную площадь, опять приставал к часовым. . . И предъявили обвинение. . . Вы никогда бы не догадались — какое. В террористических намерениях! Представляете?! . . Ведь это даже подумать страшно и дико нелепо. — Но следователь требовал, чтобы я назвал подстрекателей, соучастников. . . Сначала допрашивал старший лейтенант, молодой, совершенно невоспитанный, грубый. . . Ударил меня по лицу. . . Несколько раз. . . Ну, и в карцер сажали. . . Но не мог же я лгать! . . Не мог отречься от себя. . . Не мог оклеветать других людей. . . Другой следователь — капитан, постарше, более отесанный, и с такими вкрадчивыми манерами. Но мучил едва ли не хуже. . . Достанет из сейфа бутылку водки или коньяка, нальет стакан и улыбается: "Подпиши — угощу". . . У меня спазмы начинались: в горле, в груди и вот здесь в желудке. . . Один раз даже сознание потерял. Но все же не уступил этим домоганиям. — В последний раз он объявил мне — "следствие закончено, и хотя вы запираетесь, обвинение остается в силе. Решать будет суд. . ." Я сказал — ваши страшные обвинения — самое большое горе всей моей жизни. . . А он с такой мифистопельской улыбочкой: "Ну что ж, бывало горе от ума, а у вас получается горе от . . . любви". . . Никакого суда не было; увезли меня в Бутырки, — и через две недели вызвал офицер, — кажется дежурный по тюрьме, — и показал бумажку — решение какого-то особого совещания: "осужден на восемь лет по статье 58 пункт 17-й", это значит: за террор, но не осуществленный, за намерение. . . Вот, какое безумие! Вы смеетесь, а мне больно. В иные минуты, кажется, нестерпимо больно. Легче бы умереть. . . Да-да, разумеется, жаловался. Писал и генеральному прокурору, и

на имя товарища Сталина. . . Ему, конечно, не доставляют. Получаю стандартные ответы: "нет оснований для пересмотра".

— Ах, если бы только он узнал правду! Если бы узнал, какие у нас бывают еще несправедливости. Но от него скрывают. . . И я думаю, что это правильно, что скрывают. Его надо беречь. Свято беречь его время, его душевные силы. Нельзя его расстраивать, огорчать отдельными безобразиями. Ведь на нем вся держава, весь мир.

Ч. вызывал у меня жалость, сочувствие, но и досаду и раздражение. Нелепая история его "дела", его хмельная экзальтация пародировали мою судьбу и мою упрямую партийность.

Возбужденно придыхая, судорожно поглатывая, вот-вот заплачет, говорил он о своей великой любви, о мудром вожде человечества, чуждом всякой скверны.

Мой друг Сергей брезгливо отстранялся от него.

— Дерьмо всмятку! Не мужчина, а слезливое, сопливое междометие. Да еще и дурак. Верит, будто Сталин ничего не знает. А ты не придуривайся. Ты что, не соображаешь: конечно же, Сталину докладывали об этом психе. И конечно, это он сам все решал. . . . Откуда я знаю? А ты шевельни хоть одной мозговой извилиной, и сам поймешь. Как его зовут? Чей он родственник?

Ч. был племянником, однофамильцем и тезкой известного деятеля искусств, которого тогда в очередной раз поносили за безыдейность и формализм.

— Дядюшку не посадили. О нем весь мир знает. Он — экспортный товар. Его в помоях искупали, высекли, в глаза наплевали, но этого мало. Но надо еще припугнуть, чтобы не вздумал трепыхнуться. Чего доброго, не забыл покаяться. Вот тут-то племянник в самый раз и подвернулся. Он, мало сказать, невинный, он же верноподданный, как юный пионер: за любимого вождя и в пекло, и в жопу полезет. Но именно его-то и посадили, и засудили. И это уж, конечно, с ведома главного хозяина. Скорее всего, именно по его приказу. Намек знаменитому дяде. Настоящая сталинская штука.

Леонид Апраксин

ДНЕВНИК ОККУПАНТА

Вместо предисловия

Год назад я получил по почте бандероль, в которой были две пухлые обложки тетради в одинаковых зеленых переплетах. На обложке одной из них черной пастой кто-то жирно вывел "Дневник", а рядом красной добавил — "оккупанта".

Ни обратного адреса, ни письма, ни записки не было.

Был лишь вот этот "Дневник оккупанта", который я с молчаливого согласия неизвестного автора и предлагаю читателям.

ГДР

20 августа.

Буду вести дневник.

Письма домой с сегодняшнего дня запретили писать, а так, может быть, родные или друзья все-таки узнают, в какую кашу я попал.

Конечно, если этот дневник еще до них дойдет.

Никогда раньше не пробовал описывать день за днем и не собирался, но после приказа, который нам только что зачитал комбат, решил, что сейчас это необходимо. Потому что . . .

Черт, сижу как оглушенный.

Все время чехи были нашими братьями, коммунистами, жили с ними хорошо и мирно, и вдруг . . .

"Товарищи танкисты! Антикоммунистические и контрреволюционные силы хотят произвести мятеж в Чехословакии и открыть границу ФРГ! Наша задача: подавить мятеж, выявить контрреволюционеров, где бы они ни находились, в каких бы полках, городах или деревнях ни скрывались . . ."

Будто дубиной по башке трахнули.

Ну его в болото! Надо пойти покурить.

Сбегали с Мишкой в гаштет (так у немцев называется пивной бар), выпили там и принесли кое-что с собой.

Мишка умудрился незаметно подтащить к черному холду гаштета канистру бензина. Хозяин тут же расплатился с ним ликером.

— Гут? — спросил нас немец.

— Все в порядке — спасибо физзарядке! — ответил Мишка, пряча под гимнастерку фляжку.

— Гут, гут! — пояснил я немцу.

Мы поправили ремни, одернулись и как ни в чем не бывало зашли в заведение, но теперь уже с парадного хода.

В гаштете было полным-полно наших: солдат и офицеров. И никто не прятался — все пили в открытую.

За свои три года службы в Германии я такого еще ни разу не видел.

Ни один офицер не выступил: "Почему пьете?" — или что-нибудь в этом духе. Молча пили, наполняли фляги, запикивали за пояс бутылки и уходили.

У меня было припрятано несколько марок (так, на всякий случай), я постоял, посмотрел на это дело и заказал на четверых знакомых стариков по полкружке ликера.

Водка у немцев плохая, а вот ликер очень хороший: и дешевле, и крепче нашего, да и пьется лучше.

Ну, а марки мне теперь ни к чему.

Надо записать все по порядку.

Началась эта катавасия 5-го июля.

В двенадцатом часу наш танковый полк был поднят по тревоге и переброшен из города Мейсена (место моей службы) в небольшой курортный поселок, в котором мы теперь и находимся.

Расположились мы, конечно, не на самом курорте, а рядом с ним, в лесу. Натянули палатки, выставили часовых и стали чего-то ждать.

Разговоры были сначала насчет учений в Польше.

Потом прошел слух, что там происходят какие-то волнения, но какие волнения и в чем дело, мы не знали. Слышали только: "студенты, университеты . . ." — вот и все.

Да в общем-то никто этим и не интересовался.

Еще через некоторое время сказали, что скоро нас отправят в Болгарию. Тоже вроде бы учения.

Приказали готовить технику.

В Болгарию так в Болгарию — мне все равно, потому что Германией я был сыт по горло, да и до конца службы остается немного, так что можно и Болгарию для разнообразия посмотреть.

Вот только дисциплина на этом курорте стала намного стро-

же, и это нам, старикам, не очень нравилось. Скоро дембель, а с нами как с салагами снова начинают обращаться: "Не так повернулся...", "не так воротничок подшит...", "не так ответил..."

Офицеры что-то нервничали, мы тоже, а на салаг вообще было жалко смотреть — доставалось им со всех сторон.

С утра до вечера мы копались в своей технике: разбирали-собирали, смазывали, чистили, готовили к маршу и ждали приказа выступить.

А сегодня в обед вдруг приехала к нам группа артистов с концертом. Пели, плясали часа два, но все больше народное, и что удивило меня, так это то, что приехали наши русские артисты, а исполняют исключительно чешские песни.

Я еще Мишке об этом сказал:

— Чего это они вдруг по-чешски так распелись?

Мишка — мой друг. Мы с ним с первого дня службы вместе и даже в один экипаж попали. Несмотря на то, что я из Москвы, а он из Балашихи, мы в полку считаемся земляками.

Короче, — понимаем друг друга с полуслова. Но вот в этот раз он не уловил, что у меня появилось нехорошее предчувствие.

— Какая тебе разница, на каком языке они поют, — ответил он мне. — Главное, что у них юбки короткие. Вон, смотри, смотри, какие у той рыжей ляжки! Вот бы тебе такую, да?!

В общем, зачем весь этот концерт нужен был, стало ясно через пару часов.

В 7 вечера нас всех собрали в столовой, чтобы зачитать какой-то важный приказ.

Ну и зачитали! . . .

"Товарищи танкисты! Антикоммунистические и контрреволюционные силы хотят произвести мятеж в Чехословакии и открыть границу с ФРГ! Наша задача: подавить мятеж, выявить контру, где бы она ни находилась, в каких бы полках, городах или деревнях ни пряталась, записывать их фамилии и сдавать списки командирам . . ."

Ну еще мы должны "вести разъяснительную работу среди населения", "крепить дружбу с чешским народом", "напоминать чехам о нашем братстве и о том, сколько советских солдат погибло при освобождении Чехословакии во время Второй мировой войны", "быть бдительными и готовыми ко всему . . ."

Вот тебе, бабушка, и учения в солнечной Болгарии!

Зачитав приказ, комбат (майор Ше-нко) сказал:

— А теперь запишите названия населенных пунктов, через которые вы будете проезжать на территории Чехословакии, и отметьте их на картах, которые вам сейчас выдадут . . .

Вот тогда только до меня дошло, что все это всерьез.

Под конец батальонный добавил:

— Пока есть время до начала марша, приказываю проверить и подготовить снаряды, орудия, пулеметы, автоматы и привести полк в полную боевую готовность! Вы получите новую спецодежду, новые знаки отличия и дополнительный паек (70 грамм масла). А когда возвратимся в часть, я вам, ребята, бочку пива поставлю и все недоимки подарю!

Это он про наряды и взыскания.

Но этим он никого не развеселил.

Мы с Мишкой и еще несколькими ребятами по новой сбегали в гаштет. Народу там — не протолкнешься. Все, кто мог вырваться из части, примчались туда. Видел несколько "поддатых" наших. Могут здорово влипнуть ребята: мы же на военном положении. Но, кажется, меня и самого слегка покачивает . . . Хотя голова совершенно ясная. Держусь, наверное, на нервах.

У нас в полку ЧП.

Когда вернулись из гаштета, узнали, что сбежал Сережка В. Дурак! Куда бежать-то?! Некуда.

Зачем он это сделал, непонятно.

Но в такой дурной день все непонятно.

За Сережкой отправили в погоню офицера с двумя солдатами, но они вскоре возвратились ни с чем.

20 час. 40 мин.

Только что, почти вслед за патрулем, пришел немец и сказал, что к нему полчаса назад явился вооруженный русский солдат и попросил спрятать его. Немец спрятал солдата в сарае, а теперь спрашивает у советского начальника, что ему делать дальше.

Вложил немец нашего Серого.

В полку сразу поднялась суета. Прибыли на машине какие-то гражданские, потолковали о чем-то с немцем, потом ушли вместе с ним. Серого теперь, конечно, поймают и сунут не меньше пяти за дезертирство.

Получили странный приказ: "намалевать на всех танках белые кресты".

Ну, развели белила в ведре и сейчас примемся "малевать".

22 час. 10 мин.

Покончив с живописью, мы (я, Мишка и Толик, наш механик-водитель) смылись от командира взвода (старлея Мо-вского) и забрались в один из танков, чтобы спокойно выпить перед дорогой.

Но взводный все-таки нас нашел.

Мы уже разлили, чокнулись и только глотать собрались — вдруг как грохнет в ушах, у меня чуть кружка из рук не выпала.

Что он сделал: узнал, в какой мы спрятались танк (кто-то из чурок, наверно, настучал), понял, что поддаем, а поймать нас невозможно, взял, гад, кувалду, и ка-а-ак шархнет по башне! . . .

От такой шутки и оглохнуть запросто можно, если ты без шлема.

Генка Са-цкий, водитель танка, в котором мы сидели, был уже под хорошим градусом и вдобавок терпеть не мог нашего взводного. Он бросился к люку, открыл его и как заорет на Мо-вского:

— . . . твою мать! Ты что, охренел, что ли?!

Взводный, и правда, чуть не охренел сначала от неожиданности.

— Ты с кем разговариваешь? . . . Ты как разговариваешь?!
Да ты знаешь . . .

— Пошел ты на . . . ! — кричит Генка.

Мы его держим, дергаем: кончай, мол . . .

А ему уже все до лампочки. Лаает взводного, взводный грозит посадить его.

А Генка вопит:

— Сажай, гад! Я тебя в рот . . . !

Мо-вский первый не выдержал — солдаты собираются во-круг, смеются над ним. Он перестал орать, но, весь трясясь от злости, прошипел нам:

— Вы еще не знаете, что такое война! Вы у меня хрен вернетесь оттуда!!

А Генка ему:

— Это еще увидим, кто вернется, а кто останется там!

Тут показался ротный, и мы разбежались по своим местам.

23 час.

Только что привезли для опознания Сережку В. Я его не видел, но говорят, что он без сознания. Также говорят, что он в гражданском. Значит, заранее подготовился к побегу.

Узнал, как его брали. Два переодетых чекиста, под видом немцев, принесли Серому еду. Потом они угостили его куревом, разговорились и, когда он отвлекся от автомата, набросились на него со своими приемами самбо.

Но Серый все-таки раскидал их, вырвался и убежал.

А через полчаса его нашли в овраге с простреленной грудью. Теперь уж наверняка дадут ему на всю катушку за сопротивление.

Если он еще, конечно, выживет.

23 час. 30 мин.

Дан приказ: "По машинам!"

Мы забрались в танки и стали настраивать радиостанции на связь с командиром полка и командирами рот.

В нашем экипаже этим занимаюсь я, потому что моя военная специальность — стрелок-радист.

Сидим. Все готовы. Ждем лишь приказа трогаться.

До чего противное это ожидание. Как будто с похмелья, в желудке тошнотворный подсос.

А у меня похмелье бывает только по утрам.

Мишка протягивает мне вдруг какую-то бумажку:

— Прочти, Володя, и спрячь.

Я удивился, думаю, что еще за записка?

Разворачиваю, читаю:

"Дорогой Володя! . . . "

А я никак врубиться не могу: день сумасшедший, да еще кайф разбирает . . .

От девчонки какой-то, что ли, записка, думаю? От немки? Не может быть . . . От русской? Но откуда? . . . И почему Мишка мне ее передает?!

Короче, ни фига не могу понять.

Снова читаю:

”Дорогой Володя!

Через некоторое время мы войдем в Чехословакию. Я думаю, все кончится для нас с тобой хорошо.

Желаю тебе вернуться домой здоровым и невредимым.

Твой друг Миша

1968 г. 20 авг.”

Бумаги у меня не оказалось, было только несколько чистых конвертов.

Я разорвал один и на нем написал:

”Дорогой Миша!

Мы отправляемся в Чехословакию. Желаю и тебе вернуться из этой страны целым и невредимым.

Если что случится со мной, прошу тебя навесить моих родителей, рассказать им обо всем и успокоить.

Твой друг Володя.

1968 г. 20 августа”.

На другом конверте я написал письмо матери.

”Дорогая мама!

Пишу тебе, может быть, последнее письмо. Наш полк подняли по боевой тревоге. Находимся недалеко от чехословацкой границы, через несколько часов я должен буду поехать в эту страну. Неизвестно, что меня там ждет, потому что дело серьезное.

Если со мной что-нибудь случится — не расстраивайся, не горюй очень.

Я был всегда твоим верным сыном, любил тебя, отца и брата.

Крепко обнимаю.

Ваш Володя.

1968 г. 20 августа”.

Мишка тоже написал своей матери.

Мы запечатали письма, надписали адреса и обменялись конвертами.

Комбат срочно вызвал к себе нашего взводного.

Через несколько минут он прибежал назад. Смотрим: на нем лица нет — зачитывает приказ, а губы дергаются в разные стороны, как у клоуна.

Мишка шепнул мне:

— Гляди, укакался, вояка! . . . А еще выступал: ”Вы войны не видели! Вы у меня оттуда не вернетесь!”

Приказ мы получили следующий: ”Приготовиться к танковому бою в районе города Раковник”.

И еще: ”Если какой-нибудь танк будет подбит в пути или сломается, не останавливаться, не ждать, быстро выяснить причину и двигаться дальше”.

Чехословакия.

21 августа. 1 час 40 мин.

Наш танк пересек границу Чехословакии.

3 часа. Рудные горы.

Первое, что я увидел при въезде в Чехословакию, это полосатый пограничный столб, около него наш солдат с автоматом за спиной, указывающий флажками направление на Прагу, а рядом с ним обезоруженный понурый чех.

Только пересекли границу, сразу же по радию был передан приказ командира полка: "Если машины и люди не будут уступать дорогу — сбивать!"

В эфире творится черт знает что!

Словно какая-то банда из тюрьмы на волю вырвалась. Матерят своих командиров безбожно: "Рыжий — макаронник вонючий!", "Семенов — сучий сундук!", "Ариф — салага толстожопый!"

Это еще самые цензурные.

Кайф, конечно, стал действовать, да и злости поднакопилось достаточно.

Нашему взводному больше всех достается.

Я взгляну на него, а он аж глаза зажмуривает от злости. Всякие "козлы" да "гидары" так и летят в его адрес.

Несколько наших танков свалилось в пропасть из-за чешских машин!

Мне все время кажется, что сейчас наша очередь. Дорога настолько узкая, что . . .

Опять впереди произошел затор.

Что-то случилось.

В чем дело, неизвестно. Но мы снова пошли.

Чертова дорога! Машины идут иногда по самому краю . . . Прямо свисаем в пропасть.

Да и карты, по которым мы должны ориентироваться, идиотские, все почему-то 45-го года.

Наконец, выбрались на нормальную местность.

Это, конечно, не чистое поле, но горы стали пониже и дорога немного лучше.

А ночь, даже странно, совсем мирная.

Летняя, теплая такая ночь. Совсем не похоже, что мы едем подавлять какой-то контрреволюционный мятеж.

Стали попадаться сады, деревушки, тихие озера, в которых купаются девушки и парни. Некоторые совсем голые.

Нам ведь все видно в темноте через "луну". ("Луной" мы называем прибор ночного видения).

Заметив наши танки, парни начинают махать руками, девушки посылают воздушные поцелуи.

Можно было бы сказать, что все это похоже на обычные уче-

ния, если бы не наши ребята, которые только что погибли там, выше, в горах (хотя, конечно, и на учениях такое случается), да не стали бы все чаще попадаться в городишках, через которые мы проезжаем, развороченные сады, поваленные столбы и заборы, перевернутые ларьки и даже дома со снесенными углами.

Нам не повезло — мы едем со взводным, а кое-кто сумел подзарадиться дармовым спиртным.

Выскакивают и наполняют все, что можно наполнить, водкой, вином, пивом — все вперемежку.

Ребята называют по рации эту смесь "чешским коктейлем".

У нас несчастье.

И все из-за того, что час назад был получен приказ идти на предельной скорости и держаться как можно ближе друг к другу. Дистанцию сократили до десяти метров (а по инструкции положено двадцать пять).

На одном из крутых поворотов у нас заглох двигатель, машина остановилась — и в этот момент вдруг как лязгнет, как тряхнет нас!

Я себе большой палец на левой руке вывихнул.

Но это ладно.

Смотрим, куда-то пропал наш взводный: только что сидел в люке и вдруг исчез.

Выбрались наружу . . . Твою мать! Крышка люка согнута и заклинилась, танк, что шел за нами, врезался в наш и тоже заглох. . . . А взводный лежит, дергаясь, на дороге весь в крови и орет!

Ну и орал же он, словно его пилой пилили!

Да я бы, наверно, орал еще и не так, если бы меня стволом в спину долбануло.

Что тут было делать . . .

Стали останавливать тыловые машины: бесполезный труд — ни одна не остановилась.

Подняли мы взводного и понесли к обочине дороги: он как завизжит — и тут же вырубился!

Уложили его на траву, перебинтовали, как смогли, и вызвали по рации санитарную машину. Она подъехала минут через сорок. Мы уж думали — взводному конец: пузыри кровавые изо рта лезут, бредит . . . Погрузили его в машину и увезли.

А мы, согласно приказу, двинули дальше.

Хоть и хреновый был взводный мужик, но все-таки . . .

Да! Попробовал "чешского коктейля". Генка Са-цкий, водитель танка, который врезался в нас, угостил.

Штука крепкая, но только здорово машинным маслом отдает.

Лоуни.

7 час. 20 мин.

Вошли в город Лоуни.

10 час. 45 мин.

Пока стоим, ждем приказа.

Когда въезжали в город, почти все жители были уже на ногах: махали нам из окон руками, что-то кричали, улыбались . . . Некоторые даже бросали цветы. Что-то не похоже это на мятеж.

Я сказал об этом Мишке.

Он ответил:

— Это, наверно, не здесь. И вообще, зря бы нас не послали. Начальство знает, что делает.

Лица у нас у всех черные, как у чертей.

Это от асфальтовой пыли, которую выбивают траки наших танков.

Получили приказ разоружить чешскую казарму.

Подкатали мы к казарме, которую нам было приказано разоружить, выскочили из танка и наставили на часовых автоматы. Думали, будет сопротивление, стрельба — ничего подобного. Отдали чехи нам свое оружие и разошлись по домам.

Даже странно как-то получилось.

— Труссы позорные! — сказал Мишка.

Расположились прямо на асфальте перед казармой.

Подспела кухня: мы умылись, пожевали, стали звать к себе девушек. Смотрю, идут две ничего: волосы красивые по плечам, попки обтянутые джинсами . . . Кричу им:

— Девушки! Девушки! Давайте сюда!

Подходят — ядрена мать! Аж неудобно стало. Это вовсе не девушки, а парни! А я еще думал, чего это в этом Лоуни так много девчонок по улицам бегают? У них тут у всех длинные волосы, оказывается. Как у битлов.

Постепенно вокруг нас собралась целая толпа.

Пацаны, конечно, залезли на танки, старики принялись спрашивать о службе, об учениях, молодежь угощала пивом, кто-то в толпе брэнчал на гитаре . . .

Мишка тут же занялся бизнесом.

Какому-то парнишке понравились его значки. Показывает пальцем Мишке на грудь и лопочет:

— Дознаки! Дознаки!

Мишка говорит:

— Принеси бутылку водки, получишь значок.

Парнишка не понимает.

Мишка начинает объяснять: щелкает себя по горлу, показывает на бутылку пива и презрительно машет рукой.

Парнишка не понимает.

Мишка выходит из себя:

— Водки! Водки! Дура волосатая!

Меня в это время вызвали по рации, и я забрался в машину. Когда вылез, гляжу, они уже улыбаются.

Ну, поторговались еще немного, и парнишка усакал куда-то. . .

А я сижу, смотрю на смеющихся чехов и думаю: "Какого черта нас так страшали контрреволюцией? Зачем гнали ночью по горам? За что погибли ребята? А наш взводный, хоть и дундук, но все же не за хрен собачий искалечен мужик . . . И неизвестно, выживет ли еще".

Ни черта не могу понять — чушь какая-то получается.

Да еще усталость, голова гудит, будто продолжаю трястись в ревушем танке.

"А может быть, Мишка прав? Может, здесь все в порядке, а там дальше бушует мятеж и контра убивает мирных жителей и наших ребят? Ведь, действительно, начальству виднее".

Прибежал парнишка, который за водкой бегал, протягивает нам маленькую бутылочку, что-то лопочет . . .

Мишка с ним по новой торговаться начал:

— Ты чего принес?

Парнишка улыбается, кивает головой.

Мишка кричит, как глухому:

— Я тебя спрашиваю, ты чего принес? Мы с тобой насчет бутылки договаривались, а ты какую-то мензурку притащил!

Значок он ему не дал: покопался в карманах, нашел поломанную звездочку:

— Скажи спасибо! — и забрал мензурку.

Но парнишка не обиделся. Он даже обрадовался этой звездочке.

Декуи — спасибо.

Не — нет.

Ано — да.

Только успели выпить — срочно вызывает к себе командир батальона.

"Товарищи танкисты! Получена новая боевая задача. Придя на помощь братскому чешскому народу, выполняя наш священный интернациональный долг, мы должны . . ."

В общем, мы должны немедленно отправиться в город Бенешов и навести там порядок.

Ждем приказа отправляться.

Бенешов.

21 час 45 мин.

Входим в город Бенешов.

Ворвались в город на полной скорости.

Жители, наверно, ошалели поначалу. Грохот, лязг, сигнальные ракеты, прожектора . . .

Да! Мы снимали фильтры с прожекторов для ведения ночного боя, и получалась мощная штука: как дашь по окнам лучом — будто бритвой по глазам!

Чехи сразу перестали высовываться на улицу.

Контры пока нигде не видно, но на всякий случай мы продолжаем светить в окна, а вдруг откуда-нибудь пальнут.

Расположились ночевать прямо на центральной площади. Расположиться-то мы расположились, а вот заснуть не удается. Из раскрытых окон гремит музыка. Вокруг нас бродят толпы народа. Лезут с расспросами:

- Почему вы приехали с пушками?
- Что вы собираетесь делать?
- Зачем вы светите в окна прожекторами?
- Что вы будете кушать, ведь ваши тылы далеко?
- Мате пиво в Советском свазу?

Ну и всякие другие дурацкие вопросы.

Ребяшня прыгает по танкам, а парни стоят в обнимку со своими девушками и целуются прямо у нас на глазах.

Какой тут к черту сон!

А порядка никакого никто не наводил, потому что нечего было наводить.

Вояк — солдат.

22 августа, 8 час. 15 мин.

Кое-как подремали мы до утра, а сейчас новый приказ.

— Товарищи танкисты! — обратился к нам комбат. — В городе Раковнике контрреволюционеры подняли мятеж и совершают преступные действия против мирного чешского населения.

Приказываю срочно навести порядок в городе Раковнике!

Будьте бдительны!

Ну, вот и дождались встречи с контрой.

Раковник.

23 августа.

Три дня не писал — находился в медсанбате.

Все случилось по дороге в Раковник.

Приказ был "срочно войти в город Раковник" и т.д. Согласно приказу мы двинули на предельной скорости. Под 70 километров в час. Где-то в середине пути у нас вдруг загорелись бандажи катков (это такая толстая резина). Мы остановились, я схватил бушлат и принялся тушить.

Бушлат загорелся, я его бросил, снял с себя гимнастерку и стал гимнастеркой сбивать пламя. Несколько раз промахнулся, и горящая резина прилипла к рукам.

Мишка меня здорово выручил: пока вызывали по рации санитарную машину, он схватил автомат, выскочил на середину дороги и остановил первую попавшуюся легковушку.

Чехи сначала отказывались везти.

Начали придуриваться: "Неразумим . . . неразумим . . ." Видят, что у меня с руками — и "неразумим"!

Мишка пригрозил автоматом — сразу уразумели.

Доехал я до медсанбата, наложили мне повязки на руки, и два дня я у них там провалялся.

В медсанбате видел раненых ребят.

Одному парню пуля попала в ягодицу, отскочив от каски товарища, который шел позади него. Товарищ споткнулся в темноте и нечаянно нажал на спусковой крючок.

У другого солдата пулевое ранение в плечо. Говорит, что кто-то выстрелил из кустов.

Был один самострел. Выстрелил сам себе в мякоть ноги, но сержант заметил и заложил его. Теперь подлечат и будут судить.

А в основном лежали ребята с разными поломами, вывихами и ожогами.

Был, правда, еще один завернувшийся, но говорили, что он притворится, чтобы комиссоваться. Ходит целый день из угла в угол и быстро-быстро моргает обоими глазами. Хитрожопый какой нашелся! Мы здесь, значит, подыхать должны за него, а он домой себе поедет. Ничего у него не выйдет. Если даже и комиссуют, то все равно всю жизнь в дурдоме будет сидеть.

Думал там отоспаться немного, но как раз ночью привезли одного с сильными ожогами, и он всю дорогу не переставая кричал. Что с этим парнем случилось, неизвестно. Узнал только, что он из воздушного десанта.

Ночью лежал и думал.

Почему-то все время вспоминалось, как у взводного держались губы, когда он зачитывал приказ.

Наверно, что-то предчувствовал.

Когда возвращался в часть, влип в скверную историю. Если бы не наш комбат, может быть я бы уже был на том свете.

Меня и еще нескольких выздоравливающих посадили в машину, чтобы каждого доставить в расположение его части. По дороге шофер сбился с пути, и мы заехали куда-то не туда. А заблудились потому, что чехи сожгли все дорожные указатели.

Свернули мы около какого-то городка (не знаю, как он там называется) не на то шоссе, потом выбрались назад, выяснили маршрут, и машина пошла дальше, а меня оставили регулировщиком. Всучили мне флажки и приказали указывать путь нашим колоннам.

— Постой немного, — сказал капитан, который сидел рядом с шофером. — Я сейчас пришлю тебе смену.

Ну, стою, машу флажками . . .

Прошла одна машина, вторая, затем несколько машин, и дорога опустела. Я решил присесть, покурить. Кручусь, ищу место почище. (Дело в том, что наши солдаты вынуждены оправляться прямо на обочинах дороги, поэтому везде кучки дерьма и грязные бумажки). Наконец, нашел.

Только прикурил, вдруг слышу за спиной громкий топот и крики. Поворачиваюсь, вижу на меня несется толпа чехов: человек, наверно, двадцать. Бегут, размахивают руками и что-то орут.

Гляжу, лица у всех злые, показывают мне кулаки, а у одного даже палка в руке зажата.

Ну, думаю, хреновые мои дела: я один и оружия никакого.

Сунул быстро руку в карман, как будто у меня там писто-

лет, и кричу:

— Стой! В чем дело?

Чехи притормозили немножко, но кулаками все-таки продолжают размахивать.

— Что вы хотите? Что вам от меня надо? — спрашиваю.

Один из чехов выскочил вперед и заорал:

— Русский, пойдем посмотришь, что вы наделали!

"А что мы могли наделать такого? — думаю я. — Заборы сваляли, что ли? Или, может быть, угол дома снесли?" . . .

А они продолжают орать:

— Пойдем!

— Пойдем, русский!

— Мы тебе сейчас покажем, что вы делаете!

Ну, я пошел — куда денешься . . .

Иду и оглядываюсь на всякий случай, чтобы за спину никто не забрался, а то еще врежут палкой по башке. Прошли по какой-то улице, завернули за один дом, за другой . . . "Куда они меня тащат? — думаю. — Надо возвращаться на вой пост, иначе неприятностей не оберешься". А чехи все: "Пойдем, да пойдем!"

Наконец, выходим на небольшую, размером с пятачок, площадь. Смотрю, посередине валяется перевернутая легковушка марки "Трабант".

"Это они мне, что ли, хотели показать? Так такие вещи случаются . . . Я-то здесь при чем?"

Никак не пойму, за что они такие злые на меня.

— Смотри, русский! Смотри, что вы делаете!

Я посмотрел, куда они мне указывали, и тут меня чуть не вывернуло.

Метрах в десяти от "Трабанта", под деревом, лежала девушка . . .

Правда, что это девушка, догадаться можно было только по стройным ногам и цветастой кофточке. Голова у нее была вся разворочена! Да и головой-то это месиво из крови и грязи уже нельзя было назвать. Волос, например, совсем не было.

Рядом с трупом девушки лежал на боку парень лет восемнадцати, еще живой. Он стонал, обхватив живот руками. Обе ноги у него были разбиты и как-то неестественно вывернуты.

Тут я начал заикаться. От неожиданности, наверно.

— Это . . . это . . . я не знаю . . . Это не я!

Единственное, что мне пришло в голову:

— Это не мы . . . Это контра сделала!

— Контра?!

Тут чехи совсем разъярились.

— Разве может быть контра в советской форме и на машине "Урал"?!

— Идем, идем — мы тебе сейчас покажем "контру"!

И тащат меня куда-то дальше.

Прошли немного, вижу, еще больше народа толпится в углу улицы, окружив зеленый грузовик.

Около грузовика, прижавшись спиной к дверце, стоит перепуганный узбек. Обрадовался мне, начал объяснять:

— Я не виноват! Она не давала мне дорогу! . . . Сама попала под колеса . . .

А чего мне объяснять?

И так все понятно: узбек еле на ногах держится, глаза у него слипаются, с трудом языком ворочает . . .

А у меня в голове туман сплошной.

Чувствую, надо что-то говорить, делать, иначе пропадем, — а сил никаких нет.

Неизвестно, что было бы дальше, но на наше счастье в этот момент подкатила машина комбата.

— В чем дело? Почему покинул пост?! — налетел он на меня.

Я принялся было докладывать, но он оборвал, приказал садиться в машину (узбеку тоже), и мы помчались в Раковник.

А на чехов наш комбат вообще не обратил никакого внимания. Как будто это и не люди были, а просто помятый кустарник.

Я слышал, чеки между собой называют нашего батальонного "атаман Ше-нко".

Раковник нас встретил проклятьями.

На асфальте, на стенах домов, на машинах громадными буквами были написаны по-русски лозунги:

"Русские, убирайтесь вон!"

"Свободу Чехословакии!"

"Да здравствует Дубчек!"

"Смерть советским оккупантам!"

"Да здравствует Людвиг Свобода!"

"Долой фашистов!"

"Вон отсюда, русские собаки!"

А на центральной площади Раковника стояли громадные деревянные звезды, обтянутые кумачом, и в середине каждой из них — черная свастика.

Какая-то девчонка лет четырнадцати выскочила вдруг нам навстречу с букетом цветов.

Но вручить его никому не успела. К ней подбежала пожилая женщина, наверное, мать, вырвала букет и принялась хлестать им, как веником, по лицу девочки. Пожилая наступает, размахивая букетом, молодая пятится, прикрывая лицо — и обе плачут . . .

И никто пальцем не пошевелил, чтобы прекратить это.

Даже наше начальство.

Просим — пожалуйста.

На окраине города я разыскал своих.

Нашему взводу приказано охранять чешскую казарму. Мой танк стоит перед закрытыми железными воротами, а два других танка расположены по углам квартала.

Чешские солдаты сидят на подоконниках, свесив ноги наружу, и что-то все время кричат нам. Наверно, ругательства.

26 августа. 8 час.

Мишка очень обрадовался, увидев меня живым. Мы обнялись, потом залезли в машину, чтобы не мешали чехи, и выпили по стакану какой-то коричневой водки. Я вчера, помню, быстро вырубился. Мишка еще пил, чего-то рассказывал про то, как они въезжали в город, но я уже с трудом улавливал смысл рассказа.

Только когда он сказал, что погиб Петька "Одесса" из второго взвода, я на минуту как бы пришел в себя, а потом совсем отключился.

За завтраком Мишка мне еще раз рассказал, что случилось с Петькой.

Погиб он совсем глупо. Винок-ов, подитель танка, в котором находился Петька, на секунду задремал, и танк на повороте врезался в дом. Все отделались легкой встряской, а Петька, спавший на месте заряжающего, был раздавлен откатным механизмом.

Мы вместе призывались, и у него тоже шел последний год службы. Хороший был парень "Одесса".

— Просим.

— Декуи.

Меня вызывает к себе комбат.

Наверно, будет втык за вчерашнее.

23 час.

Я думал, что комбат начнет отчитывать меня за самовольный уход с поста, но он об этом даже не вспомнил.

Велел мне и еще двум автоматчикам сесть в машину, и мы поехали в местный райком партии на переговоры.

Приняли нас очень плохо. Секретарь райкома все время отворачивался от нас, разговаривал сквозь зубы, на просьбу комбата помочь очистить город от антисоветских лозунгов и радиостанций ответил, что ничего знать не знает.

— Занимайтесь этим сами! — отрезал он.

— Но вы же как секретарь райкома партии должны нам помочь, — сказал комбат.

— Я ничего вам не должен!

— Хорошо. Нам нужно помещение под комендатуру.

— А, помещение под комендатуру . . . Можете взять хоть Дом пионеров!

Мы заняли Дом пионеров, выставили часовых и объявили комендантский час. "Пока неотрегулируется положение в Праге и других городах".

Весь город в антисоветских лозунгах.

Вот несколько их тех, которые я успел записать:

"Внимание! В городе русские бандиты!"

"Ленин, проснись! Посмотри, что Ленька Брежнев делает!"

”Вы нас можете насилловать, но мы от вас детей рожать не будем!”

”Возвращайтесь к своим девушкам!”

”Брежнев сошел с ума!”

”Долой русских оккупантов!”

”Да здравствует свободная любовь!”

”Если бы Ленин проснулся, он бы снова упал в гроб!”

”Да здравствует свобода слова!”

”Запирайте двери, пришли русские фашисты!”

Но чаще всего на глаза попадается такая надпись: ”Русские солдаты, до Москвы 1800 км!”

Под вечер я вернулся в расположение своего взвода и увидел следующую картину:

Мишка, Толик и Генка восседают на башне танка с бутылками пива в руках и что-то втолковывают чехам, которые обступили их огромной толпой.

Точнее, выступал один Мишка, а Толик с Генкой больше на пиво нажимали.

— Мы приехали, — кричит толпе Мишка, — чтобы навести порядок! Чтобы помочь вам встать на правильный путь и . . .

— А зачем пушки привезли? — шумят чехи.

— Почему с оружием?

— Почему ломаете наши дома?

К танку протиснулся какой-то высокий бородач и, помахав над головой руками, обратился по-русски к Мишке:

— Послушайте, русские! Когда Сталин занимался ”чисткой” вашего народа и расстреливал каждого, кто не так сказал, не так написал или даже не так подумал — мы не явились к вам с оружием в руках, не говорили, что вы ведете неправильную политику!

Когда Хрущев морил вас голодом, когда у вас не хватало даже обыкновенного хлеба — мы не оккупировали вашу страну, не вмешивались в ваши дела и не стали ”наводить порядок”, как вы выражаетесь.

Мы же никого не расстреливаем, у нас есть и хлеб и пиво и любая еда . . . Мы живем гораздо лучше и свободней, чем вы!

Почему же вы явились сюда с автоматами и танками, топчете наши поля, разрушаете наши дома и убиваете мирных жителей?

Это и есть ваш ”порядок”, ваш ”правильный путь”?!

Тут даже Толик, который всю дорогу обычно молчит, не выдержал и заорал:

— Ты что? Кого мы убиваем? Ты чего врешь, парень?

— Я не вру, — ответил бородач. — Вот прочтите, что ваши солдаты творят в Праге! — Он вытащил из заднего кармана сложенный вчетверо листок и протянул Толику.

— Читайте!

— Читайте, русские! — закричали остальные чехи и стали протягивать нам листовки.

Я взял одну и увидел фотографию горящего здания, из которого выбегали женщины с детьми на руках.

— Что здесь написано? — спросил я бородача.

— Тут написано, — ответил он, — что танковым снарядом разбит музей в центре Праги. Возник пожар, который сразу же перекинулся на стоящий рядом роддом. Роддом горел, но ваши солдаты никого к нему не подпускали . . . Вы, русские, не щадите даже грудных детей!

Через некоторое время подъехал наш патруль и разогнал толпу. Расходились чехи неохотно: показывали кулаки и выкрикивали разные ругательства.

Один провел пальцем по горлу и крикнул мне:

— Опратка!*

Наверно, что-нибудь вроде: "Горло всем вам надо перерезать!"

27 августа. 8 час. 15 мин.

Ночка выдалась суматошная. Никто из наших так и не заснул. Через каждые пять-десять минут то тут, то там раздавались автоматные очереди, над крышами летели трассирующие пули, шарили по окнам прожектора, мчались куда-то патрули . . .

Я всю ночь пролежал под танком с АКМом в обнимку.

А что делать? Если бы мы забрались в машину и закрылись, то нас могли бы просто-напросто сжечь.

10 час.

Приезжал политрук и провел с нами политзанятие.

— Обстановка, ребята, очень и очень серьезная, — сказал он, — контрреволюционеры, захватив органы информации, при помощи газет, радио, телевидения и листовок сеют в стране недовольство и мятеж, подбивают уголовные и неустойчивые элементы к провокационным вылазкам.

Особенный упор они делают на несознательную молодежь, играя на низменных инстинктах и одурманивая разговорами о капиталистическом образе жизни и мифических буржуазных "свободах". Работают десятки подпольных передатчиков, получая инструкции с Запада и распространяя среди чешского населения злостную клевету о братской миссии нашей армии.

Контрреволюционеры вооружены современным американским и западногерманским оружием.

Имеют место случаи нападения на наших солдат. Не буду от вас скрывать: есть раненые и даже убитые! Поэтому запомните: будьте всегда начеку! Будьте бдительны! На выстрел отвечайте выстрелом! Венгрия 56-го года не повторится!

И еще . . . Несколько слов о населении. Рассказывайте чехам побольше о нашей стране. Разъясняйте им преимущество социалистической системы над капиталистической. Пусть они поймут, где действительно истинная свобода, а где нищета и рабство, прикрываемые лживыми словами!

* Опратка — петля (чеш.) — Прим. ред.

Было даже как-то странно, что политрук обращается к нам не как обычно: "товарищи танкисты" или "товарищи солдаты", а просто — "ребята".

Но я заметил, что после того как пересекли границу, изменился не один политрук, а все офицеры.

Чтобы кто-то из них подошел и заорал: "Почему честь не отдаешь?!" Или: "Почему воротничок расстегнут?" Или: "Ты с кем разговариваешь, солдат?!"

Друзьями вдруг стали.

"Вася, Петя, Коля, земляк . . . Ты уж посторожи, будь другом, пока я подремлю. Получу отпуск, заеду к твоим родным, передам от тебя привет. Может быть, что-нибудь еще передать? Ты говори, не стесняйся — мы же с тобой однополчане!"

Только так!

21 час.

Нам говорят, чтобы мы вели среди чешского населения разьяснительную работу. Но это не так-то просто. Чехи, особенно молодежь, очень хорошо, по сравнению с нами, разбираются в политике. Мы иногда просто не знаем, что им отвечать.

Вот, например, сегодня.

Опять собралась большая толпа, и кто-то завел разговор о Югославии. Чехи очень хвалят эту страну и хотят сделать у себя то же самое. А кто из нас был в этой Югославии? И кто знает, что югославы у себя там сделали? Ну, а чехи запросто выезжают туда. Особенно летом — отдыхать.

Или вот они говорят нам: "У вас в Советском Союзе нет свободы печати". А кого из нас волнует свобода печати?

Свободная любовь, это, конечно, интересней. Но опять же, никто из нас не знает толком, что это такое и как это "свободно" любить. Одни считают, что это прямо на улице. Другие, что можно всякими способами. Третьи вообще какую-то хреновину выдумывают.

"Вы должны сменить свое правительство!"

Ни фига себе заявочки!

Да нам о таких вещах даже думать-то! . . .

В основном мы обмениваемся с чехами адресами и разной мелочью. Мы даем им немецкие фонарики и зажигалки, а они нам — жвачку, американские сигареты и переводные югославские картинки. Эти картинки можно переводить прямо на тело, а потом по рисунку делать красивые накладки.

Несколько парней предлагали нам гражданскую одежду: джинсы, куртки, рубашки — причем все бесплатно. Они уговаривали бросать оружие и уходить из армии.

Нашли дураков — из-за пары каких-то джинсов садиться в тюрьму!

— Да и что я, ребята, буду делать здесь? — спросил я парней.

— Будешь жить, как человек, — ответил один из них.

— Хорошо будешь жить, — добавил другой.

— Ну, так мне и дома хорошо живется, — сказал я.

— Хорошо живется! — засмеялся один из чехов. — Я был в Союзе, пять лет там учился, видел . . . Одежды красивой в магазинах нет, за едой — постоянно очереди. За кружкой пива по часу в очереди стоишь! Ни хорошей музыки, ни книг, ни иностранных газет . . .

— А мы и без иностранных газет проживем, — сказал я.

Пока я с ним спорил, Мишка, оказывается, ухватил пару голубых джинсов.

— Ты что? — спросил я его.

— А что? . . . — ответил он. — Раз они такие дураки и дают их задаром, что я, должен отказываться, что ли? У нас ведь таких не достанешь.

— А ты тоже дурак! Развел какую-то бодягу, спорить с ними начал . . . Бери, пока дают! Соглашайся: да, да, завтра же и побегу — давайте джинсы.

Мы и по Москве в них отлично погуляем!

Ну, Мишка!

— Добри ден!

— Добри ден! *

— Умите чески? **

— Як се ржекне русски? . . .***

28 августа. 22 час.

Утром нам велели составить список ребят, умеющих играть в волейбол. Мы с Мишкой записались в команду.

Сразу после обеда нас построили в колонну — игроков и всех свободных от службы (чтобы болели) — и повели на дружескую спортивную встречу. Играть мы должны были с арестованными в своих казармах чешскими солдатами.

Когда проходили через их КПШ, чехи попросили нас оставить оружие. Нам приказали снять ремни с пистолетами, поставили около них несколько человек, а остальных повели на волейбольную площадку.

Стали играть . . . Разошлись — лупили вовсю. Чехи тоже.

С одной стороны наши болельщики кричат, подбадривают, с другой — чешские.

Хорошо игра шла. Потом можно было бы и поболтать и выпить втихаря за компанию . . .

Но тут Мишка подпрыгивает, размахивается по мячу — и вдруг у него из-за пояса вываливается пистолет и шлепается на площадку прямо чехам под ноги. Ну, они сразу же прекратили игру. Плюнули по разу в нашу сторону и ушли без разговоров в свою казарму.

* Добри ден! — Добрый день!

** Умите чески? — Владеете чешским?

*** Як се ржекне русски? . . . — Как будет по-русски? . . .

29 августа.

Ездили на патрульной машине искать склад оружия.

Приехали по адресу (большая двухэтажная дача за городом), облазили все от подвала до чердака, потом осмотрели еще два сарая во дворе — ничего не нашли.

С нами был один сапер с миноискателем. Он шарил по саду — но тоже ничего не обнаружил.

Хозяева угостили нас хорошим пивом.

Правда, оно было какое-то сладкое, непривычное, даже губы слипались, но довольно крепкое, я забалдел немного.

Цигарети.

1 сентября. 23 часа.

Сегодня нас снова всех собрали, построили и повели к чехам. Но только не в ту казарму, с которой мы играли в волейбол, а в другую.

Замполит сказал: "Для проведения культурно-массового мероприятия".

Он предупредил нас, чтобы мы избегали всяческих инцидентов и чтобы история с пистолетом больше не повторилась.

"Наша задача — укреплять взаимопонимание между советскими и чешскими воинами, разъяснить им цель нашего прихода в Чехословакию, открыть глаза заблуждающимся".

"Мы пришли как освободители . . . как в 45-ом . . ." и т.д.

Провели нас сразу в клуб и усадили на первые ряды в зале с занавешенными окнами.

Потом вошли чехи и расселись сзади.

Сначала показали чешский исторический фильм.

Я не очень понял, в чем там было дело.

В общем, какой-то парень любил какую-то девушку и дрался из-за нее на саблях . . .

Потом прокрутили франко-итальянский . . . Софи Лорен, машины, гонки... Цветной, широкоэкранный. Это было интересней.

После кино вместе с чехами отправились в комнату отдыха. Это вроде нашей "ленинской комнаты". Там играла веселая музыка (битлы), стоял большой бильярдный стол и, что нас всех удивило, бар с разными красивыми бутылками.

Правда, бутылки оказались пустыми, но все равно придумано было неплохо. Приятно было посидеть за стойкой и попить даже обыкновенный лимонад.

У нас такое никогда бы не разрешили. У нас обычно: портрет Ленина на стенке, знамя полка в углу и подшивки газет на столах — и все. Ну, еще телевизор. А бильярд только для офицеров в офицерском клубе.

Я подошел к одному чеху.

— Давай, парень, по-дружески потолкуем, — говорю, и начинаю "разъяснять историческую миссию нашей армии".

Минут двадцать, наверно, "разъяснял". Чех стоит, молча слушает. Не перебивает, не спорит, ничего такого.

Когда я кончил говорить, он спрашивает меня:

— Млуните чески?*

— Нет, — говорю, — не млуню.

— Неразумим руски, — и отвернулся.

Я подошел к другому, спросил его для верности:

— Разумеешь по-русски?

— Понимаю.

Я снова начал про "историческую миссию нашей армии".

Но он перебил меня:

— Послушай, что мне мать из дома пишет . . .

Полез в карман, достает письмо: ну и читает, что у них дома, где-то в другом городе под Прагой, советская военная машина задала насмерть четырехлетнюю девочку.

А в Праге кто-то выстрелил из окна автобуса по советскому танку: так за это весь автобус, в котором находились старики и дети, тут же был расстрелян из пулеметов.

— Как же я могу после этого с тобой по-дружески разговаривать? — спросил меня чех.

Я отошел от него к своим.

Еще некоторое время поиграла музыка.

Мы покурили молча, потом нам дали команду выходить и строиться.

Разговор, как говорится, не состоялся.

Соудруг — товарищ.

Тенто филм се ми велми либил**

2 сентября. 23 час. 45 мин.

А сегодня устраивали кино у нас.

Пригнали кинопередвижку, повесили экран под открытым небом, расставили скамейки и послали чехам приглашение.

Как стемнело, киномеханик запустил фильм (Отечественная война, освобождение Европы).

Звук дали на полную катушку.

За несколько кварталов от нас было слышно, как красноармейцы "ура" кричат, поднимаясь в атаку, как грохочут пушки, визжат "катюши" . . .

Но только ни один чех не пришел.

А те, кто проходил мимо, остановятся, посмотрят минуту и тут же уходят.

Добри вечер.

3 сентября.

Мы с Мишкой поймали контру.

И не одного, а целых троих.

* Млуните чески? — Говорите по-чешски?

** Тенто филм се ми велми либил — Этот фильм мне очень понравился.

Возвращались мы в обед с ним из комендатуры в расположение своего взвода. Вдруг смотрим, в одном из переулков трое пацанов, лет по десять примерно, что-то пишут на асфальте. Ведро с белой краской у них, кисти в руках и ползают на коленках, высунув языки. Нас они даже не заметили, так как были очень увлечены своим делом.

Мы к ним подкрадываемся осторожно:

— Руки вверх! Вы чем тут занимаетесь?!

Напугались страшно — аж затряслись.

Один в рев ударился, два других стоят, стучат зубами.

А на дороге свежие надписи: "Смерть оккупантам!", "Русские вон!", "До Москвы — 1800 км".

Мишка соорудил свирепую рожу, нахмурил свои рыжие брови и зарычал на плачущего:

— Вот я тебя сейчас, контрреволюционера разэтакого, в комендатуру отведу за эти лозунги!

Тот еще громче давай реветь. И что-то лопочет вроде того, что: "Это не я . . . это мне сказали . . . я не хотел . . . простите, больше не буду . . ."

— А кто тебе сказал? — спрашивает Мишка. — Кто тебя научил? Ну-ка, отвечай сейчас же, а то плохо будет!

"Это учитель . . . наш учитель . . . сказал мне . . ."

И тут один из его друзей подскакивает, разворачивается и как врежет ему в ухо кулаком!

Потом проскочил мимо нас, юркнул в подворотню и — привет!

Приказали мы оставшимся двум отправляться по домам, а ведро с краской и кисти забрали с собой.

После закинули их в какие-то кусты.

4 сентября.

Чехи больше нас выпивкой не угощают.

Раньше протягивали бутылки с пивом, а теперь протягивают одни листовки, которые заканчиваются обычно так: "Товарищи русские солдаты! Бросайте автоматы! Не слушайте офицеров, идите домой к своим Наташам. До Москвы 1800 км!"

Что интересно, так это то, что все листовки обращены к простым солдатам, а не к офицерам.

5 сентября.

Час назад вернулся с патрулирования Мишка.

Пришел он усталый и какой-то злой.

В это время как раз на нашем танке сидели два волосатика лет по пятнадцати и пели нам песенки под гитару.

— А ну, пошли отсюда! — закричал на них Мишка. — Давай! Давай! Размяукались здесь . . . Это вам не сцена, а танк. Так что мотайте отсюда на хрен! Тот волосатик, что играл на гитаре, соскочил на землю, а второй сидит и улыбается Мишке.

— Ну что, не понимаешь, что ли?! — разъярился Мишка. — Пошел на хрен, тебе говорят!

А волосатик продолжает улыбаться.

Тут Мишка хватается за кобуру, вырывает пистолет и как врежет ему рукояткой по голове! Чех, конечно, тут же свалился с танка. Как мешок с мукой. Дружок помог ему подняться, отряхнул от пыли, и они захромали прочь.

— Зачем ты так его? — спрашиваю Мишку.

— Зачем?! — закричал Мишка. — Да их вообще, гадов, убивать надо! Мы идем сегодня патрулем по городу . . . ни с кем не заговариваем, никого не трогаем, просто за порядком следим . . . А они, суки! То один под ноги харкнет, то другой, то сразу целая компания. Проходят мимо нас — харкают и отворачиваются, как ни в чем не бывало! Понял?! А один гад залепил мне прямо на китель! Его счастье, что успел удрать! . .

6 сентября, 10 час.

Приезжал замполит. Провел политзанятие.

"Враг коварен и хитер! Он рядится в одежды мирного жителя и совершает диверсии и убийства!

Не подпускайте никого к танкам.

Меньше разговоров — больше строгости!"

Еще замполит запретил обмениваться с чехами адресами и сувенирами.

— А как же тогда крепить "мир-дружбу" с населением? — спросил я.

— Крепить будем, — ответил замполит, — но теперь только в официальном порядке. Без всякой самодеятельности.

ДОБРЕ

8 сентября

Были сегодня в городе (я, Мишка и Толик: меньше троих не пускают).

Произошла такая хохма.

Идем по улице, смотрим, на противоположном тротуаре стоит компания девчонок. Увидели нас, замахали руками. Улыбаются весело, зовут к себе: "Русский! Русский!" Только мы к ним направились, как они все разом вдруг поворачиваются к нам спинами, нагибаются и задирают юбки! . . Мы аж остолбенели посреди дороги от неожиданности. Торчим, рты разинув, как дураки. А девчонки постояли немножко в таких позах и убежали, хихикая.

Но это ладно, такие сеансы еще можно смотреть. А вот когда на голову выльют горшок мочи или кучу дерьма бухнут! . .

Только бы разрешили: все окна бы вдребезги расколошматил из автомата!

Да еще эти лозунги на нервы действуют.

Куда ни глянь, отовсюду метровые буквы в глаза лезут:

"Русские — убийцы!"

"Смерть советским бандитам!"

"Не кормите русских — пусть они подохнут с голоду!"

"Русские, идите на х. . .!"

"Не крути головой, а то потеряешь глаза!"

9 сентября

Ехали мы утром в патрульной открытой машине: один за пулеметом, двое с автоматами, нацеленными на окна, чтобы не бросили чего-нибудь вроде гранаты или зажигательной бутылки в кузов. . . Ехали мы и забрались в какой-то тупик: узкая старая улочка и дом поперек ее в самом конце.

Офицер подумал и говорит:

— Ну, раз такое дело, ребята, давайте перекурим десять минут, а потом будем выбираться назад.

Отложили мы автоматы, закурили. Сидим, отдыхаем.

И тут смотрю: что за черт! В окне прямо перед нами (на первом этаже) поднялась какая-то возня.

Присмотрелся внимательней: это суетятся старик со старухой. Бегают друг за дружкой, размахивают руками. . . Потом смотрю, чего-то тащат, надрываются. Я толкаю офицера в бок. Выволокли старики на середину комнаты большой стол, забрались, крихтя, на него, взялись за руки и давай нам кланяться. Покланяются, покланяются, потом сцепят ладони над головой, помашут ими: мол, "мир-дружба!" И снова давай кланяться.

Пока из той улицы выбирались, они все продолжали нам поклоны отвешивать. Только я заметил, что кланяться-то они нам кланялись, но и на соседские окна опасно поглядывать не забывали. Да и стол поставили в глубине комнаты так, чтобы одни мы их могли видеть.

10 сентября

Больше нас не водят к чехам ни на спортивные, ни на культурные мероприятия. Да и мы, конечно, не очень-то рвемся. Потому что никто из нас ничего приятного от этих встреч не ожидает.

Если гражданское население на нас волком смотрит, то что говорить о солдатах.

Правда, бывают исключения.

Какой-нибудь пожилой чех вдруг подойдет и начнет объяснять, что порядок — это порядок, что без него никак нельзя, что молодежь действительно совсем распустилась, не уважает стариков, не хочет работать, а хочет только брэнчать на гитарах, целоваться и пить пиво. . .

Ну, а мы ему поддакнем разок-другой, раскрутим на пару кружек, а потом: извини, отец — служба. И попопали дальше.

— Мате пиво? *

— Ано. Маме пиво "Проздрой" **

Вот словаки, те действительно многие нам сочувствуют.

Они жалуются, что чехи задирают нос перед ними и считают себя более благородными.

Еще словаки недовольны тем, что чехи заняли все руководящие посты в правительстве, в армии и в разных учреждениях, а их, словаков, никуда не пускают.

* — Есть пиво?

** — Да. Есть пиво "Проздрой".

11 сентября. 8 час.

До сих пор никак не удается выспаться.

Сегодня всю ночь воевали.

Приблизительно во втором часу Толик (он сидел в башне за пулеметом) вдруг открыл огонь.

Я со сна здорово треснулся головой (мы с Мишкой лежали под танком), никак не могу найти автомат. . .

Кричу Толику:

— Толик! Что случилось? Кто стреляет?!

Тут, смотрю, Мишка протягивает мне мой АКМ:

— На нас чехи напали! Стреляй!

А я никак сориентироваться не могу, где они, чехи, и куда стрелять нужно.

Наконец, слышу с левой стороны шмякают пули о броню танка. Пригляделся: вижу где-то вдаль вспышки выстрелов.

Я осторожно высунул автомат наружу и стал стрелять в сторону вспышек.

В этот момент замолчал пулемет на башне.

"Толика убили, гады!" — подумал я.

Вставил новый рожок в автомат и давай поливать вдоль улицы длинными очередями.

И вдруг кто-то наваливается сзади мне на ноги. . .

"Чехи обошли нас! . ." — хотел я закричать Мишке, но горло от страха как ремнем перетянуло.

Разворачиваю автомат назад. . . и чуть было не угрохал Толика.

Он, оказывается, спустился через нижний люк.

— Смотрю, — рассказывает Толик, — какие-то фонарики движутся в нашу сторону. . . Я дал очередь по верху. . . предупредительную. Они открыли огонь. Ну, я тогда по ним целый диск и выпустил! Теперь они, суки, залегли, испугались! Что будем делать, ребята?

Надо по радиции сообщить о нападении, — говорю я.

Мишка пополз к люку.

— Только сперва, — говорит, — давай их, блядей, танком проутюжим! . .

В это самое время чехи снова замигали фонариками и кто-то из них заорал в нашу сторону:

— Эй, чехи! Сдавайтесь, еб вашу мать! Вы окружены!

Чисто по русски, да еще с вологодским выговором.

— Сами вы чехи, сволочи! — закричал я, вылезая из-под танка. — Своих уже не узнаете, что ли?!

— А какого хрена вы стреляете?! — спрашивают "чехи", тоже поднимаясь с земли.

— А вы какого?! — кричит им Мишка.

Оказалось, что это наши связисты.

Они только что прибыли в Раковник и искали место для ночевки. Тут по ним кто-то начинает стрелять. Ну, разумеется: "Нападение! Ложись! Огонь!" И началась заваруха.

Довольно удачно все кончилось. Никто не убит и даже не поцарапан.

Вскоре приехал патрульный бронетранспортер.

Покурили, поболтали и разошлись под утро спать.

Только что заметили, что одна из пуль "чехов" попала в каблук Мишкиного сапога. Каблук на месте, но борозда от пули довольно глубокая. Мишка бегает и всем показывает свой сапог.

12 сентября

Чехи ходят хмурые и злые.

На все вопросы отвечают одно и то же:

— Вот ваш герб! — И показывают на звезду с черной свастики внутри.

Эти звезды намалеваны почти на всех домах.

На некоторых даже по несколько штук.

Комбат сказал, что будем стоять здесь месяца два.

"Пока наведем порядок".

13 сентября

Поползли слухи, что у нас нет продуктов и мы скоро начнем грабить.

Замполит сегодня провел занятие на эту тему.

— Контрреволюционеры, их пособники и агенты буржуазии распространяют среди чешского населения лживые слухи о том, что нам нечего есть. Они пугают мирных жителей баснями о том, что наши тылы, мол, отстали, что у нас кончились продукты и мы, мол, скоро начнем отнимать их у чехов.

Надо признаться, что некоторая часть населения, сбита с толку вражеской пропагандой, поверила этим нелепым басням. Эти обманутые люди закапывают и прячут в больших количествах различные продукты питания.

Подобными действиями они лишь играют на руку контрреволюционерам и сеют панику в стране.

Поэтому я вас прошу, ребята, при каждом удобном случае подзывайте чехов на кухню и говорите с ними с куском хлеба и колбасы в руках.

Пусть они своими глазами увидят, что мы сыты.

Пусть они убедятся, что мы ни в чем не нуждаемся.

После обеда нам выдали по куску сливочного масла (каждому) и мы мазали им сапоги на глазах у чехов.

Да, замполит еще говорил: "Зазывайте чехов на кухню и выпытывайте, кто из населения недоволен".

Но чехи только качают головами и молчат.

Еды-то у нас достаточно, а вот денег нет.

А без крон выпивки не достанешь.

Зря я свой большой немецкий фонарь променял на дурацкую жвачку.

14 сентября

Утром получили приказ срочно подготовить чешские танки к маршу.

Эти танки находились под охраной наших солдат с первого же дня, как мы вошли в Раковник.

Нам приказали снять с них пулеметы и вывести танки за город на полигон.

Все прошло без приключений.

На полигоне мы пообедали вместе с чехами.

Их солдат кормят лучше, чем наших. Больше еды, хорошее сало, и вообще вкусней.

22 час.

Нам привезли какой-то фильм, и сейчас крутят его на улице. Я не стал смотреть. Думаю, пока вокруг много наших, немного подремать.

Тут почище, чем в кино, дела творятся.

15 сентября

В свободное время (до обеда) занимаемся чисткой оружия.

Приезжал с замполитом незнакомый офицер (капитан) и рассказывал о Венгрии 56-го.

Он там служил и видел, как венгерская контра убивала наших солдат, поджигала танки, нападала на наши части.

Рассказал такой случай.

Контрреволюционеры захватили в одном городе (не помню названия) здание райкома партии и всех коммунистов, которые там находились, повыбрасывали из окон на мостовую.

Потом ходили добивали тех, кто был еще жив.

17 сентября

Вчера здорово нажрались.

Не помню даже, как оказались в расположении своего взвода.

Спросил Мишку, не он ли меня дотащил.

— А я, думаешь, помню? — ответил он.

Вчера с утра хотелось выпить, но ничего не удалось выкрутить. И тогда под вечер мы пошли в ближайшее кафе, подсели к каким-то чехам и сказали, что мы их друзья.

Они обрадовались, начали нас угощать.

Когда уже здорово выпили и перезнакомились, один из чехов (его звали Павел) спросил нас:

— Русские, почему вы не пришли сами? Мы бы вас встретили, как братьев, накормили бы, напоили. . . Зачем вы привели с собой фашистов?

Это он насчет немцев.

Немцы, действительно, с чехами долго не разговаривают, я сам видел: чуть что не так — прикладом в спину и "ком! ком! ком!" в комендатуру.

— Это не мы их привели, — сказал я. — Это наши начальники.

— Плохие ваши начальники! — сказал Павел.

— Это точно, — согласился Мишка. — Ни выпить, ни похмелиться не дают.

Помню, орали на весь кабак друг другу: "Тукнемся! Тукнемся! (Это по-ихнему — "Чокнемся!")"

Выпили еще по стопке, потом еще. . . А потом мы с Миш-

кой вышли на дорогу, остановили первую попавшуюся машину, приказали шоферу выйти и начали кататься. Часа три носились по разным переулкам. Пару раз чуть не врезались. Затем где-то оставили машину, так как кончился бензин.

Дальше я уже ничего не помню.

18 сентября

Сегодня узнал кое-какие новости.

Слушал по радиcи "Би-би-си" и "Голос".

Оказывается, чехословацкое правительство распалось. В Праге — бардак. Многие чехи бегут из страны на Запад.

Как-то неприятно, не по себе становится, когда голос диктора произносит "советские оккупанты". Когда это кричат чехи здесь на улицах, это одно дело, а вот по радио — совсем другое.

Передали, что несколько наших солдат и даже офицеров перережали вместе с чехами в ФРГ.

Если это правда, то не завидую их родным — затаскают.

Крутили песни битлов.

Здорово поют ребята!

— Мате сигарети?

— Не, сигарети не мам.

— Декуи.

— Нени зач. *

19 сентября.

Немного разжились деньгами.

Мишка договорился с одним местным мужиком, тот вчера вечером пришел к нам, и мы загнали ему наши куртки.

Теперь у нас тоже имеются, как говорят чехи, — коруни!

Сегодня выпили, купили себе хорошего мыла и крем для бритья.

Попробовали чешское национальное блюдо — кнедли.

Ничего особенного. Какие-то мокрые куски белого хлеба и кусочек мяса.

Вот чешское пиво — это, конечно, вещь!

Добре пиво!

Чешские монеты совсем легкие, как будто игрушечные.

(Немецкие тоже).

Из алюминия их делают, что ли?

В городе к нам подошла одна пожилая женщина и сказала:

— Плохо, очень плохо вы поступаете, русские!

— А как мы поступаем? — спросил я. — Мы же вас не трогаем. . . Что мы вам такого сделали?

— Очень плохо вы делаете! Мы в вас камушком бросим, а вы в нас: "Пух! Пух!" Немцы так не делали — вы хуже фашистов! Фашисты нас за четыре дня оккупировали, а вы за четыре часа!

Мишка тут же вытащил авторучку:

— Как ваша фамилия, мамаша?

* Нени зач — Не за что.

Чешка посмотрела на него внимательно и сказала:

— Пиши. . . Именуи се Ческословенска!*

Плюнула нам под ноги, повернулась и ушла.

Мишка хотел задержать ее, но я отговорил. Что толку с ней связываться?

Фашиста — фашист.

20 сентября

Среди наших солдат началось недовольство.

Утром на политзанятии все кричали:

— Мы ничего не можем купить из необходимого!

— У офицеров посылки, а у нас ничего!

— Почему нам не дают кроны?!

Замполит здорово струхнул.

— Я доложу. . . Мы разберемся. . . Я вам обещаю! — и побыстрому уехал.

Еще полчаса шумели после его отъезда. Никто не слушал офицеров, не обращал никакого внимания на их команды.

23 сентября

Позавчера к нашему танку подошли три девчонки. Стали нас расспрашивать о службе. . . Разговорились, познакомились. Проболтали до 12 часов ночи. Под конец я предложил проводить их до дому.

— Не надо! Не надо! — испугались они. . .

— Почему?

— Это опасно!

— Вы за нас не беспокойтесь, — сказал Мишка. — У нас ведь оружие имеется! — и передернул затвор автомата.

— Русские солдаты опасностей не боятся! — хвастанул Толик.

Девчонки переглянулись между собой, помялись немного, и одна из них сказала:

— Это для нас опасно, а не для вас. . .

— Для вас? — удивился я. — А почему?

— Потому что если нас увидят с русскими солдатами, то наши парни остригут нас наголо.

— И никто не сможет заступиться, — добавила вторая: ни вы, ни даже ваш атаман Шен-ко. Так что лучше нас не провожать и не встречать. Мы завтра сами к вам придем, как только стемнеет.

Дали каждому из нас по пачке сигарет и убежали.

Сегодня под вечер они снова пришли все трое.

В обтянутых рубашках, поднакрасились. Две в джинсах, а одна в красной вельветовой юбке.

— Моя — в красной юбке! — сразу же шепнул мне Мишка.

Девчонки опять принесли сигарет да еще красивую бутылку польской водки.

— А можно нам посидеть в танке? — спросила та, что в красной юбке.

* Моя фамилия — Чехословакия!

— Ну, конечно! — обрадовался Мишка. — Забирайтесь!

Мы помогли им залезть в машину, включили освещение, достали кружки и выпили за знакомство.

Вшестером, конечно, тесновато у нас, но сегодня это было как раз то, что требуется.

Ту, что оказалась рядом со мной, звали Катей.

Это сказали ее подруги, так как сама Катя все время молчит. Улыбается, кивает головой, но ничего не говорит.

Допили их водку, покурили, показали им устройство танка, потом достали свои две бутылки. (Мишка с Толиком специально бегали утром в город и раздобыли где-то пару поллитровок "сливянки"). Вмазали еще по сто пятьдесят.

Смотрю, Толик со своей подругой вдруг занялся изучением чешского языка.

— А как сказать по-вашему. . . если мы, к примеру, заскочим в какой-нибудь буфет. . .

— Что сказать?

— Ну, как сказать: "Дайте мне сто грамм?"

— А, очень просто: Дайте ми десет дека. . .*

Толик обиделся:

— Да не десять, а сто! Это ваши мужики пьют по десять грамм, наперстками какими-то. . . А как тогда сказать: "Налейте мне полный стакан? А?"

Поглядел на Мишку, а он уже целуется со своей. Я тоже обнял Катю. Туда-сюда. Вроде ничего: прижимается, целуется. И тут, ни с того ни с сего, она начинает сопеть и дергаться. Я на всякий случай еще сильнее ее к себе прижимаю. Катя вдруг принялась мычать и вырываться! Я совсем ничего не пойму.

Наконец та девчонка, которая сидела рядом с Толиком, говорит мне:

— Отпусти ее, она пись-пись хочет.

Оказалось, что Катя — немая.

А девчонка она хорошая. Сбегала по-быстрому куда-то, вернулась назад, и мы пробалдели с ней до самого рассвета.

Хорошо, что ночь была спокойная, а то бы нам устроили балдеж. Танк без охраны: подходи, кто хочет. . .

Бросили бы гранату в люк — и крышка всем.

Ну, надо ложиться, часа три хоть поспать.

24 сентября

Получили приказ заставлять чехов стирать антисоветские надписи и лозунги.

Я и Омар Ха-зов пошли с лейтенантом Бра-киным в город.

Погуляли час, лейтенант и говорит:

— Ну что, ребята, надо выполнять задание.

Омар спрашивает его:

— Как выполнять? Смотри, сколько лозунг! А кто писал, разве найдешь? Э?

Мы постояли немного, подумали, лейтенант почесал затылок, и мы пошли потихоньку дальше.

* Сто граммов.

Еще час ходили по улицам.

Почитали лозунги.

Лейтенант снова говорит:

— Нет, ребята, так нельзя. Надо что-то делать.

— Что? — спрашиваю я.

— Надо выполнять приказ, заставлять стирать антисоветские лозунги.

— А кого заставлять стирать?

— Кого, кого! . . . — разозлился лейтенант. — Чехов надо заставлять! У нас приказ!

— Вон тот глупый ишак надо заставлять! — вдруг говорит Омар и показывает пальцем на легковушку, всю расписанную ругательствами.

— "Смерть оккупантам!"

— "Вон отсюда, русские собаки!"

— "Бейте советских бандитов!" и т.п.

— Правильно! — обрадовался лейтенант. — Пошли!

Подошли к машине, смотрим, в ней никого нет.

— Что будем делать? — спрашиваю я.

— Будем ждать, когда придет хозяин, — говорит лейтенант. — А когда появится, заставим его смыть всю эту пакость!

Постояли полчаса, покурили. И тут я придумал:

— Давайте зайдём в это заведение, он наверное там.

Я так решил, потому что машина стояла прямо напротив дверей пивного бара.

Заходим в бар, лейтенант спрашивает:

— Кто шофер машиницы, которая стоит у входа?

Никто не отвечает.

— Я спрашиваю, кто шофер машины, которая стоит у входа? — повторил свой вопрос лейтенант.

Чехи делают вид, что не замечают нас.

Неспеша пьют пиво, переговариваются между собой, закусьвают.

Тогда лейтенант говорит:

— Если никто не сознается, мы проверим у всех присутствующих документы и все равно найдем хозяина!

Чехи заволновались.

— Еще раз спрашиваю: чья машина?

Смотрим, поднимается из-за стола высокий, худой чех:

— Моя, — говорит.

— Прошу вас выйти со мной на улицу.

— Зачем?

— Так нужно.

— Я ничего не сделал. Что вы ко мне пристаёте? Дайте мне спокойно поесть! . . .

— Я прошу вас выйти со мной.

Остальные чехи недовольно гудят. Но открыто никто не выступает в защиту худого.

Все-таки пришлось ему пойти вместе с нами.

— Так это ваша машина? — спрашивает лейтенант, показывая на легковушку с лозунгами.

Чех молча кивает головой.

— Доставайте тряпки, ведро, — говорит лейтенант, — и стирайте лозунги. Все до единого! . .

— Это не я писал. . . — выдрыгивается чех.

— Это не важно. Берите тряпки и мойте машину.

— Я не писал. . . Я стирать не буду!

Смотрю, Омар надувается, надувается. . . Лицо наливается кровью, глаза сузились в две щелчки. . . Срывает с плеча автомат и кидается на чеха:

— Я тебе сейчас, ишак упрямый! . . Делай, что тебе говорят!

Чех тут же:

— Пане! . . Пане!!

Вытащил из кармана платок и, всхлипывая, принялся драить свою тачку.

— Колик платите? *

— Чтиржи коруни. **

25 сентября

Омару и мне объявили перед строем благодарность.

Комбат рассказал, как мы обнаружили контру, разоблачили его и, "проявив понимание обстановки" и строгость, заставили стереть антисоветские лозунги, а потом доставили его в комендатуру. Тут комбат, конечно, присочинил от себя: в комендатуру мы чеха не водили. Но лейтенант Бра-кин проверял его документы, записал фамилию, а потом доложил начальству.

Чеха, наверно, и забрали в тот же день.

Омар ходит, выпятив грудь, и щурится от удовольствия.

Вот это сюрприз!

После обеда подкатил политрук и, как дед Мороз, вдруг начал раздавать нам подарки.

— Это вам, ребята, от немецких девушек!

Каждый получил по небольшой коробке.

В моей оказалось пять пачек сигарет, мыло, зеленые носки и пакет с носовыми платками (2 шт.). Еще было несколько открыток с фотографиями картин из Дрезденской галереи и письмо.

На одной открытке, как на иконе, женщина с ребенком на руках идет по облакам, слева — седой старик, справа — еще одна, присевшая на корточки женщина. Внизу — два задумавшихся крылатых ангелочка.

На другой открытке — девушка на коленях, и ангел стаскивает с нее покрывало. Стащил только наполовину.

На третьей — рыцарь в железных доспехах. На левой руке у него повязана красная тряпка.

— На тебя похож, Володька, — начал подкалывать Мишка. — Ну прямо копия! И даже красная повязка на руке. Это тебя сфотографировали, когда ты патрулировал по городу.

* — Колик платите? — Сколько платить?

** — Чтиржи коруни — Четыре кроны.

Я сходил, взял у Толика зеркальце — и правда, чем-то похож. Только у него волосы длинные. Ничего, приду домой — отращу себе еще не такие.

Я развернул письмо.

Оно было написано по-русски.

”Дорогой русский солдат!

Я и все граждане Германской Демократической Республики с восхищением следим . . .

. . . от имени Коммунистического Союза Молодежи Германской Демократической Республики и от моего лично желаю тебе всего-всего самого наилучшего в твоей службе и жизни.

Хочу тебя заверить, что мы спокойны и счастливы, зная, что на страже мира стоят такие доблестные солдаты, как ты!

С комсомольским приветом

Марта Штраух”.

У Мишки в посылке все то же самое, только платки другой расцветки. И письмо немного по-другому написано.

— А почему они свои фотокарточки нам не прислали? — сердится Мишка.

А все же обидно. От немок мы подарки получаем, а от своих, русских, ни одного даже письма не видели за все это время.

Все меняются платками и носками. Торгуются, как на толкучке. Мишка доторговался до того, что потерял носки. (А может, их кто-нибудь и стащил под шумок).

— Поймаю, глаз на жопу натяну! — грозитя Мишка. — Это мне от любимой девушки подарок, а вы, гады, воруете . . .

— Слушай, Мишка, а как зовут твою любимую девушку? — поинтересовался я.

Оказалось, что письмо он тоже потерял.

26 сентября.

Сегодня чуть не заработал пулю в лоб.

Утром в девять часов нас с Толиком вызвал к себе командир батальона. Через полчаса мы явились к нему и получили задание погрузить на машину снятое с чешских танков вооружение. Натянули рукавицы и принялись за погрузку.

Через некоторое время, смотрю, к забору подошел какой-то чех и, стараясь делать это незаметно, машет нам рукой.

Я говорю Толику:

— Пойди, узнай, что ему нужно.

Толик сбегал к чеху и вернулся назад.

— Ну что? — спрашиваю.

— Просит бензин. . . Предлагает бутылку вина.

— А сколько литров ему нужно?

— Да у него с собой какая-то пластмассовая канистра, — отвечает Толик.

— Ну, сходи, — говорю, — к ребятам, попроси.

— А если комбат? — спрашивает Толик.

— А если комбат подойдет, я скажу, что ты отлить побегал. Толик взял у чеха канистру и потопал за бензином.

Я остался один продолжать погрузку. Прошло двадцать минут, полчаса. . . сорок минут. . . а Толика все нет. "Ну, думаю, сейчас явится комбат проверять задание и накроет нас на месте преступления". Вдруг слышу мне кто-то сзади в затылок сопит. Оборачиваюсь — Толик. Рожа довольная, подмигивает хитро.

— Все в порядке? — спрашиваю.

— В полном порядке! — отвечает Толик и показывает осторожно из-за пазухи горлышко бутылки. Потом разжимает потный кулак и подбрасывает в воздух несколько кроен.

— А это откуда? — удивился я.

— Все оттуда же, — ухмыляется Толик. — Я несколько раз бегал, вместо одной канистры — целых пять притащил!

Мы по-быстрому закончили с погрузкой, доложили комбату и отправились в расположение своего взвода.

По дороге Толик и говорит:

— Слушай, Володя, давай возьмем чего-нибудь закусить и раздавим этот пузырь в каком-нибудь тихом месте!

— А как же ребята? — спрашиваю.

— Так у нас же еще кроны есть: и ребятам хватит.

Я-то Толика знаю: ему на одного полбутылки — чуть-чуть забалдеть. Он у себя на Чукотке с детства привык к неразбавленному спирту. Так что стакан вина для него то же самое, что для нас стакан пива, не больше.

— Ну, давай, — согласился я.

Купили мы две бутылки пива и белую булку и потопали дальше от чехов и наших патрулей распивать.

Вышли на дорогу, огляделись — никого нет вокруг. Сели под кустик, открыли пиво, потом вино: хлебнули, закусили.

Хорошо! Птицы разные свистят над головой, тепло, запах травы. . . Почти как у нас в Подмоскowie. Вот только на поле перед нами не рожь растет, а хмель.

Выпили еще по глотку, закурили, стали вспоминать гражданку и всякие интересные случаи с девчонками.

Сидим, болтаем, вокруг тишина. . .

И тут слышим, раздаются какие-то хлопки: мимо нас на полном ходу пронесется фургон "татра", и около моего уха как будто несколько ос, зудя, пролетели. Только когда за шиворот посыпались кусочки сбитой со ствола дерева коры, мы поняли, что в нас стреляют.

Пока выхватили пистолеты, пока выбегали на дорогу — машина скрылась. Я даже не заметил, откуда стреляли: из кабины или из окна фургона.

27 сентября

Приходили девчонки. Катя подарила мне свою фотокарточку.

Ночь была беспокойной. На соседних улицах кого-то ловили патрули. Приходилось без конца выскакивать из танка.

Хоть Катя и просила не провожать ее, я все же немного проводил: очень опасно.

28 сентября.

Сегодня присутствовал при разгроме контрреволюционной радиостанции.

Утром за мной заехала машина с офицером и тремя солдатами (один из них с миноискателем). Офицер передал мне приказ комбата принять участие в операции.

Я сел в машину, и мы поехали.

У офицера был список номеров домов и квартир, которые мы должны были обыскать.

Приехали по первому адресу: трехэтажный старый дом в центре города, покрытый красной черепицей. Прошли через подворотню во двор, спросили у старух, где находится нужная нам квартира.

Старухи ничего нам не ответили, только одна из них мотнула головой куда-то вверх, и они тут же все попрятались кто куда.

Поднялись по железной лестнице на второй этаж, прошли по галерее, и офицер постучал в одну из дверей. Нам долго никто не открывал, хотя я видел, что в квартире кто-то есть: на окне колыхалась занавеска и был слышен шорох шагов.

Офицер стал стучать в дверь кулаком. Наконец сна открылась. Вышел молодой парень лет восемнадцати.

Мы вошли в квартиру. Офицер приказал мне охранять вход: никого не впускать и не выпускать. Я остался с автоматом в коридоре, а офицер, двое солдат и минер начали обыск.

Сквозь открытые двери я видел, как офицер допрашивал молодого чеха и какую-то женщину, наверное, его мать, а наши ребята лазили по разным шкапам и сундукам.

Через час обыск был закончен. У чехов забрали большой (правда, старый) немецкий радиоприемник "Телефункен". Парень начал возмущаться и кричать на нашего офицера, мать дергала его за руку и плакала.

Офицер принялся им объяснять, что приемник он должен забрать, так как у нас имеются точные сведения, что парень выставляет этот приемник в окно, включает его на полную мощность и оглушает жителей дома всякими антисоветскими передачами из-за границы. Мы погрузили аппарат в машину и поехали дальше.

Через некоторое время отыскали нужный нам дом и подъезд.

В этот раз это было несложно: несколько новых домов в ряд, с четко написанными номерами.

Зашли в подъезд, позвонили.

Открыли нам довольно быстро, вышла девушка в халате. Испугалась, увидев нас, стала просить дать ей возможность переодеться. Офицер не разрешил. Из квартиры слышалась громкая музыка и мужские голоса. Офицер опять приказал мне охранять вход и быстро с остальными прошел вперед.

Я на всякий случай снял с плеча автомат. Но все обошлось: через пятнадцать минут ко мне начали выносить разные вещи.

Сначала солдат притащил большой магнитофон, потом другой — усилитель и коробки с кассетами, затем они вдвоем приволокли какой-то приемник (названия на нем не было, только четыре металлических цифры) и ящик с разной мелочью: лампы, шну-

ры, запчасти. Они ушли за остальным, а я остался охранять все это хозяйство. . .

Вдруг дверь одной из комнат резко открылась и в коридор выскочил минер.

Я подумал, что что-то случилось, но тот молча подбежал ко мне и сунул мне в руки маленький транзисторный приемник.

— Спрячь под гимнастерку. . . — шепнул он. — Потом в машине я его у тебя возьму. Не бойся — его не записали! У меня тут среди чехов есть знакомые, которые хорошо платят за эти вещи, так что будет на что поддать.

Я спрятал приемник, загнув потуже ремень и пронес его незаметно в машину. Там передал его Валерке (минеру).

Он обещал через пару дней подойти к моему танку с бутылкой. Посмотрим.

Родина — семья.

Приходили вечером девчонки. Кати с ними не было. Спросил, что с ней. Сказали, что заболела, лежит дома. Не мог от них добиться, чем заболела. Мнутя, ничего не говорят.

29 сентября.

Начали массовый прием в комсомол и в партию.

Было большое общее собрание, на котором выступал сначала какой-то гражданский из Москвы (я задержался в карауле и пропустил его выступление, но Мишка сказал, что ничего интересного), потом наш комсорг (он предложил всем, кто еще не в комсомоле, срочно подать заявления о приеме), а затем наш политрук.

— Это вам очень пригодится, ребята, — сказал политрук. — Особенно при поступлении в высшие учебные заведения, при устройстве на работу и вообще в жизни. Ведь многие из вас, после того, как мы покончим с контрреволюцией в Чехословакии, возвратятся домой, если, конечно, не пожелают остаться на почетную сверхсрочную службу в рядах нашей армии. . .

— На хрен нужно! — выкрикнул кто-то.

Политрук сделал вид, что ничего не слышит.

— . . . и перед вами встанет вопрос трудоустройства.

— Не хочу трудиться, а хочу жениться! — сказал громко Мишка.

Политрук сбился, но ничего не ответил.

— В общем, я хочу сказать вам, ребята, что куда бы вы ни пошли — на предприятие или в институт — в ваших документах, в вашей военно-учетной карточке будет указано: ". . . участник Интернациональной войны". А это вам очень поможет. Вы сможете получить хорошие должности. Это вам поможет получить квартиру вне очереди. А кто захочет, тому мы дадим направления и рекомендации для работы в органах госбезопасности. . .

— Ага! Если здесь не проломили голову, так там уж точно проломают, — пробурчал Генка. — С меня и Чехословакии на всю жизнь хватит.

— В общем, мы вам всегда поможем, — закончил свое выступление политрук.

Только что узнал, что с Катей.

Пришли девчонки, я их начал расспрашивать: как Катя себя чувствует, чем заболела. . .

Девчонки ничего не отвечают, молчат.

Тогда я попросил у них Катин адрес, сказал, что хочу поведать ее.

И тут одна из девчонок, Анжешка, говорит:

— Катю остригли. . .

— Дайте мне ее адрес! — закричал я на девчонок. — Где она живет? Ну, говорите!

— Мы сейчас возьмем автоматы, — сказал Мишка, — и поставим на уши всю улицу! Будем бить каждого, кто попадется на встречу!

Девчонки начали нас умолять не делать этого.

— Вы сделаете только хуже Кате и нам!

— И всем нашим родным!

— Не ходите! Нельзя!!

Гады!! Самое обидное, что ведь, действительно, ничего не сделаешь! Если девчонки и знают этих сволочей, то они все равно ни за что не скажут.

Мишка психует еще больше меня.

Пришлось нам с Толиком удерживать его.

30 сентября

ЧП — пропал Зимин. Никто даже не знает, где он был всю ночь. Он вообще какой-то маленький и неприметный. Спихватились, что он исчез, только под утро.

Я, между прочим, не знаю, как его зовут, хотя он из нашего взвода. Зимин — и все. Пару раз только и разговаривал с ним.

Куда он мог деться? Неужели дезертировал?

Непохоже на него.

Может быть, чеки убили? Тогда бы мы труп нашли.

Замполит рассказывал о случаях нападения на наших солдат. Зачитал списки погибших за последние дни: несколько офицеров и много рядовых. И я бы мог быть в этом списке, если бы из того фургона не промазали.

Получили приказ готовиться к операции.

Около танков остаются только часовые, а все остальные будут участвовать в облаве на чешских солдат-дезертиров.

Их называют здесь "лесниками". Они скрываются в лесах или деревнях. Все вооружены.

Поедем на открытых грузовых машинах.

Возвратились с облавы. Прочесали две деревни.

В первой взяли двух каких-то парней в гражданском (без оружия), во второй — никого не взяли.

В деревнях чистота, порядок, заборы красиво выкрашены. У всех каменные дома. У некоторых даже двухэтажные. Во дворах дорожки из каменных плиток.

По дорогам растут фруктовые деревья: сливы, яблони, абрикосы и разные другие. Подходи и ешь.

В дома я не заходил, как живут, не видел — стоял на улице в оцеплении.

Поболтали с деревенскими девчонками.

Они нас меньше боятся, чем раковниковские. Запросто подходили, спрашивали, зачем приехали к ним, кого ищем, смеялись.

Мужики тоже подходили.

Один угостил меня сигаретой, спросил, откуда я.

Я сказал.

“Москва! О, красне место! Красивый город . . . Только правительство там некрасивое”.

Я ничего не ответил.

Сознайтесь*.

Летос**.

Кам поедете?***

Кде бидли ваши родичи?****

1 октября

Нашелся Зимин. Вернее, его нашли.

Под утро, часов в пять, Роберт Гушвили (он из экипажа, в котором был Зимин) услышал под землей, около танка, подозрительное звяканье.

Роберт начал прислушиваться: звук шел из-под крышки канализационного люка, который находился шагах в трех от машины.

Роберт поднял тревогу.

Ребята окружили люк, быстро открыли его и обнаружили в нем грязного и мокрого Зимина.

Он, вероятно, сам пытался приподнять крышку.

Увидев ребят, Зимин вдруг вместо того, чтобы вылезти, страшно испугался, спрыгнул с лестницы вниз, сорвал с плеча автомат и наставил его на своих. Все, конечно, врассыпную.

Зимин начал стрелять. Выпустил в небо весь рожок.

Мы закричали ему, что мы свои, не чехи, чтобы он вылезал, не боялся. . .

Зимин ничего нам не ответил.

И тут Толик направился к люку.

— Слушай! — схватил его за руку Роберт. — У него же еще пистолет! Ты что, дурак, что ли?

* Сознайтесь — Познакомиться.

** Летос — В этом году.

*** Кам поедете? — Куда поедете?

**** Кде бидли ваши родичи? — Где живут ваши родители?

— Знаю, что пистолет, — сказал Толик.

В это время подъехала патрульная машина.

Офицер, узнав, в чем дело, приказал срочно вызвать санитарную машину, а Зимина пока не трогать.

Толик, не обращая внимания на офицера, подошел к люку, наклонился над ним и крикнул:

— Зимин. . . Слышишь? Это я, Толик. Ты узнаешь меня?

Зимин ничего не ответил, только громко захлюпала вода на дне колодца.

— Зимин, я сейчас к тебе спущусь! — крикнул Толик.

Зимин опять не подал голоса.

Толик сел на край люка, спустил в него ноги и не спеша полез вниз.

Через десять минут появился совершенно мокрый Зимин, а вслед за ним, похлопывая его дружески по спине, вылез и Толик.

Офицер, да и мы все тоже, на всякий случай, быстро спрятались за танк.

Но Зимин не обращал на нас никакого внимания. Словно он нас и не видел вовсе.

Он не переставая, вполголоса, бормотал, поглядывая исподлобья на Толика:

— Я знал . . . я знал, что они придут сегодня ночью . . . и убьют всех . . . всех нас убьют. . .

— Кто придет? — спокойно спрашивал его Толик.

— Они . . . десантники . . . ночные десантники . . .

— Какие десантники? Наши, что ли?

— Нет! Нет! — разозлился вдруг Зимин. — Специальные ночные десантники! Особый отряд! У них задание . . . — он огляделся вокруг себя (продолжая никого не замечать) и, смахивая с подбородка капли грязной воды, что-то зашептал Толику на ухо . . .

Тут подкатила санитарная машина, и нашего завернувшегося Зимина увезли в медсанбат.

Надо же, почти двое суток просидел в канализации без воды и без еды.

И без воздуха! Там же дышать невозможно!

Я потом спускался в этот люк за его автоматом, так еле выбрался назад — голова закружилась.

2 октября

Нам зачитали приказ, по которому мы с сегодняшнего дня будем получать по пять рублей сертификатами. Это — солдаты, а офицеры, как говорят, будут получать от 50 до 70 руб.

Здорово, конечно, но из-за этого урезали паек: вместо 70 гр. масла, как было до сих пор — 20.

Интересно, что мы сможем купить на эти сертификаты?

Спросил Мишку.

— Все в порядке, спасибо сертификатам и физзарядке! — ответил он, потирая ладони. — Главное, побольше их теперь раздобыть.

— Как побольше? Нам же только по пятерке каждому дадут, и все.

— Что-нибудь придумаем, — сказал Мишка.

А что тут придумаешь?

Это же не завод, где можно аванс на червонец больше выписать, а армия. Получил пятерку в зубы — и гуляй, как хочешь, целый месяц.

Черт! Тут скоро совсем свихнешься, за Зиминым покатишь, с этими немцами, чехами, марками, кронами и сертификатами. Скорей бы домой.

После обеда выдали сертификаты.

Каждый получил по пять бумажек, на которых напечатано: "один рубль".

Большинство, особенно деревенские и чурки из кишлаков, ни фига не могут понять в этих бумажках.

Они не верят, что сертификаты — те же деньги.

Я пробовал растолковать это Омару, но он решил, что я его подкальываю, и обиделся на меня:

— Я дэнег никогда не видел, думаешь, а? У моего отца, знаешь, сколько дэнег? Ба-альшой чемодан! На три машины хватит. . . А ты мне говоришь — дэньги!

— Ну, хорошо, — сказал я, — у тебя марки были в Германии?

— Ну, были.

— Ты на них себе покупал там . . . мыло, зубную пасту, и разные другие вещи?

— Покупал.

— Значит, марки — это тоже деньги?

— Тоже деньги. На них по-немецки написано. Это немецкие дэньги. А на кронах по-чехшски написано — это чехшские дэньги. . .

— Ну вот, молодец! А здесь, видишь, по-русски написано: "один рубль". Значит, это русские деньги. Понял?

— Что говоришь?! Я дэнег никогда не видел, думаешь, э? У моего отца, знаешь, сколько дэнег? . . . Ты думаешь, я глупый ишак? Ты сам глупый, как паровоз! Тебе сказали: сертификат! Сертификат, понял? А ты — дэньги!

Многие дарят эти сертификаты друг другу, как открытки.

Да еще делают на них надписи: "Другу Пете от Аурела. Аурел Чебан. Чехословакия, 1968 год. Помни нашу дружбу!"

Потом клеивают эти "открытки" в свои альбомы для фотокарточек и цветными карандашами рисуют вокруг них всякие рамочки.

К вечеру Мишка наменял двадцать с чем-то сертификатов.

Выменивал он их на авторучки, на жвачку, на мыло и даже на настоящие рубли.

На один рубль — три рубля сертификатами.

Где он умудрился откопать рубли, непонятно.

Думаем сбежать завтра в город.
Попробуем отовариться.

3 октября

Замполит рассказывал о случаях отравления чехами наших солдат.

Он зачитал фамилии нескольких ребят, которые умерли после того, как выпили поднесенное "добрыми" местными жителями пиво.

— Точно так же, — сказал замполит, — чехи могут подsunуть вам отравленную еду и сигареты, начиненные взрывчаткой.

Не разевайте рот на дармовое угощение, а то отправитесь на тот свет или, в лучшем случае, останетесь без глаз.

Будьте начеку!

Чехи больше к нам не подходят.

Не заговаривают, не спорят, ничего не доказывают: молча проходят мимо и сплевывают в нашу сторону.

Даже официантка в пивном баре не подошла к нам сегодня. Мы целый час просидели, поджидая ее, а она бегала рядом и делала вид, что не видит и не слышит, как мы зовем ее.

Ну, мы тоже разозлились, встали, плюнули по разу на пол бара и пошли в магазин.

Там взяли две бутылки водки и выпили на природе.

Пржинесте, просим вас, едно пльзеньске пиво.

Интересно слушать, как говорят чехи.

Подходит, например, мужик к столику и спрашивает:

— Просим вас, ето мисто волне?*

А ему отвечают:

— Не, е обсазено.**

Потом мы прошлись по городу.

Выпили по паре бутылок темного крепкого пива и закусили солеными палочками.

В общем-то, это не палочки, это я их так называю. Эти штуковины больше похожи на продолговатые белого цвета пирожные. Но только они соленые и сухие и продаются там, где торгуют пивом.

Хотели сходить в кино на американский фильм про ковбоев, но побоялись. Слишком много злобно настроенной молодежи собралось у кинотеатра.

Постояли, посмотрели картинки и ушли.

Мишка купил в газетном киоске журнал с голыми женщинами. Журнал на чешском языке, называется "Фотография". Голых там, в общем-то, немного, но есть несколько очень красивых. Приятно поразглядывать. Кайф, как от вина.

* — Простите, это место свободно?

** — Нет, занято.

Скорей бы домой!

Да. Когда сидели в баре, я слышал, как один чех за соседним столиком говорил другому (но по-русски и нарочно громко): "Псы! Бешеные коммунистические псы!"

4 октября

Меня временно прикрепили ординарцем к замполиту.

Мужик он неплохой, жить с ним можно. Зануда, правда, но нужно уметь его вовремя отвлекать от болтовни: задать, например, какой-нибудь вопрос позакovskyристей, и пока он будет размышлять над ним, заниматься своим делом.

Я уж было начал думать, что Валерка наколол меня, но он сегодня вдруг появился. Принес две бутылки вина, и мы посидели, выпили. Валерка сказал, что тот приемник, который я ему помог вытащить из квартиры, оказался сломанным и поэтому за него дали немного.

Показал мне несколько авторучек с раздевающимися бабами. Перевернешь авторучку — и купальник с бабы медленно-медленно сползает. Спросил, не найдутся ли среди наших ребят желающие купить несколько штук? Я пообещал узнать, купил себе одну ручку и Мишке тоже. Думаю, Мишка будет доволен.

Стоял на дежурстве, слушал весь вечер музыку.

Какой-то чех, в доме напротив нашей части, выставил на подоконник магнитофон и крутит один рок за другим.

Давно не слышал Элвиса Пресли. У меня дома есть несколько его записей: "Рок вокруг часов", "Рок в тюремной камере" и еще одна вещь, не знаю названия, но качество звучания плохое, а тут — чистота! Слышно, как каждая струна на гитаре звенит.

Скорей всего, с пластинки писал.

Как бы брат не разломал мой "Днепр". Наверное, таскает его сейчас по разным блядкам, все пленки изуродовал. Да пленки-то ладно, пусть рвет — я новые запишу. Только бы аппарат целым остался.

5 октября

Ездил сегодня весь день с замполитом.

Мотались без обеда по разным точкам: комендатура, штаб дивизии, часть, склад горючего и снова комендатура.

Катаюсь я сейчас на БТР-46. В нем обычно находятся механик-водитель, замполит, командир танка, химик-инструктор, заряжающий, санинструктор, а теперь и я в качестве стрелка-связиста. А вообще-то, я ни хрена не делаю. Хожу за замполитом, выслушиваю его ворчания, ожидаю у разных дверей и подсаживаю в БТР.

Около комендатуры наблюдал такую сцену.

К нашему часовому подошла молодая чешка (лет восемнадцать-девятнадцать) и что-то спросила его. Часовой ей ответил. Она

еще что-то спросила. Часовой принялся объяснять, улыбаться. . . Чешка смеется.

В это время на противоположной стороне улицы начала собираться толпа жителей, в основном молодые парни. Чешка наконец заметила, что за ней наблюдают, испугалась и попыталась скрыться. Но куда бы она ни сворачивала, тут же кто-нибудь выбегал из толпы и преграждал ей дорогу.

Так она довольно долго крутилась посреди улицы, пока вдруг не выскочили два парня лет двадцати и не принялись на глазах у всех избивать ее ногами. Причем, старались попасть ботинком непременно в живот.

Я посмотрел на замполита. Он нахмурился, но ничего не сказал. Я ждал, когда кто-нибудь отдаст приказ остановить парней. Но и этого никто не делал. Избиение продолжалось.

В это время мимо комендатуры проходила группа наших солдат (без офицера). Среди них был один грузин (а, может быть, армянин). Он увидел, что парни бьют девчонку, остановился, грозно задвигал бровями, что-то крикнул и ринулся на чехов.

Первого парня он вырубил почти сразу, со второго удара, а другого повалил на дорогу, оседлав и, ухватив за длинные волосы, начал колотить его носом об асфальт.

— Женщину бить! Я твою маму! . . . Петух драный! Я тебе покажу, как женщину бить! Пе-де-расты!!

— Советские бандиты!!! — захлебываясь кровью, орал под ним чех.

— Ты бандит! Ты женщину бьешь, я твою семью! . . . — кричал, продолжая колотить его, грузин.

— Оккупанты! Оккупанты! — заголосили чехи.

— Советские бандиты!

— Собаки!

— Убийцы!

Но тут из комендатуры выскочили два здоровенных ефрейтора с красными погонями на плечах, схватили грузина, закрутили ему за спину руки и уволокли его с собой.

Замполит вышел из машины и направился в комендатуру. Я за ним. Он зашел в кабинет коменданта, я остался в коридоре.

Слышу, в одной из комнат какая-то возня идет. Я подошел к двери, она была неплотно прикрыта, и заглянул в щелку. . .

Ну и били же они этого грузина!

Один ефрейтор сидел у него на плечах и выворачивал руки, а другой, ухая, что есть сил колотил его сапогом по ребрам.

Прямо, как фашисты в кино.

Когда возвращались в часть, я спросил замполита, что будет дальше с грузином.

— Отправят в Москву, — пробурчал он и отвернулся.

6 октября

Утром было политзанятие, на котором замполит рассказывал о венерических болезнях.

Он сказал, что в ФРГ специально заражают чешек триппером и сифилисом, чтобы они заражали наших солдат.

— Так что никаких контактов с чешками! — предупредил замполит.

— Что ж нам, онанизмом заниматься, что ли? — спросил Мишка. — Я не хочу, врачи не рекомендуют — вредно для здоровья.

— Почему онанизмом? . . — засопел замполит.

— Ну, вы же сказали: никаких контактов с бабами.

— А ты бы Га-лов, — не выдержал замполит, — вместо того, чтобы о бабах все время думать, думал бы о защите социализма! Ты для этого, между прочим, и призван в армию!

— А я думаю о защите социализма, — продолжает гнуть свое Мишка, — но я же живой человек, товарищ замполит. . .

— Вот если ты хочешь и дальше оставаться живым человеком, то прими к сведению мой совет, я тебе ведь только добра желаю: обходи ты этих чешек за три километра. Иначе, не успеешь охнуть, как у тебя сначала нос отвалится, затем тот дурак промеж ног, который не дает тебе покоя. . .

Все захохотали.

. . . а потом и сам весь рассыплешься, как трухлявый пенек.

— Да, уже рассыпаюсь, — пробурчал Мишка.

— Не веришь? — спросил замполит. — Так я тебе к следующему занятию приготовлю одну медицинскую брошюрку. Там как раз о всех этих болезнях подробно сказано. Тебе очень не мешает почитать. . .

— Читал я, — махнул рукой Мишка.

— . . . а тот на баб ты уже научился забираться, а жизни еще ни хрена не знаешь! Вот окончишь службу, приедешь домой — там сколько угодно будет хороших наших девушек, выбирай любую и прыгай на ней сколько тебе захочется, хоть вообще не слезай. . .

Все развеселились.

— Эх, и попрыгаем, товарищ капитан! — закричал, шлепая кулаком по ладони, Роберт.

— . . . Никто тебе слова не скажет. А здесь — армия, а не гражданка, и если командование приказывает не вступать в контакт с чешками, значит надо без всяких рассуждений выполнять приказ. Понятно тебе, Га-лов?

— Понятно. . . — ответил Мишка.

Неужели Катя была чем-то заражена? Не может быть! Чепуха! Ведь ее остригли наголо свои же чехи.

Но я же не видел ее остриженной. Может быть, ее никто и не стриг вовсе. Может, тут совсем другое. Что-то очень подозрительно она вдруг исчезла.

Я еще в первый день обратил внимание, что у нее на шее какое-то странное красное пятно. Надо непременно почитать что-нибудь о сифилисе. Хорошо, что я ничего с ней не имел. Но я целовался. А сифилис передается, кажется, и при поцелуях.

А вдруг я. . . Ну, на хрен! Лучше об этом и не думать. Надо

завтра же разузнать о первых признаках сифилиса. И триппера.

Все — хватит.
Пора спать.

7 октября

Утром поговорил с Мишкой.

Он спросил:

— А что, подцепил?

— Не знаю, — сказал я.

— А чего же ты тогда паникуешь?

— А вдруг?

— Вот когда подцепишь, тогда и будет вдруг. Наслушался замполита. Не бери в голову! И вообще — это дело случая: если уж не повезет, то и на родной сестре триппер поймает.

— Слушай, — спросил я, — а ты свою поймал?

— Ну, а как же. Что же еще с ней делать? Не о защите же социализма рассуждать.

— Ну и как?

— Что — как? Как поймал, что ли?

— Да нет. . . Как у тебя?

— А, все в порядке — спасибо физзарядке.

Может быть, сходить в медсанбат?

Часов в десять к части подъехал какой-то чех, лет сорока, на мотороллере.

Мне дан строгий приказ: не разрешать останавливаться около части никаким посторонним машинам. Я и выполняю — навожу в глаза шоферам прожектор и заставляю их убираться.

Приказал проезжать и этому.

Он не двигается. Зажмурился, сидит и чего-то ждет.

— Что тебе нужно? — спрашиваю.

— Мне нужен ваш начальник.

— Зачем?

— Я должен кое-что сказать ему.

— Скажи мне теперь, — говорю, — я доложу кому положено.

— Я должен говорить только с начальником, потому что у меня очень важное дело.

''Прогнать его, что ли? — подумал я. — Или пойти, на всякий случай спросить?''

— Ну, хорошо, — сказал я чеху, — подожди здесь, я сейчас узнаю. И не вздумай самовольно пройти на территорию части, буду стрелять!

— Нет, нет, нет! — испуганно замахал руками чех.

Я пошел к ''летучке'', где спал в фургоне замполит, разбудил его и доложил, что приехал какой-то чех и хочет сообщить что-то очень важное.

— Какой еще чех? — начал бурчать со сна замполит.

— Я не знаю, — говорю, — приехал на мотороллере. . .

— А, на мотороллере, — обрадовался замполит. — Давай, давай, веди его сюда.

Я сходил за чехом, впустил его в фургон, прикрыл дверь и сел на ступеньку покурить.

Слышал все, что чех говорил замполиту.

Он долго рассказывал о разных раковниковских жителях: какое у них настроение, о чем они говорят, как относятся к Красной Армии, что собираются делать и т.д. и т.п.

Потом он начал перечислять фамилии контры и их адреса.

Замполит попросил записать все это на бумаге.

Чех отказался:

— Лучше я вам буду диктовать, а вы сами запишите, своей рукой. Так мне спокойней.

На прощание замполит предложил выпить по стаканчику.

Чех сказал, что у него язва желудка. Очень просил не делать ему ни с кем очных ставок, пожелал спокойной ночи и ушел.

Как же он разъезжает по городу после комендантского часа? Пропуск у него, что ли, имеется? Не боится. Ведь и наши могут случайно подстрелить, и свои из-за угла по башке трахнут.

8 октября

После завтрака куда-то поедем.

Замполит бегает, суетится, о чем-то толкует с офицерами. Вероятно, предстоит серьезная операция.

Пришли Мишка с Генкой. Сказали, что их вызвал комбат, а для чего они не знают. Я думаю, они поедут с нами. Замполит говорил, что ему необходим взвод солдат.

Через пятнадцать минут выезжаем.

Были на кладбище. За ограду, правда, не заходили. Замполит нашел по бумажке группу густых кустов, осмотрел их снаружи, потом позвал минера и приказал ему внимательно все обследовать. Минер взял свой аппарат и залез в кусты.

Мы закурили.

— Чего ищем, товарищ замполит? — спросил Генка.

Замполит соорудил серьезную рожу и ничего не ответил.

— Мину, наверное, — предположил кто-то.

— А чего здесь взрывать? — удивился Мишка. — Ни одного стратегического объекта рядом. Одни мертвецы.

Через некоторое время вылез из кустов минер, отер рукавом пот со лба и принялся что-то объяснять замполиту. Тот выслушал его, позвал трех солдат, приказал им взять в машине лопаты и копать там, где покажет минер.

Всем остальным велели держаться от кустов подальше.

— Может быть, и мина, — решил Мишка. — Только на хрена этим контрикам понадобилось кладбище взрывать? Что они, совсем уже с горя завернулись, что ли?

Мы снова закурили.

Через полчаса опять появился минер и позвал замполита. Я, как ординарец, сунулся за ним.

В центре зарослей была как бы небольшая полянка, которую наши ребята разрыли метра на полтора вглубь. Я заглянул в

яму и увидел на дне ее здоровенный брезентовый сверток.

— Все нормально? — спросил замполит у минера.

— Да, я проверил.

— Ну, разворачивай.

Минер спрыгнул в яму и развернул брезент.

В нем лежало штук пятнадцать новеньких автоматов, два ручных пулемета, несколько гранат и порядочное количество патронов. Замполит позвал офицера с фотоаппаратом, и тот несколько раз сфотографировал яму с разных сторон. Потом солдаты погрузили все оружие в машину, и мы вернулись в часть.

— А чье это оружие мы сегодня откопали, товарищ замполит? — спросил я после ужина.

— Как чье? Контрреволюционное, конечно.

— Это я понимаю, что контрреволюционное, а чье производство? На наше что-то не похоже.

— Западногерманское производство, — ответил замполит. Потом немного подумал и добавил: и американское.

Да, интересные штуковины. Никогда раньше не приходилось видеть иностранного оружия. У немцев все наше, у чехов тоже.

9 октября

Получили приказ подготовить всю технику к маршу.

Выступаем завтра утром.

Куда отправляемся — неизвестно, но то, что не в Германию — это точно. Я спрашивал у замполита.

Идет дождь.

Все мокрые и грязные по уши, возятся около своих машин.

Я уже дважды бегал по приказу замполита в комендатуру, относил разные пакеты.

Здорово продрог.

Спросил в городе у одной старушки (у молодежи ведь бесполезно спрашивать):

— Мамаша, где тут поблизости пивной бар?

— Неразумим.

— Пиво, пиво, — говорю.

Наконец, поняла:

— Идете пршимо тоито улици а пак загнете направо*.

С одной стороны, вроде бы все понятно, а с другой — ни фига.

Но пивной бар я все-таки нашел.

А в общем, у чехов язык нетрудный.

Много слов похожих на наши.

Но вот как раз с этими похожими можно иногда здорово запутаться.

* — Идите прямо по этой улице, а потом сверните направо.

Мы несколько раз заходили в булочные и покупали белый хлеб (чтобы закусить), и меня всегда удивляло, что чехи берут хлеб и с довольным видом говорят: "Черствый".

Однажды я взял мягкий, еще горячий батон и, когда расплачивался, не удержался и куснул его.

За мной стоял старик, он увидел это, улыбнулся и сказал: — Черствый.

— Нет, — сказал я, — свежий.

— Черствый, — повторил он.

— Что ты, отец? — удивился я. — Свежий. Мягкий, как пух! — и для убедительности несколько раз сжал пальцами батон.

— Черствый, черствый, — закивал головой старик.

Тут подошла женщина и объяснила мне, в чем дело.

Оказывается, "черствый" по-чешски означает — "свежий".

Да, здорово я продрог, до сих пор колотит. Эх, жаль Мишки рядом нет, сейчас бы непременно что-нибудь сообразили. У меня сертификаты все кончились, а у него наверняка кое-что осталось, я знаю. Может быть, удастся вырваться на часок.

Опять вызывает замполит. Попробую отпроситься. Скажу, что нужно кое-что взять из личных вещей у своих ребят.

Не отпустил, черт уса́тый!

Приходил прощаться Валера.

Он тоже уезжает завтра из Раковника. Его часть направляет куда-то под Прагу. Принес двухсотграммовый пузырек со спиртом. Разлили по кружкам, разбавили водой и выпили за встречу в Москве.

Валерка сам из Одессы, но собирается поступать в Московский институт иностранных языков.

На прощание он подарил мне свою зажигалку-пистолет. Безотказная машина — "Мадэ ин Аустрия"! По виду от настоящего не отличишь, а в рукоятку можно вставить десять сигарет.

Я тоже сделал ему подарок: отдал свой нож, который выменял у одного немца в Германии.

Нож складной со стопором, чтобы закрыть лезвие, надо нажать на выступающую из рукоятки металлическую планку. На лезвии написано: "Золинген" и выгравирована морда пумы.

Валерка собрался уже уходить, как вдруг вспомнил:

— Да, на-ка полюбу́йся, ты такого еще, наверно, не видел, — и достает из-за голенища порнографический журнал.

Такого я, действительно, не видел!

В школу, правда, ребята приносили разные фотографии, но на них ничего особенного не было: просто лежит кто-то на ком-то, и все дела. А тут в цвете, разные позы: сверху, снизу, сбоку, сзади. . . И вообще, черт знает как!

Все начинается в этом журнале, как в самом обыкновенном, непорнографическом.

Какой-то старый городок, площадь с фонтаном, около которого встречается компания, две девушки и парень. Потом они,

улыбаясь, идут по улице, входят в квартиру. . . Круглый столик с множеством разных бутылок. Они пьют, сидя на широком диване. . . Девушки начинают раздевать парня. Затем раздеваются сами. . .

И тут уже начинается порнография втроем.

Я аж весь вспотел, пока рассматривал. Даже не заметил, как подошел замполит.

— Чем вы тут занимаетесь?

— Ничем, товарищ замполит. . . перекуриваем, — я захопнул журнал и перевернул его, чтобы он не заметил, что мы такое разглядываем, — а сзади две голые задницы во всю обложку! . . . Назад перевернуть тоже нельзя: там такой снимочек, что глаза на лоб лезут. Свернул быстро журнал в трубку, стою, постукиваю им по колену.

— Что это у тебя? Ну-ка, покажи. . .

— Просто. . . обыкновенный журнал, товарищ замполит.

— Что за журнал? Дай-ка сюда.

— Это не мой, товарищ замполит. Это вот товарища. . . Я взял только посмотреть, — сунул журнал Валерке, шепчу: — Смажьвайся!

— Ну, я пошел. . . — забормотал Валерка. — До свиданья.

— Стой! — закричал замполит.

Валерка остановился.

Я ему моргаю, втихаря рукой показываю: "Давай, давай, быстрее на ход!"

— Дай мне журнал.

— Не могу, товарищ капитан. . . — пятится от него Валерка. — Я. . . Я опаздываю. — Повернулся и как рванет между машинами.

— Остановись, солдат! — заорал замполит. — Стой, я тебе приказываю!

Но Валерки и след простыл.

Молодец!

— Кто это такой? — набросился на меня замполит. — Как фамилия? Из какой части?

— А я не знаю, товарищ замполит.

— Как не знаешь? Ты же только что сам сказал, что это твой товарищ!

— Ну, сказал. . . Мы же здесь все товарищи. А как его зовут, я не знаю. Проходил мимо, попросил закурить у меня, я ему дал. . . Разговорились, стали журнал смотреть. . .

— Ты мне мозги не дури! — распахивался замполит. — Что за журнал? Антисоветский?!

— Да что вы, товарищ замполит!

— Не ври! Я видел! Что за журнал? Отвечай!

Валерка был уже наверняка далеко, и я решил сказать:

— Порнографический, товарищ замполит.

Он даже сразу и не врубился.

— Чего, чего?!

— Порнографический.

— Тьфу ты! . . . Тьфу! — расплевался замполит. — Распусти-

лись, понимаешь, дальше некуда! Как только не противно всякую дрянь в руки брать. . . — И пошел нудеть.

Пока, Валерка! Когда теперь снова увидимся!

10 октября. 8 час.

Скоро выступаем.

Повезут на БТРе с замполитом. Наверно, будем плестись позади колонны, глотать пыль. Как там ребята, Мишка с Толиком?

Спросил у замполита, куда направляемся. Он ничего не ответил. Сделал вид, что ужасно занят своими мыслями.

Ну и хрен с ним.

Прощай, Раковник! Надоел ты хуже Германии!

Прощай, Катя!

Будем теперь жить в лесу. Наша новая задача — охранять штаб дивизии. Разбили лагерь на поляне, поставили палатки, поужинали. В общем, начинаем обживать на новом месте.

Когда ехали из Раковника в лес, сделали остановку около небольшого аэродрома.

Встретился там с болгарскими солдатами.

У них приказ: не подпускать чехов даже на расстояние выстрела к самолетам.

Покурили, поговорили о службе, о дембеле, о доме. . .

Я скоро на всех языках научусь говорить: по-немецки — понимаю, по-чешски и словацки — тоже, грузинов запросто могу послать к ихней матери, а с болгарам вообще, как с русскими, говорю.

Да, еще такая история.

Подъезжаем мы уже к лесу и вдруг — что за черт! Посреди поля стоит сколоченная из бревен виселица, а на ней болтаются трое солдат в русской форме с плакатами на груди.

У меня мурашки по спине поползли!

— Сволочи! — начал ругаться замполит. — Негодяи! Ты подумай, что делают!

Я попросил у него бинокль и направил его на виселицу:

"Смерть советским оккупантам!" было написано на плакатах.

Чехи вырезали из фанеры силуэты, одели их в нашу форму и подвесили на веревках.

А издали кажется, что прямо настоящие трупы раскачиваются на перекладине.

Вдруг танк, который шел последним в колонне, свернул с дороги и понесся по полю на виселицу.

Когда он на полном ходу наскочил на нее, — бревна, как щепки, полетели в разные стороны.

— Отлично! — пробурчал замполит.

После этого, когда проезжали мимо какого-то большого фруктового сада, уже несколько наших танков завернули в него.

От всего сада только три ободранных деревца осталось.

Деревья, конечно, не виноваты, но и наших ребят тоже можно понять.

11 октября.

Замполит сегодня объявил, что "в связи с обострением международной обстановки и происками реакции, советские войска, по просьбе чешского народа, введены в Чехословакию сроком на двадцать лет".

Ага! Слышал я просьбы чешского народа. . . Но вот только совсем другие!

Может быть, нас теперь демобилизуют наконец.

Ходит слух, что скоро (некоторые говорят, что будто даже на следующей неделе) нам разрешат писать письма домой.

Хорошо бы!

Как там родители?

Столько времени никаких известий. В последнем письме брата, которое я получил еще в Германии, говорилось о болезни матери. Что за болезнь, я не понял — брат писал только, что она плохо себя чувствует, находится на больничном и лежит дома — но, думаю, что-то с ногами.

Она давно уже с ними мучается.

Не знаю, как называется эта болезнь — раздуваются вены на ногах. Скверная штука. Ноги словно синими веревками крест-накрест перетянуты. Столько лет ходит по врачам, и никакого толку, ничем они не могут ей помочь. Тоже мне — медицина XX века.

Но главное, это работа.

Очень тяжелая у нее для женщины профессия. Прессовщица на фабрике. По восемь часов каждый день на ногах около горячего пресса, да еще таскает тяжелые металлические формы.

Я ходил к ней на фабрику, видел. Зверская работа.

Мужики на одной только водке и держатся — бегают по очереди в магазин за бутылками. А вот на чем женщины держатся — непонятно. Конечно, тоже иногда поддают, не без этого. Мужики на троих соображают бутылку, а они на пятерых или шестерых.

А во всем остальном они с мужиками на равных. Так же пахнут, те же формы ворочают, тот же план дают — все одинаково.

Сколько раз мать собиралась переходить на другую работу — на какую-нибудь более легкую — но так и не решилась.

А все из-за нас с братом.

"Где я еще столько заработаю?" — говорила она. — Последний год похожу, а потом уж обязательно переведусь на сидячую должность". Вот и слегла.

А отец инвалид войны — на его пенсию не проживешь.

12 октября.

Приходили чехи.

Явились жаловаться на развороченные сады, огороды и еще на какие-то дела. Их не приняли. Покрутились с час и ушли ни с чем.

Я разговаривал с одним из этих чехов, и он рассказал мне, что в Праге один молодой парень вышел на центральную площадь, облил себя бензином и поджег в знак протеста против оккупации Чехословакии нашими войсками.

Я не поверил чеху.

Что-то невероятное: если бы застрелился — еще понятно, а вот облить себя бензином и заживо гореть! . . .

— Не веришь? Спроси у своих начальников, они знают, — сказал чех.

Я спросил у замполита.

— Откуда тебе это известно?

— Да вот чехи рассказывали.

— Какие чехи?

— Которые сегодня приходили к нам. С жалобами.

— А . . . Ну, ты их больше слушай.

— А все-таки правда это или нет, товарищ замполит? — нажал я на него.

— Что правда? — разозлился замполит. — Что какой-то сумасшедший поджег сам себя? Он из больницы сбежал. . . Лечился от белой горячки. Алкоголик! А в белой горячке еще не то можно натворить, когда всякие чертики перед глазами прыгают. Я-то знаю! Решил, наверное, чертей поджечь, поджег сам себя. Вот и вся история. А контрреволюционеры подхватили и теперь раздувают, делают из этого сумасшедшего какого-то героя!

Ну, и история.

Что-то я ни разу не слышал, чтобы у нас алкаши обливали себя бензином и поджигали.

Правда, иногда говорят: "Сгорел от водки". Но это бывает тогда, когда человек долго пьет (особенно на севере, где хлещут неразбавленный спирт), переполняется алкоголем и в один прекрасный момент вдруг весь чернеет, изо рта у него появляется синее пламя, и он сгорает. Я сам этого не видел, но Толик (он с Чукотки) рассказывал, что у него таким образом брат сгорел после того, как месяц подряд пьянствовал.

Но ведь это совсем другое дело, он же себя не сам поджег.

И не в знак какого-то протеста.

Только вспомнил Толика, как он сам появился. Вместе с ним пришел и Мишка. Принесли кое-что выпить.

К черту писанину!

Притащили они бутылку самогонки. Говорят, по-местному она называется — паленка. Помянули "Одессу". Потом всех ребят, которые погибли в Чехословакии. . .

Нагрянул замполит:

— Чем занимаетесь?

Надоел уже с этим "чем занимаетесь"! Прекрасно видит, что у нас бутылка и кружки в руках, нет, обязательно надо задать свой дурацкий вопрос: "Чем занимаетесь?"

Хрен усатый!

— Поминаем наших ребят, товарищ замполит, — сказал Мишка и неспеша глотнул из своей кружки.

— Отбой уже был, — буркнул замполит, — ложитесь спать. — И потопал к своей "летучке", подсвечивая под ноги фонариком.

А насчет того, что поддаем, ничего не сказал.

Только позже, когда я ему принес, как обычно, котелок горячего чаю на ночь, он спросил:

— Чего пили?

— Вино, товарищ замполит.

— А где взяли?

А я откуда знаю, где Толик с Мишкой раздобыли эту самую самогонку-паленку?

— Мы еще в Раковнике купили, — соврал я на всякий пожарный случай.

— С рук?

— Нет. . . в магазине.

— Смотрите, — довольно добродушно заметил замполит, — у населения ничего не покупайте и не берите. . . А то еще подсунут какой-нибудь отравы.

— Ну, конечно, товарищ замполит, — сказал я.

— И поменьше пей: заснешь еще под кустом — "лесники" тебя в миг пристукнут. И будут тогда твои друзья поминать тебя вместе с "Одессой". Так что поменьше закладывай за воротник, я тебе это по-дружески советую.

Тоже мне — друг-советчик!

Сам каждый вечер запирается в "летучке", выпивает сначала один стакан водки, выхлебывает кружку чаю, потом — второй стакан, еще кружку чаю, затем приканчивает бутылку и заваливается дрыхнуть. А я его охраняю.

Позвал бы меня хоть раз. По-дружески.

По вечерам из Раковника доносится музыка. Чехи празднуют наш уход из города. Врубают на полную катушку магнитофоны и приемники, крутят музыку, песни, последние известия и разные "голоса". Вот сейчас как раз кто-то завел нашу "Катюшу".

Давно не слышал.

Забудешься на минуту, и кажется, что ты у себя дома. Где-нибудь на Оке. Сидишь с удочками на берегу, за спиной тихо-тихо шелестит лес, а с другого берега доносится музыка. То в доме отдыха крутят магнитофон на танцплощадке. . .

Вылез Мишка.

Попросил сигарету, прикурил, спрашивает:

— Ты чего не спишь?

Вот молодец.

— Я-то в карауле, а вот ты чего не спишь?

— Да так. . .

— С похмелья, что ли?

— С какого похмелья? Всего по стакану-то выпили. . . Просто Яну вспомнил. Вот бы ее сейчас сюда! В палатку, на матрац! . . . Эх, красота! А то там в Раковнике: в танке, согнувшись — никакого кайфа. . .

Он выбросил недокуренную сигарету и ушел спать.

13 октября.

Да, хреново начался сегодняшний день.

С утра комбат ошарашил всех страшной новостью: болгар, которые охраняли чешский аэродром (а их было двадцать человек — два отделения) всех до единого кто-то вырезал этой ночью.

Кто это был, ясно: контра. Но следов никаких не осталось. Действовали ножами: сначала убили караульных, а потом тех, кто спал в казарме.

Три дня назад мы с ними мечтали о дембеле.

Пошел после завтрака в лес оправиться. Пошел один, не просить же ребят, черт возьми, охранять меня.

Отошел всего шагов на пятьдесят от лагеря, присел в кустах посреди небольшой полянки (чтобы все вокруг видно было), вытащил пистолет, думаю. . .

И вдруг справа от меня что-то вроде топнуло, а потом громко зашуршало!

Я чуть было не уселся в собственную кучу.

Оперся левой рукой о землю, а правую с пистолетом быстро вытянул в сторону шороха. . . и встретился с косыми глазами большого серого зайца.

Он сидел метрах в четырех и, подняв уши, спокойно разглядывал меня.

Я по инерции три раза подряд нажал на курок.

После первого же выстрела заяц подпрыгнул (я подумал: "сейчас ускачет. . .") и упал в траву, подрагивая быстрой мелкой дрожью. А я еще дважды выстрелил по нему, матерясь вслух:

— На тебе, сука! . . . Мудак серый!!

Потом опомнился, вскочил, быстро застегнул штаны, схватил еще дрожащего зайца за ноги и побежал в глубь леса.

Я не хотел, чтобы ребята увидели меня с этим дурацким косым. Начнутся всякие шуточки, подкальвания — на хрен нужно.

Сделал крюк по лесу, начал с другой стороны подходить к лагерю. Вспомнил, что у меня в руках заяц — размахнулся и закинул его в кусты, потом передумал: вернулся назад, снял с себя гимнастерку, завернул в нее тушку и, как ни в чем не бывало, вышел из лесу.

Замполит, увидев зайца, сразу засуетился:

— Так, так, так! Ты разделывать умеешь?

— Не умею, товарищ замполит.

— Не умею, не умею. . . — заворчал он. — Ничего вы не умеете! Мы в ваши годы и охотились, и рыбу динамитом глушили. . . И вообще! — Он порывлся в карманах, вытащил перочинный нож и протянул его мне: — На, пойди быстро наточи на камне. . . — Но тут же передумал, махнул рукой и побежал точить сам.

Ну, деятель!

Как будто это не я, а он подстрелил зайца!

Потом я помог ему снять шкуру, отнес подальше и выкинул вместе с потрохами, а когда вернулся, заяц уже был вымыт и лежал чистенький на листе "Комсомольской правды".

— Теперь иди в лес, — почему-то шепотом заговорил вдруг замполит, — разведи костерчик, срежь две рогатины, воткни по обе стороны огня, насади зайца на толстый прут. . . Но только протыкай вдоль, а не поперек! Понял? Потом. . .

В общем, зажарил я того зайца, принес замполиту, и мы его слопали.

Лопали, конечно, не вместе, а отдельно.

Замполит отрезал небольшой кусок, завернул его в бумагу и по-быстрому выставил меня вместе с ним из "летучки".

Это чтобы я не мешал ему запивать зайца водочкой.

Зануда жадная!

Я разыскал Мишку с Толиком и угостил их зайчатиной.

— Подстрелил! — обрадовался Мишка. — И он, говоришь, не боялся тебя?

— Нет, стоял и смотрел на меня, как в зоопарке.

— А я двух фазанов вчера видел, — сообщил Толик.

— Вот это здорово! — подпрыгнул Мишка. — Ребята, завтра берем автоматы и идем на охоту!

Договорились, что завтра сразу после завтрака сматываемся вчетвером в лес.

Мишка предложил взять с собой Генку как своего парня.

Вечером замполит соизволил похвалить меня.

Я притащил ему котелок с чаем и собирался было уйти, но он меня остановил:

— Ну, как тебе заяц? Понравился?

Спрашивает так, словно это он меня угостил зайцем собственного приготовления.

— Ничего был заяц, товарищ замполит.

— Ничего. . . — сморщился замполит. — Это ты ничего. . . не понимаешь, понимаешь, в зайчатине. Хорош был косой! Очень хорош! Жирный дьявол! Нагулял за лето. . . А какой нежный, а?

— Очень нежный, товарищ замполит, — согласился я.

Замполит повертел кружку в руках.

— Ну, а что. . . Еще не сможешь раздобыть одного такого? — спросил он.

"Ага?" — подумал я.

— Это можно, товарищ замполит.

— Правда? — заерзал он на своем матрасе.

— Можно и еще кое-что раздобыть, товарищ замполит, — подкинул я ему приманку.

— А что? Что еще?

— Ну, например, можно и фазана подстрелить, если хотите. Говорят, вкусная птица.

— Фазана! — у замполита загорелись глаза. — Что ты говоришь?! Здесь есть фазаны?

— Полно. Вот такие здоровенные! Я сам сегодня штук шесть видел. Бродят по поляне, как куры домашние, — соврал я не моргнув глазом.

— Фазан! Это же царская птица! — Замполит проглотил слюну. — Ну что ж, постарайся завтра, а?

— Постараюсь, товарищ замполит. Вот только. . .

— Что?

— Одному опасно. На "лесников" можно нарваться и вообще. . .

— Это да. Да. . . — замполит призадумался.

— Нужно идти группой, товарищ замполит, — сказал я. — Я возьму с собой пару человек.

— Хм-м. . . — задвигал он бровями. — Ну ладно, бери кого хочешь, я все улажу. Когда пойдете?

— Сразу после завтрака, товарищ замполит.

— Хорошо. Запишешь мне на бумажку фамилии тех, кого возьмешь с собой.

— Слушаюсь! — выкрикнул я.

— И поаккуратней там. . . Зайдите подальше в лес, чтобы выстрелы не были слышны. Понял?

— Так точно, товарищ замполит!

— Будьте осторожны! Если заметите что-нибудь подозрительное — сразу же в лагерь.

Ну все, он у меня на крючке, черт усатый!

Черт усатый-полосатый!

Завтра на охоту!

А ведь я на охоте ни разу не бывал. Странно как-то получается: в людей мне пришлось уже стрелять, а вот в зверя сегодня в первый раз. Да и то в зайца.

14 октября

Только что приходил председатель какого-то чешского сельскохозяйственного кооператива. Просил у нашего командования разрешить поднять в воздух несколько самолетов. Говорил, что нужно что-то опрыскать химикатами. Что именно, я не понял.

Наши не разрешили.

Дал замполиту список на трех человек. Отправляемся на охоту. Мишка сбегал к повару и притащил буханку хлеба и полпачки соли.

— Не могу есть мясо без соли, — заявил он.

Еще никого не подстрелили, а он уже мясо с солью есть собирает.

Вернулись с охоты. Замполит доволен до жопы. А мы еще больше. Но лучше по порядку.

Мы зашли подалее в лес, разделились по-двое, чтобы не шуметь, и стали осторожно прочесывать кусты. Вдруг заяц или фазан выскочит.

Я шел в паре с Мишкой. Толик с Генкой двигались метрах в двадцати правее. Мы договорились в сторону друг друга не стрелять, даже если носорог появится.

Пару раз мы с Мишкой наткнулись на зайцев.

Правда, точно нельзя сказать, что это были именно зайцы, но что-то молнией проносилось перед нами в траве и мелькало между стволов. Я один раз собрался уже было выстрелить на звук по кустам, но в этот момент Мишка дернул меня за руку.

— Смотри! — зашептал он. — Это, наверно, и есть эти самые фазаны!

Я посмотрел в ту сторону, куда он указывал, и увидел на ветке дерева двух больших птиц. Одна, та, которая поменьше, была серого цвета с маленькой гладкой головкой. Другая же — крупная, черная, с радужными переливами на крыльях и с красивым красным хохлом на макушке. Загляденье, а не птица!

Я осторожно передернул затвор, поднял автомат и начал целиться. . . Но Мишка схватил меня за плечо.

— Дай — я! — умоляюще зашептал он. — Ну, дай! . . . Ты уже подстрелил зайца. Дай мне теперь. . . Я же первый заметил!

Чего для друга не сделаешь.

Мишка торопливо прицелился и дал по фазанам короткую очередь. Птица с хохлом взмахнула крыльями и исчезла, а вторая, роняя пух, полетела камнем на землю.

Сразу же прибежали Толик с Генкой.

— Вы чего?

— Кого?!

— Подстрелили?! Да?!

Мишка прыгнул в кусты, покопался там и наконец, торжествуя, поднял над головой птицу.

— Фазан! — обрадовался Толик.

— Разводи костер, — важным голосом приказал Мишка, — сейчас мы его зажарим!

Толик побежал собирать хворост.

— Ребята, а как же замполит? — спросил я.

— Замполит перебьется, — ответил Мишка, с наслаждением разглядывая со всех сторон свою добычу.

— Он, конечно, перебьется, — сказал я, — но мы уже так запросто ходить на охоту не сможем. Ёня?

— Это точно, — подтвердил Генка.

— Ребята, давайте сожрем его! — начал упрашивать Мишка.

— А замполиту мы еще подстрелим.

Я не стал спорить.

Мне ведь тоже хотелось попробовать фазана.

— Но только потом надо во что бы то ни стало добыть хотя бы еще одного. Хорошо?

— Запросто! — ответил Мишка.

Мы с Генкой принялись помогать Толику собирать дрова для костра, а Мишка занялся птицей. И в это время послышались чьи-то голоса. Мы прислушались. Голоса доносились со стороны лагеря. Они приближались к поляне.

— Ребята! — зашептал Генка. — Это же наши. . . Они, наверное, услышали выстрелы и топают сюда. Надо сматываться!

Мы побросали дрова и со всех ног рванули в глубь леса.

Мишка подхватил свою наполовину обципанную добычу и помчался за нами следом. Здорово пришлось побегать по разным оврагам, пока, наконец, удалось оторваться от своих.

Потом мы выбрали высокое густое дерево (чтобы дым рассеивался), развели под ним костер, кое-как обципали и выпотрошили фазана, насадили его на прут и пристроили над огнем. Мы сидели, курили, подбрасывали в костер сучья и смотрели, как стекает с птицы жир и падает огненными каплями на раскаленные угли. Мишка пристроился около самого огня и медленно поворачивал пристроенный на рогатки и очищенный от коры прут.

И вдруг, смотрю, у него глаза на лоб полезли. Он дернулся за автоматом. Фазан свалился в костер, но он даже не обратил на это внимания, и, уставившись на кого-то, кто находился за нашей спиной, начал медленно-медленно подниматься. . .

“Лесники!!” — вспыхнуло у меня в мозгу. — Сейчас раздастся очередь, Мишка не успеет даже подняться, и мы все, прожитые пулями насквозь, уляжемся вокруг костра!”

У меня аж шею от страха свело.

Я с трудом повернул голову и увидел позади себя. . . козу!

Не домашнюю, а лесную, дикую козу.

Она, вероятно, только что выскочила из-за деревьев на поляну и, вся напружинившись, настороженно смотрела на нас.

Тут раздался какой-то шум, как будто кто-то упал на землю, и громкий хруст ломающихся сухих веток.

Коза в два прыжка исчезла за деревьями.

— Твою мать! . . . — заорал Мишка, подымаясь с кучи хвороста. — Нога, сука, подвернулась! Неловко встал. . . А я ее уже почти на мушку взял!

А ведь мог бы нечаянно нажать на спусковой крючок, когда падал, и кого-нибудь из нас наверняка бы утрохал!

Я ближе всех к нему сидел.

— Надо было очередью, а не целиться! — закричал Генка.

— Эх! . . . — запереживал Мишка. — Еще бы секунду, одну только секунду, — и я бы ее уложил!

— Ну, к черту этого фазана, — сказал, вскочив, Толик, — пойдем охотиться на коз.

— Точно! — поддержал его Генка. — Видали, как близко подходят? Да мы сейчас в два счета какую-нибудь подстрелим! Давайте быстрее собирайтесь!

— Сейчас, сейчас. . . — засуетился Мишка, растирая подвернувшуюся ногу.

Но мне пришла в голову хорошая идея.

— Ребята, послушайте. . . — сказал я. — Давайте дожарим фазана, отнесем его к замполиту, а завтра с утра устроим настоящую охоту на коз, а?

— Да ты что? — заспорил Генка.

— Давай сейчас, у нас же еще есть время, — тянул в лес Толик.

— Завтра — это само собой, — сказал Мишка. — А я хочу сегодня попробовать жаркое из козлятины.

— Да вы послушайте, что я придумал. Если мы сейчас начнем стрелять, наши или кто-нибудь из чехов обязательно услышат и притащатся сюда. Так ведь?

— Ну, так. . . — нехотя согласился со мной Мишка. — Ну и что такого? Мы от них спрячемся и все.

Надо пойти принести замполиту чай. И перекур небольшой не мешает устроить, что-то я расписался слишком.

Зудит. Недоволен чем-то. Наверное, с комбатом поцапался. Они друг друга терпеть не могут, как Чапаев с Фурмановым.

Но надо закончить про охоту.

— Мы от них спрячемся, — сказал Мишка.

— А на хрена нам все время от кого-то прятаться! Я вот что придумал. Сейчас возвращаемся в лагерь, отдаем к чертям замполиту этого фазана — пусть жрет! — и я договариваюсь с ним насчет одного дела.

— Какого еще дела? — недовольно пробурчал Мишка.

— А насчет такого. Я договариваюсь с ним о том, что после завтрака я пойду и попрошу механиков врубить моторы своих танков. И чтобы им никто не мешал. Как будто они проверяют двигатели. . .

— А нам-то на кой вся эта петрушка с двигателями? — удивился Генка. — Что мы на танках на охоту поедем, что ли?

— Володя. . . — Мишка потрогал мой лоб. — Ты случайно не завернулся ли на службе у своего шлепнутого замполита? А?

— Ладно, ладно! — разозлился я на то, что они никак не могут допереть до простой вещи. — Механики заведут двигатели, а мы спокойно отправимся охотиться. Понятно?

— И можно стрелять, сколько хочешь, никто не услышит, — сказал Толик.

— Вот именно.

— А ведь верно! — обрадовался Мишка. — Потопали, ребята. . . Володька здорово придумал!

— Обожди, — напомнил Генка, — надо ведь еще фазана как-нибудь дожарить.

Мы посидели еще полчаса у костра, покурили и обсудили, так сказать, детали завтрашнего мероприятия: с кем из механиков можно договориться, что им подкинуть за это, в какую часть леса лучше всего пойти, и т.п.

Потом вернулись в лагерь.

Замполит был не против нашего плана. Услышав про козу, завздыхал. Чувствуется, что очень хотелось бы ему самому поохотиться. Отделил мне кусок фазана. Жесткая какая-то птица. А может быть, мы его просто не дожарили.

Ну что ж . . . Попробуем завтра поохотиться "под шумок".

15 октября.

Замполит прочел мне целую лекцию на тему "Как с козы спустить шкуру". Замучил! Долго и нудно объяснял, как делают на ногах надрезы, как — на шее, как — на брюхе. . .

— Чтобы как чулок снималась. Понимаешь? Как чулок! Легко и аккуратно. . .

Как будто она ему нужна, эта шкура! Кожух он собирается из нее шить, что ли? Ведь все равно мы ее выбросим, точнее, закопаем, прямо там, на месте, в лесу. Чтобы, на всякий случай, никаких следов.

Мишка побежал договариваться с механиками. Мы вчера решили пообещать им каждому по куску жареной козлятины.

Конечно, если мы еще повстречаемся с этой козлятиной.

Пора двигаться. Пожелаю сам себе "ни пуха, ни пера!" И сам себя пошлю к черту. Теперь уж обязательно повезет!

Только что пришли с охоты. Нам повезло. Даже крупно повезло.

Почти сразу подстрелили фазана (самца с хохлом на голове), а через некоторое время — двух коз. Запросто могли бы и еще, их там полно, в лесу, но просто девать некуда.

Шкуры и внутренности (головы тоже) закопали, а остальное поджарили на костре. Провозились с этим до самого темна. Гораздо легче подстрелить, да и, конечно, интересней, чем разделять и жарить. Но все равно я очень доволен охотой. Ребята — тоже. Ну, а замполит — само собой. Сидит, чавкает и хрустит козьими косточками. Говорит, что эти козы называются косулями.

— Сходите завтра еще раз. И старайтесь подстрелить тех, что помоложе, они вкусней.

Нас упрашивать не нужно.

Просмотрел свои записи. Мне кажется, неплохо получается. Почти как у писателя. Особенно последние страницы, на которых я рассказываю про охоту. Это, наверное, потому, что я как раз сейчас читаю одну интересную книжку о приключениях охотников. "Сквозь тайгу" называется*.

16 октября.

Только мы собрались после завтрака двинуть в лес, как вдруг в лагерь заявился лесник. Настоящий лесник (не дезертир), мужик лет под пятьдесят, в форме лесничего.

* В.К. Арсеньев

Принес раненую козу, всем показывает и чуть не плачет.

Я скорее потащил его к замполиту.

— Идем, идем, — говорю, — я тебя к начальнику отведу. Он сейчас во всем разберется.

— Да, да, — шмыгает носом лесник, — мне нужен ваш начальник. Я хочу ему жаловаться!

— Вот я тебя к самому главному начальнику и отведу. Ведь тебе нужен самый главный?

— Да, да, самый главный.

— Вот и хорошо. . . Сейчас мы все уладим.

Лесник протягивает замполиту раненую козу и со слезами в голосе говорит:

— Вот, посмотрите, что делают ваши солдаты!

— Наши солдаты? — состроил удивленную физиономию замполит. — Этого не может быть!

— Да, ваши солдаты, — начал спорить лесник. — Я знаю. . . Я сам видел их в лесу!

Замполит нахмурил брови.

— Где ты их видел?!

— В лесу. . . — сжался под его взглядом чех.

— Ну и что?! — спросил замполит, повышая голос. — А ты видел, что это именно они стреляли в твою козу?

— Я. . . я. . . — залепетал чех. — Я слышал выстрелы. . . Я. . .

— Вот это дело другое! Так сразу и надо было говорить. А то, понимаешь, "сам видел". . . Ты это брось!

— Мы их за границей за золото покупаем, — жалобно пробормотал чех.

— Возьми еще двух человек, — приказал мне замполит, — и проводите его. — И добавил вполголоса: — чтобы он тут не шатался, понимаешь, по лагерю.

Я позвал Мишку с Толиком, и мы пошли провожать лесника. Точнее выпроваживать. Я даже помог ему нести козу: лишь бы только побыстрее уйти подальше от лагеря и не наткнуться случайно на какое-нибудь высокое начальство.

— А где он живет? — спросил меня Мишка, когда мы проскочили последнюю палатку и вошли в лес.

Я сказал, что сам не знаю.

— Замполит приказал увести его, — шепнул я ребятам. — Чтобы он тут не наболтал лишнего. . .

— А! — обрадовался Мишка и начал ласково гладить козу по голове: — Хорошая! Хорошая! . . . Подстрелили тебя проклятые контрики, да? Ну, ничего — мы им еще покажем! Правильно, хорошая? Мы ей устроим, контра, козью морду!

— Это не контра, — сказал чех.

— Ну, если не контра, — тогда, значит, дезертиры в нее стреляли, "лесники".

— Конечно, "лесники".

— Это не "лесники", — опять не согласился чех.

— Ну, а кто же тогда, если не "лесники"? — разозлился Мишка на упрямого мужика.

— Эх! . . . — вздохнул чех, но ничего не ответил, а только

устало махнул рукой.

Молча мы дошли до деревни, в которой жил лесник.

Он забрал свою козу и ушел, а мы присели на лавочку перед его домом.

— Ну, что будем делать? — спросил, закуривая, Толик. — Потопаем назад?

— Давайте посидим немного, отдохнем, — предложил я. — Куда нам особо торопиться?

Мне чего-то не хотелось так быстро возвращаться в лагерь.

— А у меня имеется несколько крон, — сказал Мишка.

— Ну! — обрадовался Толик.

— И что ты хочешь предложить? — спросил я.

Мишка принялся считать деньги.

— На бутылку, правда, не хватит. . . но на самогонку наскребется, — сказал он.

Толик сразу приуныл.

— А у кого мы ее тут достанем?

— У кого-нибудь да найдется, — ответил Мишка. — Надо походить поспрашивать.

— Опасно, — сказал я. — Могут подсунуть какой-нибудь отравы вместо самогонки, ты же слышал, нам зачитывали про разные такие случаи.

— Слушай ты больше своего замполита! — сказал Мишка. — Я уже покупал несколько раз — и ничего. Жив, здоров, как видишь. Да ты же сам пил! Помнишь, на днях я приносил в лагерь бутылку?

— Помню.

— Ну и как?

— Нормально. А где ты ее покупал?

— Да не в этой деревне, — ответил Мишка, — в другой. Здесь я никого не знаю.

В этот момент мимо нас прошли два мужика.

— Эй! Але! — закричал Мишка. — Послушайте, чехи. . .

Мужики остановились, мы подошли к ним.

— Вы не знаете, где тут. . .

— Мы не чехи, — ответил вдруг на чисто русском языке один из мужиков.

Мы несколько растерялись.

А что, если это кто-нибудь из наших (разведчики, переодетые, например) ходит по деревне под видом чехов?

Еще наговорят на нас начальству!

— Вы русские? — осторожно спросил я их.

— Нет, — ответил другой мужик, открывая калитку во двор дома, около которого мы стояли.

Из будки выскочила и залаяла собака.

На крыльцо вышел хозяин, помахал рукой, и, прикрикнув на пса, подошел к нам.

— А кто же вы? — удивленно спросил Мишка. — Кто вы по национальности?

— Украинцы, — ответил первый мужик.

Мы обрадовались.

— Вы что, здесь в командировке?

— Служите?

— Работаете?

Закидали мы их вопросами.

— Мы здесь живем, — ответил хозяин дома.

— Как живете? — не понял Толик. — Все время тут живете?

Постоянно, что ли?

Выяснилось, что они перешли в Чехословакию еще во время присоединения Западной Украины к Советскому Союзу. После Великой Отечественной Войны. Мне стало интересно, почему они уехали из своей страны за границу. Спросил их об этом. Они переглянулись, пожали плечами и ничего не ответили.

— Наверное, тоскуете по родине, а? — участливо спросил Мишка.

— Слушайте. . . — сказал хозяин дома. — Идите вы на . . . со своей родиной!

А другой мужик добавил:

— Мы вас столько лет не видели и еще бы сто лет не встречались . . .

Они отвернулись от нас и вошли в дом.

Ничего себе, встреча с земляками!

Самогонки мы не нашли. Точнее, и не стали искать. Расхотелось что-то. Да и в деревне оставаться было уже противно. Настроение испортилось.

19 октября.

Два дня не писал — сидел на "губе". Сегодня утром выпустили. Помылся, побрился — отдыхаю.

Замполит за это время нашел себе нового ординарца (Рунко, хохла). Пусть побегает, а то отъел рожу на кухне — ушей из-за щек не видно. Я теперь снова со своими ребятами. Нет худа без добра, как говорится.

На "губу" я угодил восемнадцатого утром. Пошел после подъема к ручью умываться и забыл взять с собой мыло. Вспомнил об этом только тогда, когда уже начал чистить зубы. Возвращаться назад не хотелось, и я попросил кусок мыла у Гришки Тоциса. Он как раз кончил умываться и стоял рядом со мной, вытирался.

— Только ты обязательно занеси, это не мое, — попросил Гришка.

Я ответил, что непременно занесу.

Ополоснул физиономию, вытерся, закурил, посидел минут пять-семь на берегу, потом прихватил мыло и потопал в лагерь.

Гришки в палате не оказалось.

— Вот мыло принес, ребята, — сказал я. — Передайте. . .

Тут подсакивает ко мне Роберт Гушвили, вырывает кусок из рук и орет:

— Я твою маму . . . ! Ты почему берешь мое мыло?! Я тебе что, магазин, что ли? Я твою. . .

Моча ему в голову стукнула или еще что-нибудь случилось — не знаю, только надоели мне уже за три года эти черти носатые со своими кавказскими истериками.

— А я твою маму. . . ! — говорю.

Аж весь затрясся.

— Ты что сказал?!

— А ты что, не слышал?

— Повтори!!

И рожи начинает корчить, одна другой свирепее.

Ишь ты, хрен какой выискался! Он, понимаешь, может всем подряд заявлять: "Я твою маму. . .!", а если ему то же самое скажешь, то сразу трястись начинает. . .

— Я твою маму, Роберт, . . . ! Понял теперь или нет? Или, может, еще раз повторить?

Взвыл, побежал за своими. Только кучей и могут нападать. Привел с собой еще троих грузин. Прыгают, размахивают руками и кричат, как стая грачей.

Выскочил из палатки Мишка, толкнул речь:

— Попробуйте только полезть. Мы вас сейчас так понесем, что от вас одни носы останутся! Если у Володьки с Робертом имеются какие-то дела — пусть они сами разбираются, один на один.

Если дело идет к драке, то бить надо первым. Это как закон.

Я не стал третий раз повторять Роберту про его маму, хотя он опять завел прежний базар, размахнулся и слегка долбанул его по носу. Брызнула кровь. Роберт заорал и полез бороться. Я не люблю кататься по земле, пыхтеть и выкручивать кому-то шею. Долбанул его еще раз. Попал в глаз. Роберт укусил меня за ухо и расцарапал своими значками (приколотыми к гимнастерке) мне щеку. . .

Потом прибежало начальство, нас растащили и сунули по пять суток "губы".

Нам с Робертом дали по лопате и приказали выкопать две ямы, метра по полтора глубиной. Когда мы закончили с этим делом, в ямы бросили по охапке веток, опустили по одному матрацу и по одной железной печке с трубой. Сверху натянули палатки и поставили часового.

Да. Отобрали курево (на "губе" курить запрещено), но ребята под вечер смогли подкинуть мне пару пачек сигарет. Часовой-то свой, а не краснопогонник, как на настоящей гауптвахте.

Померз я, конечно, две ночи подряд.

Днем — еще ничего: лежишь себе на матраце, покуриваешь втихаря и подбрасываешь в печку дровишки. . .

По началу даже кажется, что это что-то вроде санчасти или санатория. Но это — днем. А вот ночью! . . Только задремлешь — печка прогорает и тут же тебя начинает пробирать, как выражается Толик, "цыганский пот" — тряска с лязганьем зубов. Просыпаешься, разжигаешь печку, отогреваешься, начинаешь дремать, замерзает, трястись. . . просыпаешься, опять разжигаешь печку. . . И так всю ночь. Но, слава Богу, на третьи сутки комбат помиловал нас и приказал выпустить. Хорошего понемногу.

Пока я сидел на "губе", Мишка успел познакомиться с новой девчонкой. Говорит, красивая. Зовут — Зденка. Живет где-то в одной из соседних деревень. Обещал показать: завтра вечером она прискачет к нему на свидание. Посмотрим.

А меня что-то не тянет сейчас ни на каких девчонок. В общем-то, конечно, хочется. Еще как хочется! Но на лбу ведь у них не написано — кто здоровая, а кто — сифилисная. Как начнет хотеться, вспомнишь об этом, и вся охота в момент исчезает.

А вот по ночам все-таки голые бабы снятся. Даже на "губе", когда замерзал и стучал зубами, и то обнимал во сне какую-то толстозадую. . . Со всеми вытекающими из этого последствиями, как любит выражаться замполит.

20 октября.

Каждый день кто-нибудь из нас едет за водой для кухни.

Сегодня была моя очередь.

Взял автомат, сел в кабину к шоферу, и мы поехали в ближайшее село.

— Ну, давай, действуй, — сказал шофер, подъезжая к крайнему из домов.

— А что я должен делать? — спросил я. — Объясни, я ведь первый раз еду по воду.

— Да ничего особенного. — Шофер выключил двигатель, достал сигареты и закурил. — Постучись в дом и попроси разрешения набрать воды. Если разрешат, бери шланг, подключай к ихнему крану и наполняй цистерну. Вот и все.

— А что, могут еще и не разрешить?

— Всякое бывает. . . — как-то уклончиво ответил шофер.

Повесил автомат на плечо, подошел к калитке, постучал.

Стучу пять минут, стучу десять — никто не появляется. Хотя я вижу: дверь дома приоткрыта, значит, кто-то там есть. Я закурил, постучал еще немного, потом просунул руку между планками калитки и отодвинул задвижку. Собаки во дворе не было, я подошел к двери и опять принялся стучать. И опять без толку, никто не вышел. Я открыл дверь и позвал:

— Эй, хозяева! Есть тут кто-нибудь или нет?

Молчание. Позвал еще раз. Кто-то скрипнул половицей, но не отозвался. Тогда я вошел на веранду и потянул на себя дверь, которая вела в комнату. Мне навстречу сразу же выскочил растрепанный мужик в очках. Мы с ним чуть не столкнулись лбами. Наверно, он все это время стоял, притаившись за дверью.

— Здравствуйте, — сказал я.

Мужик что-то прогундосил.

— Разрешите у вас набрать воды?

— Воды? . . — испуганно переспросил мужик.

— Ну да, воды. Можно, мы присоединим шланг к вашему крану? Нам нужно наполнить цистерну.

— Нет. . . Нет! Нет воды! — замахал на меня руками чех.

— Как, нет воды? — удивился я.

— Нет, нет, нет! — и начал грудью вытеснять меня через порог на крыльцо.

— Да мне не какая-то особая вода нужна, — попытался объяснить я ему. — Мне та, которая из крана течет, нужна, водопроводная, обыкновенная. . .

Чех все-таки вытеснил меня на ступеньки, закрыл за собой дверь и широко развел руки в разные стороны:

— Нет воды. — И даже покачал как будто с сожалением своей взлохмаченной головой.

— Ну и хрен с ним, — решил я про себя. — Наберем в другом доме, не драться же с этим очкариком”.

Метрах в десяти от нас, в самом начале сада, который рос сразу же за домом, из земли торчала изогнутая железная труба с краном. Мне хорошо было видно, как из крана капает на землю вода. Но я не стал спорить, повернулся и вышел со двора.

— Говорит, нет воды, — сказал я шоферу. — Давай подьдем к соседям.

Снова пришлось долго стучать в калитку, потом в дверь, звать хозяев. Наконец, вышел старик лет под семьдесят, а за его спиной пряталась маленькая сморщенная старушка, закутанная в клетчатое шерстяное одеяло. Оба испуганно косились на окна соседей.

— Добри ден!

Еле заметно кивнули.

Я показал рукой на машину с цистерной, попросил:

— Пожалуйста, дайте нам набрать у вас воды.

Съежились, отрицательно закрутили головами.

— Да это минутное дело! — начал уговаривать я их. — Мы только наберем воды и сразу уедем. Нам ничего больше от вас не нужно. . .

Молчат. Смотрят в сторону.

— Ну что, вам воды жалко, что ли?!

— Ежиш Мария! . . — вдруг принялась вскрипывать старуха. — Почему вы хотите отнять у нас жизнь (живот)! Мы же вам ничего не сделали! За что вы нас убиваете?!

Старик тоже стал тереть глаза:

— Есет немоцен!*

Собака бесится на цепи, пытается ухватить меня за сапог, визжит на всю улицу. . .

Я плюнул и вернулся в кабину.

— Давай к другому дому, — попросил я шофера. — Ну их к чертовой матери.

— Мы сейчас с тобой вот что сделаем, — сказал он. — Поедем в другой конец села, где нас пока еще не видели и не успели спрятаться, а там ты уж смотри в оба: как кого-нибудь засекаешь во дворе, сразу выскакивай из машины и проси воду. Главное — не давай опомниться!

* — Я болен!

И мы помчались на другой край села. Свернули в одну улочку, в другую, в третью, и наконец я увидел около одного из домов женщину, развешивающую на веревках белье. Рядом с ней возились с велосипедом двое малышей.

— Стой! — кричу я шоферу.

Он дал по тормозам, я выскочил из кабины и подбежал к хозяйке.

— Здравствуйте! . . . Добри ден! Будьте добры, дайте нам, пожалуйста, воды. Понимаете, воды? Воды!

До нее сначала не дошло, кто мы такие и что нам нужно, стала улыбаться, переспрашивать. . . Наконец, поняла. Смотрю, глаза округлились, подбородок затрясся. . .

— Русский! Русский, разумишь . . . Пожалей нас! Пожалейте наших детей! Если мы вам дадим воды, нас убьют. . . Умоляю, пожалейте детей!

Она заплакала, дети подбежали к ней, смотрят со страхом на меня и тоже хнычут. Я озверел! Все нас боятся, все плачут, а у меня приказ, его надо срочно выполнять! Часть до сих пор без воды! Я выскочил на улицу, крикнул шоферу:

— Все, хватит разговоров! Подъезжай к соседнему дому, и кто бы там уже ни был — мне плевать! К черту! Я сейчас добуду воду!

Шофер завел двигатель, а я подбежал к калитке, открыл ее, вспрыгнул на крыльцо и постучал в дверь. Никто не поторопился выйти. "Ну, ладно!" — подумал я, снимая с плеча автомат, и изо всех сил несколько раз подряд грохнул в дверь прикладом.

Послышались шаги, дверь распахнулась, и на пороге появились хозяйка, оба длиннющие, как жерди, молодые муж и жена.

— Привет! — сказал я. — Где у вас тут кран? Мне нужно срочно набрать воды!

— Нема воды! — глядя на меня исподлобья, хмуро буркнул муж.

— Оккупант! — взвизгнула жена.

"Хорошо же!"

— Значит, я оккупант? — переспросил я ее.

Она сжала губы.

— А ты газеты читаешь? Ты читаешь, что делают американские оккупанты во Вьетнаме? А?!

Она молча со злостью смотрела на меня.

— Ну раз я оккупант, то я тоже буду поступать так же, как они!

Передернул затвор, наставил дуло автомата сначала на мужа: "Руки вверх!", тот вскинул руки, потом на нее: "Ложись!"

Она начала приседать от страха.

— Ложись!!! — заорал я. — Сейчас я тебя начну насиловать, мать твою! . . .

— Почкейте! Почкейте!!!

Побежали, показали, где у них кран, помогли подсоединить шланг, открыли воду.

* — Подождите! Подождите!!

Когда уходил, подошла жена:

— Спасибо, русский, что не насилуешь. Ты добрый оккупант.

А все-таки — оккупант! В следующий раз, когда снова подойдет моя очередь ехать за водой, надо будет заболеть. На хрена мне нужно участвовать в таком КВНе!

”Немам . . . незнам . . . непойду!” Проще всего заранее растереть напильником ногу и отправиться в санчасть. Заодно отдохну денька три. Полежу, почитаю что-нибудь интересное.

Видел Мишкину Зденку. Симпатичная девчонка.

21 октября.

Замполит рассказывал на политзанятии о том, как на днях поймали двух наших дезертиров, один из них младший сержант, другой — рядовой.

Они сбежали из части, прихватив с собой автоматы и пару гранат, выскочили на ближайшее шоссе, остановили какой-то чешский грузовик, выкинули из него шофера и помчались в сторону западногерманской границы.

В это время шофер грузовика отправился жаловаться нашему командованию. Так, мол, и так — вот что вытворяют ваши солдаты! Записали номер его машины и срочно сообщили постам, через которые дезертиры скорей всего могли проехать. С одного из постов ответили, что только что они были обстреляны, при попытке задержать, именно из этой машины, и за ней уже отправлена погоня.

Младшему сержанту с рядовым все-таки удалось подъехать к самой границе. Ну тут-то они и влипли.

Дезертиры потом сознались, что они рассчитывали на полной скорости пронестись мимо пограничников, сбить шлагбаум и проскочить в Западную Германию. Но когда примчались к погранпосту, увидели, что то, что они задумали, не получится: все шоссе перед постом было забито ожидающими машинами. Очередь вытянулась метров на двести в длину.

Впереди пробка, а сзади погоня! Они, не долго думая, выскочили из машины и пошли в атаку на пограничников. Завязался бой. В ход пошли гранаты. И дезертиры вот-вот бы ушли, но тут подоспел наш взвод солдат, и их схватили. Одного ранили, как сказал замполит, а другой (младший сержант) сдался сам.

Да! Какой-то слишком любопытный турист (кажется, француз) во время боя высунулся из своей машины и схлопотал пулю в голову. Говорят, что остался жив. Удивительная голова.

Что-то случилось! В лесу слышна перестрелка. На охоту это не похоже. Надо сходить узнать.

Нашли в лесу раненого Ко-льчука (старшина, сверхсрочник).

Он вместе с ефрейтором А-яновым пошел с утра охотиться.

А-янов рассказывает, что они сразу, как вошли в лес, разделились и охотились каждый сам по себе.

Часа через полтора А-янов услышал перестрелку. Когда он прибежал к Ко-льчуку, тот уже был почти без сознания и истекал кровью. Смог только сказать, что наткнулся на ”лесников”. Их

было двое с автоматами. Сначала они побежали от него, потом, увидев, что он один, остановились, сделали по нему несколько выстрелов и скрылись.

Одна из пуль попала Ко-льчуку в живот, другая — раздробила кисть правой руки. Парень еле дышит. Отправили в медсанчасть. Поохотился, едрена мать!

Ходили прочесывать лес. Никого не нашли. Конечно, что они будут сидеть и ждать, когда их возьмут?

Встретился с десанниками. Они проезжали мимо и остановились в нашем лагере на ночевку. Рассказывали, как захватывали аэродромы в августе.

Ночью наши самолеты неожиданно появлялись над чешским аэродромом, садились на него, выскакивали десантники и в течение нескольких минут занимали весь аэродром. Самолеты оцеплены, чеки заперты в какое-нибудь помещение, на командных пунктах — наши офицеры.

Как там сейчас Ко-льчук? Мишка говорит, что ранение в живот очень опасная хреновина: выживает один из десяти. Это мне известно. Отец был ранен на Отечественной, в госпитале врачи считали его покойником, но он остался жить, хотя до сих пор продолжает мучиться.

Иногда, когда здорово скрутит, кричит, что лучше бы ему сразу помереть, чем оставаться таким вот получеловеком: ни рюмку пропустить, ни сигарету закурить.

22 октября.

Ко-льчук умер. Врачам ничего не удалось сделать, потому что он потерял очень много крови.

Да, теперь на охоту так просто не сбегаеть.

Многие ребята стали делать наколки на память. Выкалывают на левом плече "ГДР—ЧССР, 1968 год" и еще какой-нибудь рисунок. Мишка присобачил зачем-то орла. А Генка — герб Праги.

Я еще не решил, выкалывать себе что-нибудь или не стоит все-таки уродоваться.

Подружился с одним офицером. (Младший лейтенант Ронский). Хороший парень. Здорово разбирается в политике. Мы с ним поддали сегодня, и он рассказал кое-что интересное.

— Все эти "республики" нам дорого обходятся, а толку от них никакого. Единственно, чем мы можем хвастануть перед миром: смотрите, сколько у нас друзей имеется!

Но кого мы этим враньем обманываем — только самих себя . . .

— Я бы не взял с собой в тайгу таких друзей! — сказал Толик.

— А если взглянуть правде в глаза, то что мы увидим: Юго-

славы откололись от нас сразу же, венгры — попытались, но мы их подавили; поляки все время дергаются, всем недовольны; румыны — явно против нас и не скрывают этого: даже не разрешили пройти нашим войскам через свою территорию. Теперь вот зашевелились чехи . . .

А ведь мы позволяем им жить гораздо лучше, чем сами живем. Все они получают в три раза больше, чем получаем мы за ту же работу . . .

— В три раза больше?! — поразился Мишка. — У, суки такие!

— Да. И все равно они не хотят ничего общего с нами иметь.

— А Болгария? А ГДР? — спросил я.

— ГДР рано или поздно воссоединится с ФРГ. Восточные немцы только об этом и мечтают, спят и видят во сне этот счастливый день. Получится единая Германия, которая наверняка не будет на нашей стороне, потому что немцы, как мы знаем, бегут за лучшей жизнью не из Западной Германии в Восточную, а наоборот.

Остается одна Болгария — наш верный брат, друг и товарищ. Вот с ней-то нам, наверно, скоро и предстоит воевать против всего мира за мир во всем мире. Ну, еще, пожалуй, Вьетнам, если только от него к тому времени что-нибудь останется.

Говорят, что тело Ко-льчука отправят завтра в специальном гробу на самолете в Союз. Хоронить будут на родине: какой-то небольшой поселок под Хабаровском. Получайте, родители, привет из Чехословакии.

К Мишке пришла Зденка. Принесла ему мыло и зубную пасту. Лучше бы принесла что-нибудь выпить. Мишка дал мне пасту и попросил поохрывать, пока они посидят где-нибудь вдвоем. Я взял автомат, и мы пошли в лес. Мишка со Зденкой забрался в овраг, а я прилег недалеко от них на поваленное дерево.

Все обошлось без происшествий, если не считать, что я чуть не дал дуба, пролежав на сырой земле вместо тридцати минут, как обещал мне Мишка, почти два часа. Дружба — дружбой, но я больше не собираюсь участвовать в подобных мероприятиях.

Толик предложил сходить завтра на рыбалку.

Говорит, где-то недалеко от нас есть небольшое озеро, полное рыбы, и если подогнать к нему дизель, который освещает наш лагерь и крутит кино, опустить в воду кабель и врубить ток, то можно привезти оттуда столько карпов, что хватит на уху для всей части. Мне как-то больше нравится ловить рыбу удочкой, а не кабелем.

23 октября.

Вот уже несколько дней, как в нашем лагере появился откуда-то мальчонка лет двенадцати. Зовут его Милош. Симпатичный белобрысый пацаненок. Прилепился ко мне: ест со мной из одного котелка, ходит целый день следом и даже спит на моем матраце. Говорит, что папу убила контра, а от матери убежал. Насчет папы скорей всего врет.

Любит играть с оружием. Дрожит от восторга, когда берет в руки пистолет. Может круглые сутки возиться с ним.

Ребята принесли несколько больших банок с вареньем. Рассказали, что залезли через окошко в какую-то дачу и обнаружили, что там полная кладовка этого добра. Говорят, дача никем не охраняется.

— Там же, наверно, и выпивка какая-нибудь есть! — обрадовался Мишка.

— Нет, мы все обшарили, ничего не нашли. Ни одной даже бутылки.

— А в банках?

— Что, в банках?

— В банках смотрели? Там, наверняка, кроме варенья и компотов, еще и наливка имеется!

Пошли искать наливку. Я не смог пойти с ними, мне скоро в караул заступать. Как бы не влипли в какую-нибудь историю с этой дачей.

Когда стоял в карауле, подошел младший лейтенант Ронский, мы с ним постояли, покурили. Он рассказал такой случай.

Где-то в самом конце августа, когда мы только что вошли в Чехословакию, из одной из наших частей исчез солдат. Искали его, искали, так и не нашли. Зачислили в без вести пропавшие.

И вдруг недавно его ловят при переходе чехословацкой границы. Только пытался он перейти не в Советский Союз, а наоборот — из Советского Союза шел в Чехословакию.

Так сам об этом и сказал, когда его схватили.

Самое интересное то, что оказалось, что он не врал. И не сошел с ума — признали нормальным.

Дело в том, что еще в Германии он получил из своей деревни от матери письмо, в котором она умоляла его отпроситься у начальства хотя бы дней на десять и приехать домой починить дырявую крышу.

Его, конечно, никто не отпустил.

А тут как раз Чехословакия, рядом родная Украина, ну, он и рванул к себе в деревню.

Прошел спокойно через всю Чехословакию, через границу, через Западную Украину и Карпаты, починил старушке матери хату, попил самогонки, отдохнул несколько дней и потопал назад — дослуживать.

Вот тут его и скрутили.

Вернулись ребята.

Наливку они не нашли (хотя от Мишки и пахнет спиртным, но я не стал раскалывать его), зато притащили банки с компотами и несколько pornографических журналов.

Еще почище, чем тот, который мне показывал в Раковнике Валерка.

Я забил очередь смотреть.

24 октября.

Утром приходили чехи.

Опять, наверно, о чем-нибудь просить наше начальство.

Милош увидел их и тут же спрятался в палатку. Сидел там, не высовываясь, пока чехи не ушли. Маленький, а понимает, что он дружит с "нехорошими", что чешский народ не любит нас.

Но страсть к оружию все же сильнее.

Чехи обзывают наш лагерь "табором"

— У вас в таборе . . .

— В вашем таборе . . .

Замполит разозлился:

— Это вам не табор, а мы вам не цыгане!

А между прочим, мы уже почти похожи на цыган: здорово загорели все, обросли и распустились. Ходим, как битлы.

Только что принесли из леса раненого Жору Бакова. Хорошо отделался: прострелена нога, выше колена, но кость не задета. Говорит, напали "лесники".

С ним был Генка, он подтверждает это. Рассказал, что они пошли оправиться, присели в кустах, и тут раздалась очередь из-за деревьев, метрах в двадцати от них. Он начал стрелять, но ни в кого не попал, неудобно было: штаны спущены — не особо-то развернешься. Сколько было "лесников", он не заметил.

Ну, Жора свое отслужил. Теперь покатит домой лечиться. Можно сказать, повезло.

Приказано ходить оправляться только с оружием и группами не меньше трех человек. Это что же, если теперь захочешь срать, то, значит, надо с собой роту в лес брать!

Скорей бы эта хреновина закончилась!

Витька Ма-шак отказался идти в караул. Начальство всполошилось. Сначала его стращали трибуналом, дисбатом, орали, потом принялись уговаривать по-хорошему — ничего не помогло. Витька молчит и только отрицательно крутит головой.

Отобрали у него оружие и отправили в санчасть. Замполит говорит, что будут судить, а другой офицер, я слышал, сказал, что у Ма-шака психическое заболевание, и что его, скорей всего, отправят в психбольницу.

Это у Витьки от страха. Не только он, многие боятся идти в караул, особенно по ночам. И не только солдаты боятся, но и офицеры тоже. Они днем отсыпаются, а по ночам режутся в карты и пьянствуют, чтобы заглушить страх.

И заставляют себя усиленно охранять: на каждую палатку по несколько солдат с автоматами. Деваться некуда — охраняем. Сменяемся каждые два часа. А еще надо ходить в караулы: стоять около техники, склада, оружия и т.д. Вот такая у нас сейчас служба.

25 октября.

Мишка каждое утро закаляется: раздевается догола и брызгает на себя холодной водой из ручья. А рядом с тем местом, где мы умываемся, проходит тропинка, по которой целый день шастают местные жители. Особенно много их утром: идут на работу.

Проходят женщины и девушки тоже.

Я сегодня сказал Мишке:

— Ты бы хоть постеснялся, ведь народ смотрит.

А он как ни в чем не бывало:

— Какой еще народ?

— Чехи, — говорю.

— Да ну! . . . Кого тут стесняться?

— Просто неудобно, — говорю.

— Перед ними, что ли?

— Ну да, люди все-таки . . .

— Трусы они позорные, а не люди! Пусть любуются на мою задницу, там им и надо! Да если бы они ко мне заявили, я бы смотрел, как в моем доме хозяйничают? Я бы схватил автомат. . . нет автомата — двустволку, хрен с ним, и как пошел бы здячить налево-направо! . . . А они? . . . — и Мишка, сующая, передразнил чехов: "Просим . . . пани . . . Будьте ласковы . . ."

— А "лесники"? Они же стреляют в нас?

— Да ну-у. . . — презрительно протянул Мишка. — Это они со страху стреляют.

Чехи, конечно, не сующаяют. Просто это у них язык более ласковый, что ли, по сравнению с нашим.

Во время обеда один из наших офицеров, лейтенант Мифанов, случайно наткнулся на Милоша.

— А это еще что? Ты кто такой?

— Вояк!

Все вокруг рассмеялись.

— Ну и вояка! — улыбнулся лейтенант и погладил Милоша по голове.

— Он уже несколько дней с нами тут живет, товарищ лейтенант, — ляпнул кто-то.

— Несколько дней? — удивился Мифанов.

— Ну, да, — сказал я. — Вот кормим его, спит вместе с нами — сирота, товарищ лейтенант. Жалко как-то. Отца у него контра убила, а от матери убежал.

Лейтенант наморщил лоб.

— Ты вот что. . . — он отвел меня в сторону. — Сирота он или не сирота, это мы не знаем. . . Да и не важно. А ты, я тебе приказываю, шугани-ка его из нашего лагеря, и побыстрее. Пока комбат не увидел или кто-нибудь из штаба.

— Слушаюсь, — как положено ответил я.

— И вообще, неизвестно, зачем он тут шныряет. Может, он шпион.

Я засмеялся. Я на секунду представил себе, что Милош — шпион, и мне стало смешно.

— А что ты смеешься? — обиделся Ми-фанов. — Все может быть. Ты ведь парень грамотный, читал, верно, в книжках про детей-разведчиков? Ну, которые во время войны у немцев в тылу собирали всякие нужные нашей армии сведения.

— Читал, конечно.

— Ну вот, видишь! Почему же этот пацан не может быть таким же разведчиком? Очень даже может быть. Да эти дети, знаешь, на что способны. . . Такое могут натворить — до чего и не каждый взрослый-то додумается! Так что давай-ка выпроваживай его отсюда, так оно лучше будет. И вообще, что у нас тут — детский сад, что ли? Выпроваживай.

— Слушаюсь, товарищ лейтенант.

— Но только, знаешь, поаккуратней. Чтобы никаких конфликтов с местным населением не было. Скажи ему. . .

Лейтенант призадумался.

— Скажи ему, чтобы он шел к себе домой, что детям здесь нельзя находиться. . . Скажи, что его мама давно ждет, плачет. . . В общем, придумай что-нибудь.

— Слушаюсь.

— Ну, пойдем, разведчик, — сказал я Милошу. — Пойдем, пойдем со мной.

Он весело запрыгал рядом по тропинке.

Но когда мы вышли на шоссе, он нахмурился и поубавил шаг.

— Кам пойдете?

— Пойдем до твоего дому.

Милош остановился.

— Вернее, сейчас ты сам пойдешь домой, а я должен вернуться в лагерь. Понимаешь?

Милош вдруг упал на землю и застонал.

— Ты чего? — испугался я. — Милош! . . . Милош! Что с тобой?

Милош заскулил.

Я растерялся.

— Милош, да что с тобой? Ты можешь мне ответить? Ну, говори, в конце концов!

Милош скорчился, поджав к подбородку коленки.

— Ну, скажи мне, Милош. . .

— Боли ме бржихе!

— Чего, чего?! — не понял я.

— Бржи-и-ихе!! — он обхватил руками живот и застонал еще громче.

— Живот?

Милош завыл.

Тут я понял, что он просто-напросто придуривается.

— Вставай, тебе надо домой идти.

Милош, не отвечая, продолжал стонать, выть и хныкать, лежа посреди дороги.

— Надо, Милош, надо. . . Ты же взрослый парень, как тебе не стыдно плакать.

— Не пойду до дому!

Мимо нас проехала машина, и шофер испуганно оглянулся на меня.

— Сейчас еще кто-нибудь появится, — подумал я. — Потом будут говорить, что своими глазами видели, как русский солдат измывался над чешским "хлопцем", а тот валялся у него в ногах, стонал от боли и плакал".

— Милош, черт возьми! — закричал я на "чешского хлопца" и вынул пистолет из кобуры. — Отвечай мне, ты вояк или не вояк?

Увидев оружие, Милош сразу перестал стонать, приподнялся и уставился на него заблестевшими глазами.

— Так вояк ты или нет?

— Вояк, — ответил он, облизывая пыльные губы.

— А если ты вояк, то должен выполнять приказ своего командира! А я тебе приказываю сейчас же отправляться домой и. . .

— Не, не пойду!

— А хочешь, я дам тебе поиграть с пистолетом, но только после этого ты обязательно пойдешь домой? Хорошо?

— Не пойду до дому.

Я вложил пистолет в кобуру, достал сигареты, закурил.

— Милош. . . Тебя ведь все равно отведут к матери. Понимаешь? Наш командир вызовет вашу полицию, а уж полиция в два счета доставит тебя домой. Пойми ты это.

Милош, наклонив голову, молча слушал.

— А я ничем помочь тебе не могу. Я ведь в таком же положении, что и ты, — должен подчиняться старшим. Мне приказали выпроводить тебя из лагеря, вот я и выпроваживаю. . .

И в этот момент Милош заплакал.

Не притворяясь, а по-настоящему: из глаз его брызнули слезы, лицо сморщилось, задергались худые плечи. . .

Мне стало жалко его, все-таки я как-то привык к нему за эти дни, — я попытался обнять его, но он резко вывернулся из-под руки и помчался прочь от меня по уходящему под гору шоссе. . .

— До свиданья, Милош! — крикнул я ему вслед.

Но он ничего не ответил.

Даже не обернулся, сукин кот.

А ведь мы с ним из одного котелка ели.

Под вечер к Мишке пришла Зденка.

Мишка предлагал мне мыло, потом сигареты, но я сказал, что не могу пойти с ним, так как мне скоро в караул заступать.

Тогда он взял двух салаг с автоматами, чтобы они охраняли его, пока он будет развлекаться, и смотался в лес. Как бы не до-развлекался до пули в задницу. Это сейчас запросто.

25 октября.

Сегодня ночью был убит младший лейтенант Ро-нский.

Убит наповал: две пули в голову.

Какой был парень! Всегда вел себя просто, как товарищ. Подойдет, посидит рядом, поговорит. . . А иногда и выпьет, если

никого из продажных рядом не видно. Лучше многих из наших офицеров был. Да и умней.

Застрелил его Омар.

В общем-то Омар не виноват. Когда находишься в карауле, по уставу положено кричать: "Стой! Кто идет?" и щелкать затвором. Если замеченный не останавливается, то тогда нужно дать сначала один предупредительный выстрел в воздух, а потом уже стрелять в цель.

Но это по уставу и когда все спокойно. А здесь, если ночью мы замечаем что-нибудь подозрительное, если даже послышался какой-нибудь шорох, мы сразу открываем огонь. Пока будешь кричать "Стой! Кто идет?", тебя десять раз убьют. Да и нервы ходуном ходят, когда стоишь один в темноте среди деревьев и кустов. Хочешь — не хочешь, а палец нажимает на курок. Вот палец Омара и нажал.

Ребята опять побывали на одной из дач. Принесли много журналов, варенья, компотов и еще всякую мелочь. Мишка раздобыл себе черную шляпу с широкими полями, как у ковбоев.

Сидит сейчас рядом со мной, не дает писать, заставляет балдеть вместе с ним над этим "сомбреро". Закручивает поля и моет их водой, чтобы они все время держались в таком положении.

А мне сейчас . . . на его шляпу!

У меня Ро-нский перед глазами стоит. Как живой. Только затылок весь разворочен пулями.

Часа два назад меня вызвал из палатки Генка.

— Давай выйдем, — шепнул он мне на ухо. — У меня к тебе одно важное дело имеется.

— Что случилось? — спрашиваю.

— Сейчас объясню.

Мы отошли в сторонку, я вытащил сигареты, закурили.

— Ну? — опять спрашиваю я его.

Генка сделал пару быстрых затяжек, выбросил сигарету.

— Слушай, давай отойдем немного в лес, я тебе там все расскажу.

Что за тайны такие, думаю?

Да еще в лес зачем-то забираться.

— На черта нам в лес идти? Только позавчера там Жорку "лесники" ранили. Да ты же сам тогда вместе с ним был, знаешь, чем эти прогулки могут кончиться!

Генка как-то странно, как-то очень внимательно посмотрел на меня.

— Да мы недалеко пойдем, не бойся. Мне очень нужно.

— Да я не боюсь. . . Просто зачем зря под пули лезть. Но раз очень нужно — пошли.

Я сходил в палатку, взял ремень с кобурой, предупредил на всякий случай Мишку, сказал, что ненадолго схожу с Генкой прогуляться среди деревьев, и мы потопали.

Топаем пять минут — Генка молчит, топаем десять — он все молчит, пятнадцать. . .

— Генка, — наконец не выдержал я, — куда мы идем?

Генка остановился, огляделся вокруг, пробормотал:

— Давай еще немножко. . .

Опять начали петлять между кустов.

— Вот здесь. . . — минут через десять произнес Генка, когда впереди показалась небольшая ровная поляна.

Поляна как поляна — ничего особенного на ней я не увидел. И вокруг ничего такого не было.

— Чего — здесь? — спросил я.

— Давай закурим.

Я удивился.

— Так ты что, за этим меня в лес затащил, чтобы посидеть, покурить на природе? А?

Генка жадно затянулся.

— Нет не за этим. . .

— Ну так говори же, что у тебя за важное такое дело ко мне имеется.

Генка еще раз затянулся, давась дымом, снял с плеча свой автомат и протянул его мне.

— Слушай, Володя. . . Дело вот какое. . . На вот — выстрели в меня.

Я перепугался.

”Генка завернулся! Точно — завернулся! Недаром он смотрел на меня таким странным взглядом. . . А что, если он сейчас выстрелит в меня?! Стрелял же в своих завернутый Зимин.”

Я поскорей взял у него автомат и на всякий случай отошел немного в сторону.

— Да не бойся ты! — разозлился вдруг Генка. — Или ты не понял, о чем я тебя прошу?

”Зимин тоже точно так же злился, что его не понимают”, — вспомнил я.

— Почему не понял? Понял. . .

— Ну так давай, не тяни резину! Стреляй метров с трех. Прицелься как следует, постарайся попасть с первого выстрела. Попадешь?

— Попаду. . . — сказал я. — Но знаешь, Генка, может, отложим это дело на завтра? А сейчас давай пойдем в часть и. . .

— Слушай! — разъярился Генка. — Иди ты, знаешь, куда?!

— Пойдем вместе, — продолжал уговаривать я его, пытаюсь выманить из леса. — А то чего доброго, пока мы с тобой тут болтаем, на нас ”лесники” нападут, как в прошлый раз на вас с Жоркой напали. . .

— Володя, — Генка опустил на землю, достал новую сигарету и прикурил от окурка. — Володя, это не ”лесники” в прошлый раз на нас напали.

— Как не ”лесники”? А кто же тогда?

— Это я выстрелил Жорке в ногу.

— Ты?!

— Я.

— Нечаянно?

— Да нет! Нет! Специально! Он меня попросил. . . Как я тебя сейчас прошу!

Наконец, до меня начало доходить.

— И ты. . . — спросил я. — Ты хочешь, чтобы я тебе выстрелил в ногу?

— Ну, а куда же еще? Не в глаз же!

— Ну да, конечно. . . А я, знаешь, подумал, что ты того. . . завернулся.

— А я заворачиваюсь. Еще немного и совсем. . . усь! Никаких сил уже нет! — Он поперхнулся дымом, закашлял. — Ну что, Володя, сделаешь?

Я совсем растерялся.

— Володя, ну, я тебя прошу. Как друга! . .

Он поднялся, выбросил сигарету и отставил в сторону левую ногу.

— Целься вот сюда, — он похлопал себя по ляжке, — в мякоть. На всякий случай бери ближе к краю, чтобы кость не задело, а то на всю жизнь хромым могу остаться.

Я лег на землю, уперся локтем в кочку и прицелился. . .

На стрельбище я с такого расстояния весь магазин бы высадил в яблочко, но здесь я ничего не мог поделоть с дрожью в руках. Ствол автомата прыгал у меня перед глазами.

— Стреляй, Володя! Не ссы! . . . — хрипло крикнул Генка и зажмурил глаза.

И тут я вдруг отчетливо вспомнил Ко-льчука, раненного в живот, как он хрипел, зажимая руками рану, как лезла сквозь пальцы густая, смешанная с какой-то слизью кровь, как прямо на глазах белело его лицо. . .

— Нет! — сказал я и отбросил в сторону автомат. — Не могу я в тебя стрелять! Хоть убей меня, Генка, не могу!!!

26 октября.

Замполит уезжал на несколько дней в Прагу. Зачем — никто не знает. Сегодня он вернулся. Провел политзанятие. Все ждали, что он привезет какие-нибудь новости насчет возвращения в Германию и дембеля (нам, старикам), но ничего интересного он не сообщил. Сказал, что обстановка в Праге и во всей стране нормализуется, с контрой ведется решительная борьба, выбрано новое чехословацкое правительство. . . В общем, все это нам и без него известно.

— Когда поедет назад? — спросил кто-то.

— Когда чехословацкий народ окончательно, раз и навсегда покончит с контрреволюцией. А мы как раз с вами для того здесь и находимся, чтобы помочь братскому народу в этой борьбе. Так ведь, ребята?

”Да. . .” ”Так. . .” — раздалось несколько слабых голосов.

Вот уже несколько дней подряд Мишка ”ходит в караул” (его выражение) на тропинку, по которой чехи бегают мимо

нашего лагеря. Они в самом деле бегают. Другой дороги у них нет (а если есть, то где-нибудь далеко, иначе бы они здесь не показывались), и им приходится каждый день ходить почти через нас, а нас они боятся и стараются как можно быстрее проскочить мимо.

А Мишка, значит, раздобыл где-то драный полосатый шезлонг (наверно, с какой-нибудь дачи уволок), подлатал немного и как только освобождается от службы, хватает его под мышку и "идет в караул". Он устанавливает свое "кресло" прямо посреди тропинки, разваливается в нем, кладет на колени ремень с открытой кобурой и принимает грозный вид.

А вид у него еще тот. Здоровенный (метр восемьдесят восемь), рыжий, зеленые глаза, грязная промасленная куртка и черная шляпа с закрученными полями. Ну, и, конечно, открытая кобура. Как только на тропинке появляется какой-нибудь чех, Мишка вынимает пистолет (без обоймы) и начинает медленно в него целиться. Чех приходит в ужас, и вперед не решается идти, и назад боится бежать.

— Принеси пива и колбасы, — приказывает Мишка.

И самое интересное, что приносят.

— Принеси душистого мыла.

Приносят. Мишка нюхает.

— Это плохое. Чтобы завтра было хорошее!

Некоторые чехи, особенно пожилые, кланяются ему, называют "пан офицер". Мишка кайфует. Этим он милостиво разрешает "беспрепятственное движение в оба конца".

Если чех его не понимает, он начинает коверкать русские слова на немецкий лад: "Ййки! Млеко! Дава-давай! Бистробистро! Плехой дедушка! . . ."

Как будто так они его лучше поймут!

— Ну ты, Мишка, прямо как эсесовец, — сказал я ему.

— Ну и что? — ответил он. — Они же нас называют оккупантами, вот я и поступаю с ними, как оккупант.

— А на фига тебе столько мыла?

· Смеется:

— А это мои трофеи!

И весь хрен до копейки, как говорится.

Спросил замполита, можно ли послать домой письмо?

— Пока нельзя.

— Когда же можно будет?

— Скоро.

— А когда — скоро?

— Ну, это я тебе не могу точно сказать, но знаю, что скоро.

Я уж десять раз слышал, что скоро.

Сегодня вечером я, Толик и Генка заступили в десять часов охранять офицерскую палатку.

Сначала шел мелкий дождь, потом поднялся ветер, и мы спрятались от него в неглубокой ложбинке метрах в пяти от па-

латки. Выставили автоматы наружу, лежим, покуриваем. . . Вдруг где-то совсем рядом с нами раздался громкий звякающий звук. Мы испуганно вскочили, светим вокруг фонарями — ничего и никого не видно. Успокоились, легли. Снова раздается тот же звук. Подпрыгиваем, включаем фонари — никого.

Ложимся, закуриваем, и в этот момент на спину Генке падает со звяканьем какой-то блестящий круглый предмет. И тут же яркий луч света в глаза и голос ротного (капитана Ни-рова) над нами:

— Плохо, плохо караулите, ребята! Надо около палатки находиться, а не прятаться в яме. . .

Стоит поддатый, ухмыляется. Очень доволен своей дурацкой шуткой. Смотрю, Генку всего передернуло: хватает автомат, кидается к ротному, сует ему дуло в живот и орет, захлебываясь от бешенства:

— Еще раз кинешь, гад, хоть одну консервную банку. . . хоть маленький камушек — пристрелю! Пристрелю, с-сука!!

Ротный молча попятился и скрылся в палатке. Генка еще долго не мог успокоиться: руки трясутся, все никак не удавалось сигарету из пачки вытащить. Я прикурил и дал ему.

Тоже мне шутник хренов нашелся! Додумался, кого пугать! Пускай дома свою жену из-за угла пугает, а не нас.

27 октября.

Прямо напротив нашего лагеря через неширокое поле стоит маленький домик, во дворе которого каждый день я вижу суетящегося старика. То крышу он чинит, то по забору молотком стучит, то еще чем-нибудь по хозяйству занимается. Сегодня утром я заметил, что он машет топором, колет около сарая дрова.

— Пойду, может быть, выкручу чего-нибудь пожрать и выпить, — сказал я Толику.

— Не ходи, еще отравит!

— Вряд ли, — успокоил я Толика, — мы же с ним соседи, так сказать. Побойтся травить.

— Ну, смотри.

— На всякий случай, конечно, помни, что я к нему пошел.

Хорошо?

— Хорошо. Давай действуй.

Я не собирался что-то выкручивать у старика, это я так сказал Толику. Просто мне захотелось немного помахать топором.

Я пересек поле, открыл калитку и вошел во двор.

— Добрый день!

Старик кивнул мне.

— Дрова колешь, отец?

Он не понял.

— Говорю, дрова колешь? — я показал жестом, как поднимают и опускают топор.

— Да, да, — закивал головой старик. — К зиме готовлюсь, колю понемножку.

— Давай помогу, отец.

— Помоги, — подумав, ответил он.

Я взял у него топор и принялся за дрова.

Старик постоял некоторое время, посмотрел, как я управляюсь, и начал собирать поленья и относить их в сарай.

Через полчаса я запыхался.

— Перекурим, отец? — спросил я, втыкая в чурку топор.

— Кури, кури, — согласился старик.

Я достал пачку сигарет, присел на кучу дров и закурил.

Старик еще несколько раз сходил в сарай, потом подошел ко мне и опустился рядом.

Несколько минут посидели молча, и вдруг он сказал:

— Что же вы, русские, опять разбойничаете? Нехорошо вы делаете!

— Как это, "опять разбойничаете"? — не понял я.

— Да так, — ответил старик. — То немцы нас грабили и насильничали, теперь вы пришли. . .

— Что ты говоришь, отец? — удивился я. — Ведь наши солдаты в сорок пятом освобождали Чехословакию от немцев. Неужели ты забыл?!

— Нет, не забыл, — ответил он, глядя мне прямо в глаза. — То было давно. А теперь вы, как фашисты.

Он еще что-то говорил, но я до того ошалел, что уже не понимал ничего.

Старик поднялся, аккуратно затоптал окурок своим резиновым сапогом, пошел в дом и через минуту вынес две бутылки пива, кусок мяса и тарелку яблок. Но мне было не до еды. Кусок в горле застревал. Старик правду ведь говорит. . .

28 октября.

Сегодня в двенадцать ночи я пошел в караул. Стоять надо было четыре часа. Где-то в половине третьего я заметил среди деревьев мелькание фонаря.

Я подумал, что это свои, подошел к тому месту и посветил.

Над проводами телефонной связи, тянущимися по земле, сидел на корточках чешский солдат в своей шинели мышинного цвета и что-то торопливо делал.

Первой моей мыслью в этот момент была та, что сейчас откуда-нибудь сбоку раздастся выстрел. Ведь "лесники" по одному не ходят, значит, рядом прячется еще кто-то и, возможно, уже целится в меня.

Вторая мысль была — стрелять!

Но в правой руке я как раз держал фонарь, и пока бы я его отбрасывал в сторону и хватался за автомат, чех успел бы выстрелить первым.

И еще я подумал, что если я даже и выстрелю, но не попаду, то уж они (хрен знает, сколько их там было) не промажут.

Пока я стоял и думал, раздался шорох, и чех исчез в кустах.

Тут я пришел в себя, отскочил за ближайшее дерево, выключил фонарь и дал длинную очередь вверх.

Прибежал караул.

— Что?

— Почему?

— Кто?! Где?!

Я рассказал, как было дело.

— Трус!

— Чего же сразу не стрелял?

— Вот я бы! . . .

Офицер дал мне разнос: почему я не задержал "лесника".

Конечно, я здорово растерялся от неожиданности, ведь почти нос к носу столкнулись. Да и, честно говоря, струхнул малость, скрывать не буду, но ночью одному переть против этих партизан, когда они и днем-то внаглую нападают на нас, — это было бы глупо. Явная смерть.

Пусть этот офицер, если он такой герой, сам задерживает, а не отсиживается всю ночь в палатке.

А то я смотрю, до хрена этих героев разгуливает с опухшими рожами днем по лагерю.

Мишка посоветовал в следующий раз стрелять с левой руки, а фонарь бросать в сторону противника — вдруг он подумает со страху, что это граната, и упадет на землю, тогда запросто его можно будет взять живым.

— А где же он его потом без фонаря будет искать ночью в лесу? — спросил Толик. — Да и вообще, на кой хрен нам нужны эти "лесники"? Ты в другой раз, Володя, выстрели, и лучше сам падай на землю, целей будешь.

29 октября.

Разрешили писать домой. Накатал сразу три большущих письма, одно родителям и два — друзьям. В письме домой рассказал (что можно, конечно, в письме рассказать) о том, как нас "встречали" в Чехословакии. Просил написать мне, как чувствует себя мать. Друзьям дал знать, что я жив и здоров.

Стали доходить слухи, что офицерские жены блядут с оставшимися в Германии солдатами. Офицеры ходят мрачные и злые. Особенно психует лейтенант Ми-фанов. Друзья все время подкалывают его, и он, напившись, начинает скрежетать зубами и грозиться пристрелить свою жену, когда вернется в часть.

— Не пристрелишь.

— Пристрелю!

— Ты не успеешь пистолет вытащить, как она тебя солдатским сапогом по башке оглоушит.

— А откуда у нее вдруг окажется солдатский сапог? — спрашивает кто-нибудь, как будто не понимая, что к чему.

— Как откуда? Да из-под кровати вытащит. У нее их там, наверно, пар двадцать уже насобиралось.

— Всех размеров!

— Убью суку!! — скрежещет зубами Ми-фанов.

Час назад Кор-хин из второго взвода угрохал своего земляка Винок-ова. Винок-ов пришел утром с караула, позавтракал и лег в палатку отсыпаться. Кор-хин к обеду решил разбудить сво-

его "землю", а заодно немного подшутить над ним. Он тихонько вытащил у него из кобуры пистолет, наставил прямо в лоб спящему и крикнул:

— Руки вверх!

И нажал курок.

Выстрел — труп. Винок-ов даже не успел проснуться. Шутник думал, что его друг, ложась спать, вынул, как положено, обойму. А тот не вынул.

Я ходил смотреть. Кор-хин плачет и разговаривает с трупом, как будто тот может его услышать. (Винок-ов уже весь синий, во лбу дыра). "Прости, друг! Я не хотел. . . Я пошутил!" Оба из одной деревни.

Мишка тоже любит такие шутки. Надо будет с ним потолковать. И вообще нам последнее время стали часто сообщать о подобных случаях в разных частях. Почти каждый день из-за неловкого обращения с оружием или баловства где-нибудь кто-то ранен или убит. А все потому, что мы вынуждены есть и спать с оружием в руках. Тут, как ловко с ним ни обращайся, а все равно что-нибудь да стряется.

Как говорил кто-то из писателей, если появилось ружье, оно непременно должно выстрелить. А в кого — ружью это без разницы.

30 октября.

Замполит намекнул сегодня на политзанятия, что нас скоро, возможно, отправят в Германию. Все обрадовались, загалдели:

— Когда?

— Какого числа?

— А когда нам дембель будет? — спросил я.

— Будет, когда ему положено быть, — ответил замполит.

Вот это как раз было бы очень хорошо.

Подошел Мишка.

— Все пишешь?

— Пишу.

— И охота тебе?

— Не очень.

— На хрена же тогда пишешь?

— Слушай, Мишка! — разозлился я. — Ты меня уже затрахал этим вопросом!

— Ну, ты все-таки скажи, на хрена?

— На всякий случай.

— На какой такой случай?

— На тот случай, если со мной что-нибудь случится! Если, например, я пулю завтра в живот получу. Понял?

— Ну. . .

— Я хочу, чтобы люди знали, как все было на самом деле. Хотя бы, чтобы знали мои родные и друзья.

— Ну, если завтра ты получишь пулю в живот, — сказал Мишка, — то твоя писанина дальше замполита не пойдет.

Посидели, помолчали.

— А у меня, Володя, капает. . .

- Откуда капает? — не врубился я.
- Откуда, откуда. . . Откуда еще может капать?! С конца, конечно!
- Подцепил?! — испугался я за него.
- Подцепил. Уже второй день никак побрызгать не могу: так резать, сука, начинается, что глаза на лоб лезут!
- А от кого?
- Хрен его знает, от кого. То ли от Янки из Раковника, то ли от этой бляди, Зденки. . .
- Что же делать, Миша? — спросил я.
- А что тут сделаешь? В санчасть надо идти.

Вот это дела! А я еще грешил про себя на Мишку: мол, везучий же черт, ничего его не берет. Надо мне тоже пойти все-таки в санчасть провериться.

Но ведь сразу же прицепятся с вопросами: "Кто? Как зовут? Где? Когда? Как?". "Позор на всю Европу.

Что же теперь с Мишкой будет? Замполит, наверно, обрадуется: "Я вам говорил! Я же вас предупреждал! Вы мне не верили, думали, я вас просто пугаю — вот, пожалуйста!"

31 октября.

Утром приказали всему полку выстроиться на поляне перед лагерем.

Явился сам командир полка полковник Ва-шин. Он вызвал Мишку, поставил его перед строем и произнес речь:

— Товарищи гвардейцы-танкисты! Посмотрите, кто перед вами стоит. Подонок нашего общества! Мы защищаем Интернационализм, а он связался с чешскими проститутками и заразился триппером! Учтите, не так было бы обидно, если бы поймал наш, русский — три дня покололи бы и прошло — а то (командир полка поднял вверх палец) западногерманский! Неизлечимый! (Он перевел палец на Мишку). Теперь этот подонок покидает ряды нашего полка. Таким, как он, нечего тут делать! Вон из наших рядов!

Мишка отошел в сторону.

— Еще раз предупреждаю: чехи специально распустили венерические больницы. Запрещаю вам общаться с населением! Нарушителей ждет строгое наказание!

— А как же интернационализм крепить! — задал кто-то вопрос.

— Запрещаю!

— Где мы возьмем наводчика, товарищ полковник? — решил я как-то вступить за Мишку.

— Найдем.

Через пару часов на поляну опустился вертолет, и Мишке приказали собирать свои вещи.

— Куда это они тебя? — спросил я.

— В Германию, — ответил Мишка. — Лечиться.

— По такому случаю можно и вмазать, — сказал Толик, доставая из-под матраца бутылку паленки.

— Нет, ребята, мне нельзя, — вздохнул Мишка.

— Да по стакану всего, на дорогу!

— Все равно. . . Врач сказал, что при триппере ни капли спиртного нельзя.

— Это при сифилисе нельзя, — сказал Толик, разливая по кружкам самогонку, — а при триппере можно, я знаю. У меня брат, когда болел, он с утра до вечера спирт глушил — и ничего. Наоборот, быстрее только вылечился. Спирт — он любой триппер убьет!

Эх! . . . — махнул рукой Мишка. — Давай! Где наша не пропадала!

Мы звякнули кружками.

— Ну, пока, ребята! — Мишка обнял крепко Толика, потом меня.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил я его.

— А. . . все в порядке — спасибо физзарядке! До встречи в Германии! — Он помахал нам руками и забрался в вертолет.

1 ноября.

Ура-а!!! Комбат приказал готовиться к маршу! Послезавтра выступаем! Говорят, назад поедем не на машинах, а по железной дороге. Вот и хорошо, меньше хлопот.

Прощай, Чехословакия! На сгледано!*

ГДР.

г. Мейсен.

6 ноября.

3-го ноября наши танки погрузили на железнодорожные платформы, и мы отправились в Германию.

Дорогу описать не могу, так как мы не решались высунуться из машин: из всех проходящих мимо поездов в нас летели бутылки, консервные банки и всякая дрянь. Можно было схлопотать напоследок по голове.

Зато немцы нас встретили как героев. Дороги были усыпаны цветами, на тротуарах толпился народ и поздравлял с победой, девушки подбегали, дарили букеты и целовали.

Немцы угощают нас в гаштетах.

— Гут, русской зольдат! Гут!

— На здоровье!

— Давай-давай!

8 ноября.

Приехал Мишка из госпиталя.

Он вылечился, жив-здоров. Говорит, что западногерманский триппер не хуже нашего — три раза укололи, и все прошло.

* До свидания!

Замполит предложил мне как очевидцу написать для газеты "За нашу Родину" заметку о том, как был ранен взводный.

Я стал отказываться. О чем писать: как Генка долбанул стволом своего танка старлея в спину?

Но замполит уговорил меня. Это пригодится Мо-вскому для пенсии, его семья получит помощь, и вообще это было бы очень хорошо для репутации нашего полка. Пришлось сесть и накатать заметку.

"Геройский поступок младшего сержанта Геннадия Са-цко-го. . . . Чтобы не задавить мирных жителей, младший сержант Геннадий Са-цкий направил свой танк на танк командира взвода старшего лейтенанта И.Т. Мо-вского, хотя знал, что может произойти несчастный случай. . ."

Генке вынесена благодарность, а взводный награжден медалью и теперь получит хорошую пенсию. Все довольны.

Я тоже: замполит похлопотал за меня перед комбатом, и в следующее воскресенье я поеду на экскурсию в Дрезден.

Взгляну в картинной галерее на рыцаря с красной повязкой.

12 ноября.

Получил из дома письмо. Мать пишет, что чувствует себя хорошо. Месяц пролежала в больнице, но теперь вполне здорова и уже ходит на работу. Сильно переживает за меня.

Отец поражен, как к нам отнеслись чехи. (А ведь я ему и десятой доли того, что было, не смог рассказать в письме. Ни одного лозунга не привел и о свастике на звездах умолчал.) Пишет, что у него "просто не хватает слов. . ." Вспомнил, как их встречали в Праге в 45-м. ". . . как освободителей от фашистского рабства. Забрасывали цветами, обнимали, благодарили со слезами на глазах".

Нас тоже сначала встречали цветами.

А провожали пулями и всякой дрянью.

Брат приписал в конце письма пару слов: "Можешь не беспокоиться, "Днепр" твой в полном порядке. Я его даже починил слегка. Стал пахать еще лучше. Сделал несколько новых записей "Роллинг Стоунз". Послушаешь — обалдеешь!"

А насчет чехов заявил: "Я считаю, что эти чехи просто-напросто зажрались. Вломите им, как следует, чтобы не выдрыгивались!"

Ничего, ему на следующий год в армию: посмотрим, как он будет "вламывать". И кому. Может быть, ему придется у китайцев порядок наводить. Вот пусть и покажет, как надо "вламывать".

14 ноября.

В первые дни по приезде стали нас пускать в офицерский клуб. Даже на биллиарде разрешали играть. Но теперь опять запретили. Побаловались, как говорится, и хватит.

15 ноября.

Прекращаю вести записи, так как сегодня начались обыски.

Комбат, замполит, ротный и еще несколько человек с ними копаются в тумбочках, перетряхивают личные вещи, переворачивают матрацы, ищут все, что связано с Чехословакией.

Фотографии, письма, листовки, фотопленки, газеты, чешские деньги и т.п. — отбирают и уничтожают.

Надо срочно прятать куда-то свой дневник.

Москва, 1973 г.

26 марта.

Возвращался я вчера с работы домой на электричке. Стоял в тамбуре и курил.

Вдруг слышу какую-то очень знакомую (но не русскую) речь. Это вышли из вагона две девушки, лет по двадцать обeim. Достали сигареты, задымили, продолжают говорить.

Я прислушался — да это же по-чешски они говорят!

Давно не видел и не слышал чехов, пять лет прошло. Я даже почему-то обрадовался.

— Девушки, вы чешки? — спрашиваю.

— Да, да. . . А что?

— Да ничего, — говорю, — просто услышал знакомую речь.

— А вы говорите по-чешски?

— Нет, но немного понимаю. . .

Обрадовались, как будто земляка встретили. Одна сигареты предлагает (хорошие сигареты — "Кент"; я взял одну), другая — зажигалку подносит, чиркает.

Закурили, разговорились.

Они оказались студентками. Сказали, что занимаются во ВГИКе, что сейчас едут из центра к себе, на электричке очень удобно: выходишь и сразу попадаешь в Городок Моссовета, там их общежитие. . .

Я сказал, что мы соседи, моя остановка Лосиноостровская.

— А вы были в Чехословакии? — спросили они меня.

— Да, был, — ответил я и начал перечислять: — Лоуни, Бенешов, Раковник. . .

— Как турист?

— Нет, как солдат. . . — вырвалось у меня. — Я там служил в шестьдесят восьмом году. . .

Девушки переглянулись, улыбки сползли с их лиц.

В это время поезд остановился, и двери открылись.

Они бросили свои недокуренные сигареты и поспешно вышли (хотя это была вовсе не их остановка).

Когда они ступили на платформу, я увидел, как одна из них наклонилась к подруге и что-то резко сказала.

Всего одно слово.

Она произнесла его вполголоса, я не расслышал, но по движению губ я понял, что это было за слово.

Сколько раз мне приходилось слышать его в свой адрес на чехословацкой земле.



М. БАЙТАЛЬСКИЙ

18 августа 1978 года в Москве умер 74-летний журналист, литератор, публицист МИХАИЛ ДАВЫДОВИЧ БАЙТАЛЬСКИЙ.

М.Д. Байтальский родился 8 декабря 1903 года в местечке Черново Одесской области. Молодость его протекала на Украине — в Одессе, Харькове, Донбассе, сначала на комсомольской работе, затем — в различных газетах. В 1930 году он переезжает в Москву, где работает в ряде центральных и московских газет ("Гудок", "Вечерняя Москва", "Известия").

Как принадлежавшего в 20-х годах к троцкистской оппозиции, М.Д. Байтальского вскоре после убийства Кирова увольняют из редакции, и он поступает на Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения слесарем.

В мае 1936 года его арестуют — и с тех пор начинаются его, в общей сложности, двадцатилетние скитания по тюрьмам, лагерям и ссылкам. В промежутке между двумя сроками в Воркутинском лагере М.Д. Байтальский принимает участие в войне против фашизма и проходит трехлетний солдатский путь до Берлина.

Вернувшись из заключения после реабилитации в 1957 г., М.Д. Байтальский начал писать мемуары, в которых пытался на примере своей жизни осмыслить судьбу целого поколения, всей страны. Работа над книгой, у которой не было никаких шансов появиться в печати, затянулась на годы, в течение которых формировался писатель-публицист с обостренным чувством справедливости, наиболее плодотворно выразивший себя именно в последние восемь-десять лет — и как представитель демократического направления, и как сын еврейского народа. Будучи уже пожилым человеком, он сумел зрело

и без старческого умиления взглянуть на дела и идеи своей юности, сумел удивительно понять и историю, и современность. Его произведения, подписанные различными псевдонимами, стали широко известны в Самиздате и частично были изданы за рубежом.

Покойный М.Д. Байтальский по праву может считаться одним из наиболее талантливых публицистов современной нонконформистской отечественной литературы.

ПАМЯТИ МИШИ БАЙТАЛЬСКОГО

В гробу его лицо отвердело, четче обозначились скулы, рот, нос — характерный, еврейский, с горбинкой. Это был он, Миша, Михаил Давыдович, только казалось, что это — обведенный жестким пером его силуэт. Исчезла *жизнь*. Исчезла *мягкость*. Свойственная ему мягкость лица, улыбки, взгляда — взгляда удивительно синих, не выцветших ни в тюрьме, ни в лагерях, ни на фронте глаз. Замолокла добрая интонация чуть глуховатого его голоса, нередко пронизанная неспешно-мудрой иронией, не позволявшей доброте переходить в сентиментальность.

Не так уж часто встречается в людях гармоническое сочетание ума, таланта и доброты. Михаил Давыдович Байтальский был человеком, в котором все эти качества сочетались органически — и нельзя сказать, какое из них преобладало. Только не было, пожалуй, человека, который, прочитав его статью (все равно, согласен или нет он был с автором), не сказал бы: "Как талантливо!". Как не было человека, который, поговорив с ним, не захотел бы встретиться вторично, а встретившись с ним — не полюбил бы его.

Он излучал *обаяние неравнодушной личности*. Он любил людей — и вызывал ответную любовь. У взрослых и у детей.

А внутри, глубоко спрятанная, без всякой демонстративности, без всяких громких слов, крылась твердость его жизненных принципов. Нам всем следовало бы поучиться у него *терпимости*:

он умел спорить, не оскорбляя оппонента, не соглашаться — не настаивая на своей непогрешимости. Но что такое хорошо, а что такое плохо, он знал твердо — и злу не уступал. Тут он был непримирим, хотя проявлялась эта непримиримость в той же спокойно-мудрой, ироничной, неброской манере.

Мы говорим о человеке, о друге, которого мы все любили. А надо еще рассказать о *писателе*, о литераторе, которого с интересом и волнением читали многие, *не зная, кто он такой*. Живи Михаил Байтальский в любой стране, пользующейся свободой печати, имя его как публициста знали бы сотни тысяч, если не миллионы читателей. Сейчас его знают в нашей стране, вероятно, только сотни, может быть — тысячи, да и те не знают его настоящего имени.

Так вот, пусть они узнают теперь, что "М.Д.", "Домальский", "Красиков", "Аронович", — все это псевдонимы Михаила Давыдовича Байтальского. Что это он написал "Тетради для внуков", "Близкое и далекое", "Товар номер один", "Вчера и сегодня советских евреев", "Технологию ненависти" — и много других блестящих статей, памфлетов и эссе. Пусть хоть сейчас, после смерти, узнают, что написал все это человек в старости, в последние годы своей жизни, ибо в самую лучшую, самую зрелую для литератора пору он в качестве зэка кайлил уголь в шахтах Воркуты. И пристальная эта памятьливость, и едкая ирония, и пылкость эмоций, и строгость логического анализа, и неожиданность литературных и исторических параллелей, — все это принадлежало человеку, которому было за 60 и за 70 лет. Только в последние годы своей жизни удалось этому талантливому человеку хотя бы частично выразить себя, ибо только к концу жизни обрел он понимание, ласку и заботу, которыми всю жизнь был обделен.

Склоняем головы перед памятью Михаила Давыдовича Байтальского. В публицистике 60-х и 70-х годов нашей страны несомненно останутся его талантливые и правдивые свидетельства. И мы уверены, что все читанное нами в машинописном виде в самиздатном варианте будет, наконец, собрано и издано. Пусть пока ТАМ. Придет время — издадут и ЗДЕСЬ.

А мы, как все, кто его знал и любил, будем помнить Мишу — его высокую худошавую фигуру, его застенчивую улыбку и взгляд его по-молодому синих непотухающих глаз.

Близкие друзья

ОТЦЫ, ДЕТИ И, ВЕРОЯТНО, ВНУКИ

Исторический персонаж приобретает более полную жизнь, когда — пусть и с некоторыми неточностями — романист или драматург покажет нам его как человеческую личность со всеми ее плюсами и минусами.

Вот и пришел к читателю исключительно своеобразный человек, действительно существовавший, действительно сыгравший немалую роль в революции в первые ее годы и затем намертво вычеркнутый из ее истории, как были вычеркнуты сотни ее крупнейших деятелей. В романе Ю. Трифонова "Старик" он выведен под именем Сергея Кирилловича Мигулина — его подлинное имя Филипп Кузьмич Миронов. Несмотря на то, что автор воспроизвел множество редких подлинных документов, относящихся к историческому персонажу — Миронову, — его Мигулин остается самостоятельным литературным героем, и мы будем говорить не о Миронове, а о Мигулине. Но предварительно — одно важное замечание, касающееся известной специфики советской литературной жизни, — о цензуре.

Даже в достаточно благонамеренном романе найдутся строки, не угодные цензуре. А если в романе изображены исторические моменты, которые советская история систематически замалчивает, то тут цензура будет неумолима.

Ничего удивительного нет поэтому в том, что при всем желании автора показать читателю исторически-верную картину, ему этого не позволят. И не всегда разберешь: цензор ли вымарал или сам автор, наверняка знающий, что цензор непременно вымарает. Так оно и получилось с романом "Старик". Шрамы, нанесенные цензурой, видны чуть не на каждой странице, если она относится к событиям на Дону в 1918-19 гг. и к директиве о "расказачивании", которая хранилась в тайне и стала известна

(да и то очень немногим) лишь через 60 без малого лет, когда Р. Медведев и В. Стариков написали книгу о Миронове. Директива эта была подписана Свердловым. Разумеется, фамилии Свердлова в романе нет, да и слова "рассказывание" нет тоже.

Может быть, когда-нибудь люди прочтут роман Трифонова без купюр, как прочли "Мастера и Маргариту" через много-много лет после смерти автора. Тем не менее, в своем целом роман, даже изгрызанный цензурой, выделяется среди современных произведений советской литературы.

Не забудем, что есть советский читатель, стремящийся осмыслить окружающее и умеющий делать выводы из того, что он видит и читает, но лишенный возможности читать что-либо другое, помимо советской литературы. Для таких людей — а их миллионы — недоступны писатели, запрещенные в СССР. Живущие в СССР мыслящие писатели стремятся говорить правду так громко, как только они могут. И это вовсе не есть приспособление к цензуре, а отпор ей.

Читателю, не знающему истинной истории событий на Дону в 1918-1919 гг., трудно судить о том, насколько полно она отражена в романе Трифонова. Но в задачу романа и не входит то, что должно быть предметом исторического исследования. Задача, которую не первый раз ставит себе Трифонов, — осмысление опыта поколений: от юношей, делавших революцию в 1917 г., до юношей и детей, живущих сегодня. Те были фанатиками и были фанатически самоотверженны, но и фанатически жестоки, ибо фанатик не может быть другим. Потом, в старости, они мучаются и каются, как мучается и кается Павел Евграфович, старик, из записок которого в основном состоит роман. И через полсотни лет он пишет: "Бог ты мой, и как мало людей ужаснулись и крикнули!.. И я не ужаснулся, не крикнул!"

Павел Евграфович, в молодости участвовавший во всех жестокостях революции (он был членом ревтрибунала), на старости лет, преображенный и просветленный, ужасается жестокости своего малолетнего внука. Вот эта сцена, всего несколько строк. На московской окраине, где живет Павел Евграфович, по распоряжению свыше стреляют собак.

"Внучка Полины, великовозрастная Алена, бросилась к Павлу Евграфовичу, рыдая:

— Спасите! Они убивают!

— Кого? — изумился Павел Евграфович.

— Уже убили Гуслика! Теперь ищут Арайку, хотят убить! Какие-то звери! Боже мой, звери, звери!

Человек с охотничьим ружьем на плече удалялся в сторону сарая, рядом с ним мелькал, кажется, Приходько — в соломенной шляпе и в чем-то белом, развевающимся, — за ним бежала толпа детей. Павел Евграфович услышал азартный крик:

— Толя! Айда Арайку стрелять!

Он с ужасом узнал голос внука...”

Но для того, чтобы ужаснуться происходящему, надо, по мнению Ю. Трифонова, стоять в некотором отдалении от него. Потому он и избирает старика для суда над прошлым, которое он лучше других знает, как непосредственный участник — правильное сказать, соучастник. Прошлое уже ушло и психологически (но не морально!) освободило бывшего соучастника от своего давления. ”И как *увидеть время*, если ты в нем? — записывает старик. — Прошли годы, прошла жизнь, начинаешь разбираться: как да что, почему было то и это... Редко кто видел и понимал все это издали, умом и глазами другого времени. Такой Шура. Теперь мне ясно. Тогда я сомневался, как многие. Он один в истинном ужасе от директивы”.

Шура — дядя Павла Евграфовича, старый большевик, профессиональный революционер. Во время гражданской войны — член Реввоенсовета южного фронта. Исключительно интересная фигура — единственный в романе и не так уж часто встречающийся среди деятелей революции тип человека, выступающего против ее несправедливостей. Он против директивы о рассказывании и, хотя бессилен сделать что-то значительное, но в меру своих возможностей сдерживает тех, кто в разрушительном раже готов сокрушить все и вся.

Глубоко сочувствуя Шуре, автор, верный исторической правде, не может привести примеров, когда Шура добился бы заметного успеха в своем стремлении быть справедливым. Его возможности слишком ограничены. Вот он отказывается быть членом суда. Он поступает по совести, но история движется по-своему, и Мигулина приговаривают к смерти. И неудивительно, что Шура, при всей художественной точности его портрета, остается проходным персонажем. Революции такие люди не очень-то нужны.

Значительно подробнее выписан Мигулин. Он может показаться центральным лицом романа — о нем больше, чем обо всех других, сказано. Приведено множество его писем, в которых он встает как необычная личность, как безоглядно смелый защитник обиженных и страдающих. Доживи он до конца двадцатых годов (что было абсолютно невозможно при его характе-

ре), он был бы заступником крестьянства, подвергавшегося насильственной коллективизации, и его бы расстреляли в ее первые же дни, — но он был убит раньше.

Подлинные письма Миронова, приведенные в романе как письма Мигулина, полностью подтверждают эту мысль: такой человек не годился ни революции, ни коллективизации. Каждым своим письмом, каждой своей прокламацией, обращенной к казакам, он сам писал себе приговор.

Как и его прототип Миронов, Мигулин в конце концов погибает от рук той же власти, которой он отдавал все свои силы. Некоторые исторические несовпадения не столь важны — важно то, что таким людям революция не прощает их особость. Их смерть от ее собственных рук предопределена.

Революция не приспособлена быть справедливой к личности. И не только потому, что ей некогда разбираться в личной психологии и личных мотивах каждого ее друга или недруга. Но более всего потому, что в ней интересы класса, общества, государства стоят неизмеримо выше интересов личности, и в любом конфликте между личностью и государством последнее торжествует. И должно торжествовать! Иначе революции конец, она запутается в коллизиях и сама себя изживет.

Таким образом, личность человека (человека из массы, а не из верхушки, творящей революцию) в эту эпоху превращается в очень малую величину. Цена его жизни — копейка. А если дело происходит в стране, в которой личность от века была подавлена и унижена, то в эпоху взаимного уничтожения она и вовсе превращается в ничто, в совершенно пренебрегаемую бесконечно малую человеко-дробь.

Обвинения, которые выдвигал Мигулин против "плохих" коммунистов, совершавших бессудные убийства невинных людей, сделали его неприемлемым в глазах высшего руководства. К его жалобам мало прислушивались, но за его беспокойный дух и склонность действовать без спроса, по велению своей совести, навешивали ему разные опасные ярлычки, вроде "эсер" и "мелкобуржуазный революционер".

Мелкобуржуазность, очевидно, состоит в том, чтобы не видеть в каждом человеке только и исключительно представителя класса, но замечать и его самого. В условиях гражданской войны это означало: не стрелять в каждого, кто принадлежал к другому классу, но, по крайней мере, отличать вооруженного от невооруженного. Иными словами, вести войну с солдатами, а не с безоружными жителями.

Вглядимся получше в того, кто не хочет убивать безоружных. Он бесспорный противник террора, ибо террор характеризуется прежде всего убийством безоружных. Декрет о расказачивании, как и последующие решения о раскулачивании, есть явный государственный террор: убивать (или высылать на верную смерть, что немногим отличается от убийства на месте) всех, кто состоит в родстве или в социальной близости с противником — зачастую, впрочем, воображаемым. Террор — это ужас, наводимый на все население или на его значительную часть такого рода убийствами, от которых никто не застрахован.

В принципе между государственным, групповым и индивидуальным террором разницы нет — различие лишь в масштабах. Во всех случаях для тех, кто пользуется террором, нет виновных и невиновных — для них вообще нет человека, а есть идея, требующая человеческих жертвоприношений.

Павел Евграфович, старик, выступающий в романе, как ведущий в сценическом представлении, был в молодости одним из тех, кто наводил страх. Сейчас он кается, он полон ужаса: заметим, что он сам очень часто употребляет это слово — только в приведенных выше небольших отрывках из его высказываний оно повторяется несколько раз. Вот как террор отомстил Павлу Евграфовичу.

Однако, таких, как он, не очень уж и много, хотя бы потому, что огромное число их погибло от сталинского террора в 1937-39 годах. Тем не менее, из оставшихся в живых далеко не все находят в себе мужество переоценить свое прошлое. Сколько раз мы слышали: "Если бы меня спросили, готов ли я повторить свой путь сначала, я бы ответил: да!" Готов снова принять участие в терроре! Надо ли больше? Это террористы по убеждению, и если иным из них пришлось и на себе испытать кое-какие из методов, в принципиальной правильности которых они убеждены, это их не потрясло и ничему не научило.

История ничего не прощает — прощение просто неосуществимо. Не может быть так, чтобы одно поколение что-то сделало, и это сделанное, ставшее уже решающим элементом действительности, не сказалось на последующих событиях и на вновь родившихся людях. Вот история и отомстила поколению Павла Евграфовича, наложив на следующие поколения, — на детей и внуков, печать своего проклятия, удивительно напоминающего библейское проклятие, звучавшее в устах пророков: "Отцы ели незрелый виноград, а дети будут страдать от оскомины".

Печать этого проклятия — постоянная тема Ю.Трифонова.

Он не произносит библейских слов об отцах и детях, но он не устает со всех сторон рассматривать: кого же родила великая, прославленная революция? Устами Павла Евграфовича он выражает свою идею: "То, истинное, что создавалось в те дни, во что мы так яростно верили, неминуемо дотянулось до дня сегодняшнего, отразилось, преломилось, стало светом и воздухом, чего люди не замечают, о чем не догадываются. Дети не понимают (романист явно имеет в виду не детишек, мальшей, а взрослых людей, детей сегодняшнего старика). Но мы-то знаем. Ведь так? Мы-то видим это отражение, это преломление ясно. Поэтому так важно теперь, через полвека, понять причину гибели Мигулина". Заметим: речь идет о причине. Старик ищет причину всего.

От того поколения родились те самые люди, которые ныне в средних летах. О них, сегодняшних средних и среднего уровня людях, пишет во всех своих произведениях Трифионов. Перед нами — галерея портретов этих людей, современных интеллигентов, средних героев нашего времени: Руслан, сын Павла Евграфовича, — слабый, мало к чему пригодный и честный человек.

Сын Мигулина, о котором сказано только пять слов устами Аси, мигулинской вдовы: "Вот Борька ничего не умел"... Борьки этого уже нет в живых, но жива Асина невестка: "Она еще не стара... Так, подвляла чуть-чуть, с одного бока, как яблочко лежалое. Она женщина с положением. В администрации института... Знать не знает и слышать не хочет про Сергея Кирилловича (т. е. про Мигулина)... Боится, что повредит... Женщина уж какая расчетливая"... И все, больше о ней ничего не сказано, но и этого вполне хватает.

Далее — Верочка, дочь Павла Евграфовича — серенькое существо, которое обеими руками держится за своего мужа.

Ее муж Николай Эрастович — кандидат наук, любопытный тип, освещенный бегло, но ярко. Крайний русист — это видно из спора об Иване Грозном (спор остро современный: в каждом слове о царе Иване подразумевается Сталин). Он оправдывает все жестокости и всю подлость Ивана: "Царь Иван сделал бесконечно много для России! — тонким голосом прокричал Николай Эрастович". Он, кстати, религиозен, но его тесть не верит в его искренность — в нее, похоже, не верит и автор.

Все они, сыновья, дочери, невестки и зятя участников революции, решительно ничего не желают знать о Мигулине (невестка, как мы видели, боится этого знания), ни о том времени — их не интересует, откуда они сами явились на свет.

Есть еще персонаж, изображенный несколькими быстрыми мазками кисти — кандидат наук Роман Владимирович. Он рекомендует себя биологом, но из текста видно, что он психиатр: Руслан привез его к отцу, чтобы установить, здоров ли тот психически. И, очевидно, с ведома других членов семьи, которым начинает казаться, что старик не совсем в своем уме: без конца перебирает свои записки, свой архив с документами восемнадцатого года... Детям непонятно, как это можно еще интересоваться прошлым, что-то там записывать, вникать в историю. Что им Гекуба и что они Гекубе?

Эти люди, считающие себя интеллигентными и мыслящими, настолько испорчены воспитанием, которое всех нас покалечило, что полагают: каждый, думающий не так, как они, — сумасшедший. Теорию Снежневского, может, не все знают, но все следуют этой отвратительной теории, и мыслящий не так, как мы, должен быть засажен в психушку.

Художественная сила Ю. Трифонова состоит в том, что он умеет простыми средствами показать не только человека самого по себе — это истинная литература всегда умела, — но и человека внутри его эпохи. И, что очень важно, — человека, пережившего свою эпоху и недоуменно рассматривающего ту, которая за ней последовала и ею рождена. Так недоумевает Павел Евграфович, рассматривая своих детей и их сверстников — это современное поколение, самым ярким представителем которых служит лицо, очень слабо связанное с сюжетной линией романа, но чрезвычайно важное и нужное для понимания его философской линии: я говорю об Олеге Васильевиче Кандаурове. Олег Васильевич не менее обязателен в романе Трифонова, чем Мигулин и Павел Евграфович.

Олег Васильевич — такое же закономерное порождение эпохи, как и сын Павла Евграфовича, этот, по словам родного отца, "пустой человек", ибо не пустыми людьми продолжается дело, начатое стариком и его друзьями. Продолжатели дела должны быть энергичными, ни перед чем не останавливающимися, решительными людьми. Олеги не свалились с неба. Но считать, что они не более, как наследники приспособленца Приходько, — значит не понимать главного.

Приходько, человек старшего поколения, учился до революции в юнкерском училище и, скрыв это, вступил в коммунистическую партию, затем при активном участии Павла Евграфовича был исключен, но сумел восстановиться и сделать карьеру. Приходько был не один, таких было великое множество. Одна-

ко, не они породили Олега Васильевича, не они создали режим анкетных проверок и перепроверок, режим разделения людей на рядовых, средних и верхних. Таким, как Приходько, анкетные перепроверки как раз и опасны. Им лучше незавершенность системы, неразвитый социализм. Им нужно устройство, при котором сведения об их неподходящем прошлом утонули бы незаметно. А Олег Васильевич, напротив, дитя порядка и твердых правил, дитя зрелости. Он не боится ни проверок, ни анкет. Он прозрачен, как стеклышко. Его анкета — чистенькая, чище не бывает. Социальное происхождение сейчас уже не имеет значения, да у Олега Васильевича оно и не может быть плохим: ему сорок пять лет, значит, он родился после коллективизации и после того, как кулачество ликвидировали, а кулаков уничтожили. Значит, его отец либо рабочий, либо колхозник — скорее второе; автор сообщает: "Приехав в Москву мальчишкой, протаранил себе путь в институт". Среди приехавших в Москву в сороковые годы крестьян значительно больше, чем уроженцев малых городов. К сорока пяти годам Олег Васильевич преуспел настолько, что работает в министерстве, встречает какие-то делегации, не раз побывал в зарубежных командировках. Его приятель, Игорь, в квартире которого Олег устраивает свои свидания с любовницей, подчиненной ему по службе молодой особой, живет в прекрасной квартире: "У Игоря была царская ванная, все замечательно оборудовано, со всеми приспособлениями, которые он вывез из ФРГ". Совершенно очевидно, что Игорь также преуспевает: Игоря и Олега близки между собой. Игоря и Олега — вот подлинные герои нашего времени.

Сейчас, когда мы знакомимся с Олегом Васильевичем, он как раз собирается в командировку в Мексику. Он проводит последний вечер со своей любовницей, и она задает ему вопрос, какое из благ он выбрал бы первым из того, чего добивается для себя. "Странная викторина, — говорит он. — Зачем тебе?" А она отвечает: "Просто, чтобы знать, как жить. Ведь ты мой учитель жизни, скажи напоследок: что уступать? И после чего? Женщина, семья, имение, путешествия, власть... Что ты хочешь больше всего?"

Она отлично сформулировала (это ее автор научил) все желания Олега Васильевича: женщина, семья, имение (дача), командировки за границу, власть (ему обещают "ответственное кресло, которое сулит еще более высокие наслаждения"). Олег Васильевич действительно учитель жизни для своей любов-

ницы, — они, как он сам угадал, ”слеплены из одной глины. Первая женщина, в которой он угадал себя”.

Какое же свойство знает в себе более всего Олег Васильевич? Упорство — но упорство в особом, специфическом для человека, делающего карьеру, понимании: добиваться всего, действуя до упора. ”До упора — в этом суть. И в большом, и в малом, везде, всегда, каждый день, каждый час”.

Так он орудует, добиваясь у докторши из поликлиники нужной ему справки: он действует лестью, мужским обаянием, обманом, наглостью, а добивается-то чего? Пустяковой справки. Но таков его принцип: до упора и в большом, и в малом. В большом-то он уж немало добился.

Цели у людей разных поколений могут быть разными, — впрочем, эта разница часто кажущаяся. Мы видим, что Олег Васильевич добивается власти и ответственного кресла в Москве. Но если подумать, то ведь большевик Бычин, из донских иногородних, тоже добивался в 1918 году власти — только не для себя лично, а для всей донской бедноты, для всего рабочего класса России.

Ничего удивительного: когда власть еще не добыта, то те, кто ищет ее, ищут для всей своей группы, для всего класса, для всей партии. А когда она для всех воевавших вместе завоевана, то внутри формируются новые устремления: жажда власти для каждого отдельно — личной власти. Это неминуемая эволюция власти, меняющейся по мере своего усиления. Одно дело — в ее начале, и совсем другое — в ее цвете. В первом случае она не имеет твердо разработанной иерархии (но есть авторитеты, пользующиеся властью как бы автоматически, как бы само собою). Во втором случае иерархия строго установлена — и поэтому находящиеся на ее нижних ступенях, узнав вкус личной власти, стремятся к более высоким иерархическим ступеням.

Все эти стремления тем сильнее, чем тщательнее разработана система привилегий, присвоенных каждой из ступеней.

Олег Васильевич жаждет власти, вероятно, ради нее самой, но так же — и это отлично видно из его поведения — ради привилегий, которые она дает в нашей стране. В привилегию превращено чрезвычайно много из того, что с нормальной человеческой точки зрения никогда не могло бы стать привилегией, если бы власть имущие не присвоили себе все блага, которые по самой сути должны принадлежать всем.

На одной из последних страниц романа рассказано, как в благословенный лесной уголок Москвы, где расположен домик

Павла Евграфовича, приезжает черная "Волга" и из нее вылезают три человека. "Разговаривая, они пошли в глубь участка. Тот, что нес красную папку, шел посередине, держал папку двумя руками сзади и слегка постукивал ею по спине. Руслану не понравилось, как он постукивает папкой по спине. Была какая-то нагловатость".

А это шли те, кто будет руководить постройкой пансионата для "младшего персонала" из "управления". Что за "управление", читатель угадает сам. Управление решило присвоить себе воздух этого участка, а жителей переселят куда-нибудь в менее приятное и удобное место.

Если воздух стал привилегией для младшего персонала из разных управлений, то что же говорить о привилегиях для высшего персонала?

Мы говорили о разнице в целях власти, которой добиваются в период переворота, и власти, которую ищут в эпоху стабильности. Но в средствах и этой разницы нет. Средства одни, их превосходно выразил Олег Васильевич: нажимать до упора. До упора, до полного уничтожения всего и всех, кто стоит на дороге. Расказачить всех казаков, богатых и средних, враждебных и нейтральных. Раскулачить всех кулаков, и если не хватит кулаков, придумать новую классовую категорию: подкулачники. Бить до упора!

До упора бьют исполнители центральной "директивы", сохраняемой в тайне: Шигонцев и Бычин, Браславский и Гойлит.

До упора жмет Янсон, выступающий обвинителем в суде над Мигулиным — он требует расстрелять его и всех подчиненных ему командиров.

До упора давит Олег Васильевич, добывая себе начальственное кресло, командировку в Мексику и дачный домик на лесном участке с благословенным воздухом.

До упора нажимают те, кто отводит лесной участок под пансионат для младшего персонала.

Среди всех них, от Бычина и Браславского до Олега Васильевича и тех, что осматривали участок, нет места ни жалостливым, ни сомневающимся в своем праве убивать других, использовать их жизнь в своих интересах, выселять и переселять (как и высылать, как и сажать). Для них нет человека, а есть только идея — или то, что заняло ее место, но что уже перестало казаться идеей даже слепым.

Поколение детей Павла Евграфовича и их ровесников, поколение Олегов и Игорей, будучи наследником духовного

достояния своих отцов, сумело по-своему его перестроить и переоборудовать, как и все наследники обычно перестраивают и переоборудуют дом, перешедший к ним от родителей.

Их качества — производное от качеств фанатичных вершителей первого периода революции. Производное — не значит прямое продолжение или повторение, а дальнейшее развитие в новых условиях. Отцы были фанатики — дети лишены убеждений. Отцы были бесстрашны — дети трусливы. Отцы были честны — дети готовы продать кого угодно и себя впридачу ради теплого местечка и командировки за границу.

Храбрость, честность, убежденность — качества, сильно зависящие от окружающей обстановки, от условий и места действия. Люди, храбрые и честные на поле боя, становились трусами и предателями в Лубянской камере. Но есть черты, которые сохраняются в человеке от его детства до самой смерти и которые в более или менее трансформированном виде передаются детям, благодаря общественной семейной преемственности (а частично и наследуются): это социальные черты, наиболее важной из которых является отношение к человеку и обществу.

Если, например, храбрость и трусость в значительной мере зависят от обстановки, то мировосприятие составляет действительную часть системы, в которой живут люди. Они сами участвуют в ее создании, но в то же время подчинены ей. Решающий момент — это как человек воспринимает свое "я" в отношении к "мы" и к "они".

Это восприятие "себя", "нас" и "их" складывается исторически и передается из рода в род и поэтому резко различно у англичанина и китайца, у француза и русского. Революция изменила почти все, но не изменила этих отношений. Они продолжают оставаться частью системы, и более того: они охраняют систему, в которой мы живем. В ней "я", человеческая личность, с давних времен подчиняется роду, общине, государству — всему тому, что охватывается понятием "мы". А там, где господствует понятие "мы", оно непременно противопоставляет себя другим обществам, племенам и государствам — это все "они". Мы и они всегда смотрим друг на друга с подозрением: как бы "они" не насолили "нам".

На первый взгляд кажется, что Олег Васильевич воплощает в себе принцип "я". Это неверно. "Я" вовсе не эгоизм, топчущий всех окружающих. "Я" — это чувство самоценности человека. Оно не мирится с превращением человека в средство для осуществления идеи, в винтик общественной или государствен-

ной машины. Этому "я" противостоит принцип "мы". Олег Васильевич как раз и есть воплощение всеохватного "я".

Эгоизм — понятие весьма растяжимое. Эгоизмом называют и крайнее себялюбие, и естественную подчиненность человека инстинкту самосохранения. Мне думается, что система, где декларируется, что прежде всего стоит "мы", а "я" ничтожно, где нет уважения к человеческой личности, — такая система полна искушений подавить всех, кого может, во имя великого "мы". И тот, в ком чувство человеческой личности достаточно развито, поддается этому искушению. Он поддается ему, и достаточно ему чуть-чуть вкусить от власти над людьми, как он катится и катится по пути к власти.

Олег Васильевич — неотъемлемая часть системы "мы", он без нее возникнуть не мог. Он сознает, что он часть коллектива, всем обязанный коллективу и ничтожный перед всеподвляющим "мы". Он ни в коем случае не противопоставляет себя "нам", — нет, он знает, что среди "нас" есть строгая иерархия, в которой и он занимает свое заметное место. "Мы" — это огромная пирамида, неразрушимая потому, что ее камни сложены наиболее совершенным способом: кладка сужается кверху. При такой кладке можно обойтись и без цемента. Куб, например, был бы куда менее устойчив.

Олег Васильевич твердо знает свое место как камня в пирамиде. Его стремление — подняться на один ряд выше, но вовсе не вылезти из пирамиды. Сознания самоценной личности в нем нет. И подавно нет у него сознания, что другие люди могут быть личностями. Вот это и объединяет детей, функционеров "развитого социализма", с отцами, солдатами революции. И восходит это к еще более далеким дедам и прадедам.

"Нет таких крепостей, которых не могли бы взять большевики", — сказал Сталин. Он дал исторически верную, исключительно точную формулу. Каков же метод взятия крепостей? Этот метод применим только в стране, где считают на многие миллионы голов. Мы его видели, история нам показала: класть миллионы.

"Нет таких крепостей" относится и к общим, и к частным случаям. Действовать до упора! — не более как парафраз сталинской формулы. Принцип "до упора" органически сливается с мировосприятием, в котором личность только на то и годится, чтобы сделать ее средством для достижения цели. Цель же — взятие крепость.

У этих людей — органическое и неисправимое непонимание сущности и запросов человеческой личности. И никто никогда не научит их, что есть глубокая разница между тем, что представляют для человека его внутренние ценности, и тем, что ему необходимо для удовлетворения своих жизненных потребностей. Для них жизненные нужды человека (одежда, еда, жилище, продолжение рода, развлечения) — такие же ценности как для других свобода, совесть и достоинство. И это с поразительной художественной силой показано в сцене последнего свидания Олега Васильевича с его любовницей.

Пытаться исправить этих людей — химера. Подобно Павлу Евграфовичу, я с ужасом думаю о его внуках. Какими они будут? В какую сторону разовьется то бесчеловечное и безличностное начало, которое отцы унаследовали от своих отцов и которое неизбежно, но в каком-то новом варианте, еще должно появиться во внуках? Ответа ждать не так уж долго.

Июнь 1978.

P. S. Впрочем, все это — лишь мысли читателя, которые он никак не вправе навязывать романисту. Весьма возможно, что романист хотел сказать совсем не то, что я у него прочитал. Это предположение подтверждается тем, что я (уже после того, как написал свою статью) читал в интервью Ю. Трифонова, напечатанном в № 6 "Иностранной литературы". У меня сложилось впечатление, что этим интервью писатель уплатил цензуре за дозволение напечатать свой роман.



СТИХИ НЕИЗВЕСТНЫХ

(Вступление и комментарий В.Абрамкина)

1

Открытка. Репродукция картины Ван Гога. Потертая, прошедшая через руки разных людей. На обороте, мелким, убористым почерком — стихи. Эту открытку берешь в руки с неменьшим волнением, чем берестяную грамоту, чудом уцелевшую в безжалостной мясорубке веков, или глиняную табличку, с едва различимыми, но сохранившимися под грузом тысячелетий, значками.

Эти стихи написаны во Владимирской тюрьме. Больше мы ничего не знаем об авторе этих стихов. Впрочем, текст перед нами, и слова, выложенные на бумаге, подробнее основательной биографической справки. Открытка вынесена из Владимирской тюрьмы... Здесь мы должны остановиться, и читателю придется поверить нам на слово: история о том, как она вынесена — проста и красива. (Те, кто хоть немного знает о Владимирском каменном царстве произвола, насилия, издевательства, о пытках голодом, о системе надзора и обыска, поймут, что стоит за словами: написано во Владимирской тюрьме, вынесено из Владимирской тюрьмы...).

Для меня эти строки из поэмы сцеплены в памяти с тем морозным ноябрьским утром, когда мы несколько часов простояли у стен тюрьмы. В то утро должен был выйти на свободу один из узников Владимирки. Должен был... Но изуверская система подавления работает до упора, до последнего дня, последнего часа,

последней минуты. За несколько дней до освобождения мой друг, мой брат по сопротивлению (я не был знаком с этим человеком, но нет здесь никакого противоречия — да, мой брат...) был этапирован в другой город, другую тюрьму, так чтобы никто не узнал об этом (в таком издевательстве напоследок — он не должен был увидеть нас, мы не должны были обнять его, заглянуть в его глаза, вместе пройти по улицам города без конвоя — в очередной раз проступает патологическая жестокость нашей системы).

Мороз за минус 20, наша неопытность (потом мне рассказывали, что такие "сюрпризы" отнюдь не редкость для Владимирки) и, соответственно, легкомысленность, с которой мы снарядились в эту поездку (через час нас била безостановочная дрожь), грязно-черные стены тюрьмы и "чистилища", как окрестил я для себя длинное высокое административное здание, отделенное от проспекта белыми (белыми!) березами (до сих пор не могу вспомнить, в какой именно цвет выкрашена Владимирская тюрьма, так и осталась в памяти — грязно-черные стены).

В то утро совсем иначе, чем несколько дней назад, когда я переписывал фрагменты из поэмы "20-й год", звучали во мне эти строки — я проговаривал их про себя, как молитву...

Не знаю, помогла ли кому-нибудь эта молитва еще, но мне помогла.

Наверное, не стоит говорить в этом и так затянувшемся предисловии о том, что в самих стихах. Драгоценны эти строки и сами по себе, драгоценны, как свидетельства неуничтожимости слова, истины, красоты...

Автор — узник Владимирской тюрьмы

ПСИХИЧЕСКАЯ АТАКА

Фрагмент из поэмы "20-ый год"

Поручик выпьет перед боем,
Глоток вина походной фляги.
Он через час железным строем
Уйдет в психической атаке.

Поручик курит
до сигнала.
На фотографии в конверте

И я иду по вольной воле,
По той земле, где нивы хмуры.
И мне упасть на том же поле,
Не дошагав до амбразуры

2

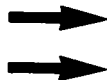
Tedium vital. О т в р а щ е н и е к ж и з н и. Это название. А дальше перебираешь каждую строчку с нестыкующимися, несоединяющимися друг с другом словами, и проговариваешь, невольно проговариваешь ее про себя, и уже не отделаться от раздрающе минорной погудки, нарастающей в тебе от четверостишия к четверостишию, и не избавиться от нее, не избавиться...

Сейчас я думаю: а что бы я сказал об этих стихах, если бы не знал, где они написаны, если бы еще раньше не читал и не слышал об Институте им. Сербского, печально известном заведении, предназначенном для разработки способов у б и е н и я духа человека? Может быть, я стал бы рассматривать с точки зрения эстетической ценности? Но можно ли рассматривать с такой точки зрения то, что лежит за пределами искусства?

Каким бы жестоким не казалось литературное произведение (вспомним, например, жуткие истории Кафки, или рассказы Акутагавы Рюноске), в нем всегда есть надежда на спасение, и читатель найдет выход, отстранившись от него, как от нарисованного, ирреального. Но в *Tedium vital* такого выхода и спасения нет...

Нам известно имя автора, но мы вынуждены ограничиться вымышленными инициалами — П. О.: до сих пор человек, написавший эти стихи, находится в системе психиатрического террора. *Tedium vital* воспроизведено по памяти Леонидом А., другом П.О., заучившим их наизусть в психиатрическом институте-тюрьме. Ну что ж, пока это самый надежный способ передачи информации на волю.

— Я не представлял, — сказал Петр Старчик, бывший узник карательных медицинских учреждений, — чтобы с такой точностью, реалистичностью в нескольких строчках можно было бы обрисовать обстановку и атмосферу, царящую в институте им. Сербского и портреты его обитателей. Поразительно: П. О. это сделал.



T E D I U M V I T A L

Кроваво-мглистые рассветы...
Бордово-черный солнца свет...
Прыщаво-скользкие клеветы...
Заспинно-пакостный навет...

Красиво-лживые честняги...
Крикливо-тихие лжецы...
Блудливо-ханжества коряги...
Махровой наглости жрецы...

Ухмылок желтая крапива...
Ужинный взгляд промозглых глаз.
Зевок украдко-торопливый...
В скафандре хамства вдушелаз...

Дыбоволосость вязкой ночи...
Потливо-дробный шепот тьмы...
Черве-амебной рожи корчи...
Могильной жуткости холмы...



СОБЫТИЯ

и судьбы

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

М. Зотов

ПОДСПУДНЫЙ ЖАР

Сотрудник КГБ во время моего допроса 13 сентября 1978 г., указав на изъятые у меня самиздатские "Бюллетени по Проекту новой Конституции СССР", с презрением бросил:

— Что диссиденты? Народ за ними не пошел. А без народа они — ничто!

— Дайте диссидентам трибуну, и тогда можно будет сказать, пошел или нет.

И я, и он под словом "народ" разумели тех, кто под неусыпным оком партии производит материальные ценности и выращивает хлеб. Недовольство народа недостатком продуктов, низкой зарплатой, повышением цен, ограничением свобод — загнано внутрь, обречено на молчание. Власти считают такое положение нормальным, забывая, что возмущение, лишенное возможности излиться хоть бы устно, подобно нарыву, готовому прорваться вмиг — в самом страшном виде.

Об одном таком прорыве я и расскажу. Мне хочется показать, насколько методы диссидентов, простроенные на прин-

ципе обычной критики отклонений советской системы от правовых норм, ЗДОРОВЕЕ положения, при котором все обречено на молчание. Несколько таких нарывов, прорвавшихся в Темиртау, Новочеркасске и др., стали известны. Мой же рассказ — о нарыве, лопнувшем в Тольяттинских исправительно-трудовых лагерях в 1970 году.

1969 год. Агитпроп закликает всех в стране "достойно встретить" приближающийся юбилей — столетие со дня рождения Ленина. 22 апреля 1970 года — черта своеобразного финиша, достижение которого должно быть отмечено каждым и всеми. Повсюду принимаются повышенные соцобязательства. Каждый обязуется "трудиться так, как не трудился еще никогда".

Напрягая свои силы, все надеются и на взаимность правительства — уж оно постарается отличить эту дату чем-то значительным и радостным. Одни ждут снижения цен, другие — увеличения продолжительности отпусков, третьи... Третьи ждали амнистии. И особенно ее ждали сами заключенные.

Наконец, настал долгожданный день. Парадные речи, декларации, бурные аплодисменты, и... все. Никакой амнистии.

Население лагерей замерло, оно не хотело верить, что мечта, еще вчера наполнявшая их "сроки" смыслом, улетучилась. Зэки ходили по зонам злые, сами не свои.

Я, живший долгие годы по соседству с лагерями УР 65/16 и УР 65/7 (их называли "семерка" и "шестнадцатый"), имея много знакомых среди бесконвойников, — не узнавал их. Еще недавно веселые, полные надежд, они вдруг поблекли, сникли, насушились. Но не все. Если приходилось встречаться на дороге с проходящими под конвоем лагерниками, в глазах многих из них можно было заметить злобные огоньки. Наконец, в ночь на 22 мая, ровно через месяц после обманчивой даты, эти огоньки переросли в пламя. . .

Наступил вечер, все уже готово: распределены бутылки с горючим, огнетушители наполнены бензином. В глазах нетерпение: "Пора!"

Начало моего рассказа построено на словах очевидцев. Дальнейшее я видел сам.

...Они вспыхивали один за другим, эти гигантские гробы. В небо ночи взвивались багряные языки пламени и вскоре слились в единое полотнище бушующего огня. Торжествующий

воплъ из сотен глоток — словно аккомпанемент разнудавшейся стихии, сотряс ночь на многие километры вокруг:

— Семерка-а! Поддержи-и!

И эхо этого призыва зажгло бараки "семерки".

Оба лагеря захлебнулись в желто-багряном мареве, и мгновениями казалось, будто весь мир потонет в этом океане всеуничтожения. Ночь стала походить на предтечу той, будущей, что еще отголосит адом над всей Россией...

Море огня. Выкрики. Торжествующий вой восставших. Выскочившие на улицу жители близких поселков: стены их домов вот-вот вспыхнут. (Только безветрие спасло их от уничтожения, так же, как и окружающий лес).

Лагеря бушевали. Промзона, со сложенными там сотнями кубометров пиломатериала, с машинами и пилорамой, отгороженная от "шестнадцатого" высоким забором, рядами колючей проволоки, вышками, яростно отбивала попытки эков втянуть ее в общую оргию. То в одном, то в другом месте, перемахнув через ограждения, падала на штабеля очередная бутылка с горючим и взмывала костром, но "козлы" (лагерные дружинники из эков), орудуя брандспойтами, сбивали пламя.

Пока шла атака на промзону, группа эков "семерки" овладела оказавшимся зачем-то в жилой зоне трактором. Его завели и направили в сторону "шестнадцатого". Направляемый трактор, с ревом сметая на своем пути ряды колючей проволоки "запретки", врезался в забор, подминая под себя столбы и доски. Обливаемый пулями автоматчиков с вышек, он ворвался в жилую зону "16". Им тут же овладели эки, развернули и вновь пустили на запретку. На "семерке" трактор вспыхнул и умолк. Но дело было сделано.

Через многометровый проход, объединивший оба лагеря, в "семерку" ринулась толпа. Большинству "козлов" удалось ускользнуть за вахту — охрана пропустила и прикрыла их. Некоторых, однако, захватили восставшие: кого избили, кого сразу убили, кого бросили в пламя. Ночь огласилась душераздирающими воплями...

Штрафной изолятор "шестнадцатого" находился в дальнем углу лагеря. Неизвестно, кто додумался перекинуть через забор зоны изолятора бутылку с горючим. Деревянный барак, разделенный внутри длинным коридором, по обе стороны которого были камеры, мгновенно вспыхнул. Запертые в камерах с криками бросились к зарешеченным крошечным окнам. Они умоляли двух дежурных охранников выпустить их.

Утверждают, что один из охранников, наблюдая полыхавший изолятор, с издевкой отвечал: "Кенты вас зажарили, их и просите!"

"Кентов" просить не потребовалось. Поняв, что в изоляторе заживо сгорают их дружки, несколько эзков быстро перемахнули через забор изолятора и бросились на охранников. Одному из них все же удалось вырваться и он, прикрываемый автоматными очередями с вышки, выскользнул в калитку, ведущую из лагеря. Второй же был схвачен. У него нашли ключи от камер и стали спешно их открывать. Едва не сгоревшие и чудом спасенные, эзки бросились на своего мучителя. Его грызли, били, топтали, пока он не испустил дух...

Между тем в ночном, освещенном высоким пламенем небе появился вертолет. К восставшим лагерям подкатывали грузовики и бронетранспортеры. Солдаты стремительно окружали лагерь плотным кольцом. На пригорках, под тревожно окрашенными отблесками пожаров соснами, устанавливали пулеметы. Как стало известно позже, ждали только приказа из Москвы. И приказ прибыл – стрелять только по тем, кто попытается бежать.

Восставшие понимали свое положение, и попыток к побегу не было, а это в свою очередь лишило солдат возможности "порезвиться".

Прибывшие вслед за солдатами пожарники, под прикрытием автоматчиков, направили свои машины в "шестнадцатый". Но эзки тут же порубили пожарные шланги, и те вынуждены были вернуться назад. Зато начальник "шестнадцатого" пренебрег благоразумием – и поплатился. Пройдя в зону, он обратился с призывом прекратить бунт, но был схвачен и избит до потери сознания.

Один из "козлов", вырвавшийся из рук эзков, избитый ими – оказавшись среди своих, долго орал охранникам: "Выдерните Маза! Выдерните его!" Но "Маза", считавшегося душой поджогов и расправы над "козлами" никто не осмелился выдирать. ("ВЫДЕРГИВАТЬ"). Пример начальника "шестнадцатого" говорил о многом: в зоне бесновалась вырвавшаяся из-под страха вечно занесенной плети, на миг почувствовавшая себя могущественной "воля народа". В те мгновения ее можно было убить, но не уговорить. В волчьих глазах ночи, в сполохах пламени, как эхо, kloкотал и бился неподвластный времени и законам русский бунт. Он улегся, когда заголубевшее утро придавило

утомленные языки пламени к пышущим курганам золы – всего, что осталось от лагерных бараков...

И тогда началась расправа.

Лишенные своих единственных союзников – покрова ночи и устрашающих охрану костров, словно на обычном лагерном разводе, стекались заключенные к вахтам. Покорно строились в колонны, подходили к распахнутым воротам.

Их выводили пятерками. Каждую очередную пятерку, вышедшую за ворота, останавливали, окружали автоматчиками: она осматривалась "козлами". Те ходили вдоль строя, внимательно вглядывались в лица, выискивая активистов бунта. Как только очередной активист был обнаружен, его выводили из строя и, подгоняя автоматами, вели к расположенному метрах в шестидесяти забору. Заводили за плотные доски, скрывая происходящее здесь от посторонних глаз. Здесь стояло несколько "воронок", перед которыми ждала свою очередную жертву большая группа офицеров охраны.

Эку приказывали раздеться догола. После этого его заталкивали в круг офицеров, и начиналось избиение. Обнаженного человека били чем и куда попало. Сокрушив наземь, топтали ногами. И лишь после такой "обработки" бросали в "воронку".

Остальных, не попавших в число активистов, автоматчики уводили на дно широкого котлована, приказав усаживаться вплотную друг к другу и не шевелиться. По верхнему краю котлована стояли автоматчики с собаками – знакомая картина из военных фильмов. Сортировка заключенных продолжалась много часов.

Тем временем прошли слухи о поджогах лагерей и в других местах. Рассказывали о неудавшейся попытке поджога в лагере в поселке "Управленческий" (под г. Куйбышевым).

Неделями позже вспыхнул лагерь у станции Кряж. Власти поняли, что надо что-то предпринимать, иначе волнения, как цепная реакция, могут захватить значительную часть ГУЛага.

И они уступили. Амнистия явилась! Куцая, но все же амнистия. Лишь после администрация назвала имена расстрелянных активистов восстания. Но дело не в именах, а в подспудной, темной силе, дремлющей в глубинах подневольщины.



Н. Б.

ПИСЬМО В ГОМОРРУ

Несомненная польза от эмиграции и в том, далекие друзья мои, что я узнал людей лучше: исчезло давление, сглаживающее разности натур, исчез мир перед лицом общей опасности. После иных сцен я не без смущения воображал, что вдруг у вас там установилась долгожданная свобода: неужто стали бы жить и относиться друг к другу так, как сейчас за границей? Обнадёживает то, что слой эмигрантов тонок, что поневоле знаем друг друга почти все: стало быть, выбирать себе компанию по сердечной склонности невозможно. Общение несколько искусственное — только потому, что жили в Союзе и против гебушки. Вот и возникает почва для бессмысленной распри и злословий. Судят все — и простые, и объявившие себя в свое время христианами, — судят решительно и беспрекословно. Опасение, возникшее у меня годы тому назад, укрепилось: к церкви идут не за истиной, но чтоб спрятаться от дракона-государства. Отделится дракон — и вылезет все тот же человек — выросший посреди террора и духоты, без учителей, израненный, увешанный комплексами, как елка игрушками. Первый итог вывел такой: мы не умеем жить на свободе, а как научиться — неизвестно.

Общение со всеми эмиграциями дает много интересного. Уехавшие как бы консервируются, запираются в себе — или растворяются среди другого народа. Глядя на них, можно представить, какой была страна 60 лет назад (первая эмиграция, революционная). Ныне они состарились, дети и внуки ассимили-

ровались, русский язык знают редко. Странное дело: старики мне показались очень русскими людьми, каких сейчас немного найдешь в советских городах, но где-нибудь в деревне (при очевидной разнице в образовании и пр.). Они-то и сохранили черты национальности больше, чем горожане или вторая эмиграция (40-45 гг. уже воспитанная на куцых и тупых советских учебниках). Такое возникает чувство, будто послевоенные эмигранты больше советские, чем мы, прожившие на 30 лет дольше под крылом социализма. Они, разумеется, "против", но совершенно окостенели на отвержении советского, их ничто другое не интересует — ни идеи, ни литература (если она мало "против"). Если Москва говорит "да", они говорят "нет". Тем дело и кончается.

Из них собрались посеvцы, единственная политическая организация эмигрантов на Западе. Поначалу я относился с доверием. И правда, было удивительно видеть профессиональных антисоветчиков, занимающихся этим круглый день и этим живущих, — в то время как самому приходилось быть любителем — и заработок время отнимал, и проч. Несколько месяцев прошло в наблюдениях, и картина сложилась такая. Они создали собственный миф о происходящем в Совдепии (они говорят только "Россия") и им питаются. Программа у них известна; и раньше мне подозрительным казалось проступавшее местами сходство с большевистской программой, с "марксизмом". Наверное, иначе и быть не могло: им, покинувшим страну в 40-х годах, пришлось отталкиваться от единственно доступных в ту пору "установок". Есть что-то и от XIX века, в программе не записанное: русский народ ждет искры, он, чистый и благородный, изнемогает под властью партаппарата, скоро он восстанет и... примет нашу программу (а нам уж найдется местечко в правительстве).

Впервые я понял, что такое политика: так партия (посевцы) готова бороться с правящей партией (КПСС) за Россию для себя, для своей партии. Очарованные победой большевиков, они хотят подражать им в тактике-практике. Т. е., они желают повторить, воспроизвести исторические события, как будто в истории хоть что-нибудь повторялось. На мой взгляд, столь очевидно ошибочный путь должен бы успокоить гебушку, чтоб не делать из "Посева" жупела. Увы, мозгов нет ни с одной стороны. Будучи антиподом, посеvцы приобрели знакомую до кровохарканья советскую узость. Практика их понятна. Им не нужно чего-либо, как бы вырастающего из недр общества демокра-

тов, правозащитников и других, ибо это не поддается контролю. В самом деле, кто будет особенно рисковать, выполняя "программу" и "устав", сочиненные за границей — появившиеся не на нашей кухне. Тактика посеvцев — поддерживать диссидентов из бывших лояльных, чтобы создавать видимость: и этот с нами, и тот. (Призывы к "литературной молодежи", все эти "ставки на молодежь", уже потускнели). Почти все силы уходят на создание видимости причастности и даже влияния на движение в стране. В то же время технически они ничего не могут — бедны; много средств уходит на задачу книг советским морякам; доезжают ли эти книги — Бог весть.

Главный результат, разумеется, в том, что сами посеvцы убеждены в собственной значительности. Однажды пришлось ужинать в такой компании, и один из главных завел разговор о важности непосредственной пропаганды. Вот идет мальчик-подпасок по лесу, начал он, и вдруг видит, — летит с неба листовка. Он ее подхватил, прочитал: справедливые, честные строки на сердце так и легли. Подпасок вырос, вступил в партию, расстреливал врагов народа, но вспоминал заветную листовку и ждал момента. И пот пришел 56-й год. И паренек, давно уже начальник, резко повернул штурвал. То был Хрущев... От такого рассказа меня охватило легкое смятение, лицо вытянулось (да и у моего приятеля, тоже вновь прибывшего). Посовец смотрел на нас сурово и требовательно.

От другого главного меня даже мороз продрал по коже: вылитый секретарь обкома, типичный полковник в минуту благодущия — типичный советский человек сидел и рассказывал...

Да отчего же он "против"? Ведь и терминология та же (только с другим знаком): национальный вопрос, освободительная борьба, больше доверия рабочему классу и крестьянству — тыфу, нечистая сила! Я заговорил о Евдокимове (печатается за границей под псевдонимом, сидит в днепропетровском дурдоме; Плющ говорил на пресс-конференции в Париже, что Б.Евдокимов был связан с НТС). На это, ослабившись удовлетворенно, главный ответил: "Ну, он связан с нами, его не выпустят". Т.е. и суетиться-то нечего. Тут-то я и стал догадываться, что такое политика. Страдания не подвигают на выступления и защиту. Удовольствие в другом: вот до чего мы опасны для Советской власти: — "нашего" замучают, но не выпустят. Но ведь не ради такого партийного самодовольства рисковал Ев-

докимов, не для того, чтоб в безопасности хвалились "значительностью нашего дела".

Трудно понять, почему сделали из "Посева" страх смертный. Это был бубенчик на ноге людоеда, не более. Видать, гебушку самолюбие заедало, или они "дело" себе выдумали, чтоб за границу по тряпки-шмотки ездить. Впрочем, надо отдать должное смелости посецев. В 30-х годах один руководитель их, Околович, перешел границу и больше года пробыл на территории страны, изучал обстановку. В 50-х чекисты похитили Трушновича. Затем послали Н. Хохлова убить Околовича (всем этим железный Шурик занимался), да он перешел и не вернулся (кстати, он издал в 1957 г. интересную книжку "Право на совесть", где все такое и описал). Предприняли попытку убить и Хохлова (яд в кофе), но он выжил.

В общем, если взглянуть трезво, то "Посев" — не более, чем издательство, а остальное — фуфло. Коммерческое предприятие, причем не самое успешное, но со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так "Обращение", которое печатается в "Гранях" из номера в номер — реклама (будем, де, хранить гонорары до возможности отдать их авторам, устраивать переводы на языки и пр.). Они платят 3 марки за страницу (пачка сигарет). Конечно, гонорары хранят, да так крепко! Кто на такое рассчитывает, пусть потренируется на досуге: если ржавый гвоздь вырвет зубами из старого дивана, то значит и гонорар. Будучи мифотворцами, они могут с улыбкой солгать в глаза (причем не понимая, что лгут), хоть и посинели от крика: "Не по лжи! Не по лжи жить!" (но это пускай в Совдепе, а уж мы как-нибудь по-своему, нам можно, потому что мы против и потому что знаем, как все должно быть — ход мысли известный). Хуже того: "Грани" цензурирует получаемые произведения без всяких отметок купюр (ведь если их отметить, то что же? Значит, мы цензурируем? А вот не даем купюр, значит, не цензурируем). Так случилось со "Смехом после полуночи" Василия, но особенно отделали "Черную книгу". Хуже того: полученные вещи лежат в портфеле редакции годами: они их никому не дают и не показывают. Ведь вдруг автор выплывет, арестуется, тут и закричат: мы первые! Мы держим связь с Россией! В свое время никак не понять, почему столь многое отправленное не появилось. Значит, думаю, не дошло. Оказывается, пылилось. Оказывается, одной отправки за границу мало, тут не единый, так сказать, фонд помощи нам, а группки, соревнующиеся друг с другом в значительности.

Подход к культуре вообще очень узкий: нам нужно то, что против. Прочее неважно. Вот опубликовали Хармса и Введенского ("Грани", № 31, 1971 г.), и это вызвало протесты подписчиков! В общем, читающая публика в массе своей рабфаковская: жизнь за границей не означает, что люди будут читать так трудно добываемые в Совдепе книжки. В самом деле, некоторые книжки (Бердяева и др.) ИМКА издавала в 800 экз. — и такой тираж расходился годами!

В бытность в совдепе я разделял иллюзию о высокой культуре эмиграции. Это случалось потому, что книжки возят в совдеп обычно отборные — для других места нет. А тут диву даюсь, сколько обычно издается хлама (как правило, на собственные деньги). С искусством дело обстоит не лучше: вкусы окостенели на Репине, о Кандинском о Шагале говорят сквозь зубы, но ругают вполголоса: слишком знамениты. А если не знаменитый и хочешь делать новое, а сам зависишь от эмиграции — ух, берегись! В свое время американский профессор Ульянов (из русских) пропечатал, что Солженицын, — фикция, провокация гебушки. Теперь другие старики говорят: понятно, почему Глезеру позволили вывезти современные картины: чтобы разложить русскую эмиграцию...

И это, и сходство посева с секретарем обкома — вдруг дали понять, какую роль в политической жизни играет не концепция, не идея, а судьба. В сущности, упомянутый посевец — такой же, что и курсант ВПШ, только не у власти, а стремится к ней. Источники душевных качеств, склонность почитать да подумать, да выводы самому вывести — ах!

Значение "Посева" весьма упало после того, как Чалидзе отобрал у них "Хронику" — (право на издание). Конечно, это справедливо, иначе риск был несоразмерен: все-таки, "Посев" всего лишь издательство, а риск — сесть за связь с "антисоветской организацией".

Случалось наблюдать и другое. Как-то один славный старичок из первой эмиграции расспросил о демонстрации 25 августа на Красной площади. Выслушав, похвалил за смелость, а потом удивился искренне: "Какие чудачки! Нашли, кого защищать — чехов! Да они ж нашего Колчака выдали большевикам!" Действительно, так и было, и можно понять мстительность старого добровольца. С другой стороны, не потому ли проиграла Белая армия, что у них не было представления о свободе, я уж не говорю о личности, об "индивидуальности", — о том, что имеет на Западе смысл для большого круга людей, не

зависимо от сословной принадлежности. Большевики насаждали новый образ жизни, белые защищали разрушаемый, но источника пафоса у них не было. Так и для политиков второй эмиграции свобода (и ее производные — широта суждений, взглядов, вкусов) еще не родилась, и едва-едва пробивается в третьей. Рассуждая, может быть, чересчур абстрактно, скажу, что в течение шестидесяти лет так и не появилась концепция государственности и права, ею охраняемого — такое только недавно зародилось в писаниях правозащитников.

Чекисты пошерстили и первых эмигрантов. В тридцатых годах был похищен генерал Кутепов (знаменитая здесь операция "Трест"), перед войной — генерал Миллер — то были главы русского военного союза. Жизнь пореволюционной эмиграции была потяжелей нашей, хотя благодаря многомиллионности беженцев, видимо, более заметной. Да и потом весь цвет русской интеллигенции — его-то мы уже не застали. Впрочем, многие течения подтачивали силы, противостоявшие советскому режиму: организовался "Союз за возвращение на родину", "Движение евразийцев", — многие тогда вернулись и погибли. Во время войны все порывались идти в Красную армию против немцев (даже и генерал Деникин); одни вступили во французскую армию, другие в национальное сопротивление. В 45-46 годах эмигранты во Франции захотели стать советскими гражданами (не все, разумеется) — с тем однако, чтобы жить за границей. Действительно, посольство выдало советские паспорта. Когда отношения испортились, правительство Ги Молле выслало таких советских в... Союз! Как говорят, в Союзе их почти всех истребили.

Вторая эмиграция отхлынула в основном в Штаты, — там больше миллиона русских: полмиллиона в Европе, а остальные рассеяны по миру (в Китае около 10000, остатки шанхайской эмиграции). В общем, 2 млн., которые за 30 лет не очень пытались что-нибудь сделать, "бороться" или еще что. Вероятно, много сил ушло на устройство быта, заработок и пр. Третья эмиграция попала в сравнительно благоприятные условия: она до сих пор немногочисленна, кроме того налажены народные и государственные фонды помощи иммигрантам. Давнишние эмигранты прижились и могут помочь советом и материально.

Приезд на Запад — если говорить о личных впечатлениях — был для меня освобождением и шоком. Не сразу привычка к осторожности смягчилась и приняла приличный новым обстоя-

тельствам вид. На другой день пошел купить себе еды и растерялся, подавленный изобилием. Дошло до того, что попросил какую-то венку купить мне все для обеда, исходя из такой-то суммы денег. Шутка ли — в обычном магазинчике — 40 сортов колбас и мясного, столько же сыра, любые фрукты и овощи. И такое увидеть после трески с картошкой. Недели две витрины магазинов вызывали легкую тошноту, невольно и глаза отводил, словно при виде неожиданного и неуместного бесстыдства, чрезмерной, что ли, откровенности.

Разинув рот, прочитал и первую коммунистическую прокламацию: "Гитлер убивал в газовых камерах, но современный капитализм хуже Гитлера: он убивает всех нас, отравляя заводским газом окружающую среду". Потом стал замечать, что такая простота действительна, что болванов хоть отбавляй, хотя в Австрии компартия ничтожна. Она, впрочем, демонстрировала 1 мая, причем платила 200 австр. шиллингов в час студентам и всем желающим — чтобы наемники создавали толпу и подхватывали лозунги. Два часа крика — вот и пара ботинок.

Пока живешь в Вене, замечаешь, что "инакомыслящих" едет немного. Прямо в Израиль — тоже немного. За два с лишним месяца проехало по политическим мотивам 5-6 человек. Попался и блатной, в прошлом заведующий сельпо. Он моментально прогулял пособие в ночном кабаке и отправился в ооновскую контору за помощью, говоря, что потерял деньги. Его прогнали. "Воздуху нет, ребята, воздуху нет!" — кричал и рвал на себе рубаху (воздухом он называл деньги).

Основной маршрут: Вена — Рим — Америка. В европейские страны попасть затруднительно, если человек не знаменит и не имеет поручителя из числа натуральных граждан. Известны случаи отказа на въезд, скажем, во Францию или Англию или на проживание там. Однако, как говорят знатоки, сейчас передвижение много легче, чем лет 30 назад.

О многом потом. Добавлю о столь важном деле, как привлечение западной печати и мнения к событиям у нас. Увы, арест остался в большинстве случаев незамеченным, а если его замечают, то когда он связан с какими-нибудь сенсационными обстоятельствами (тогда и левая печать его не замалчивает). Простой арест, о котором сообщает "Хроника", не вызывает шума, даже часто не попадает не только на страницы западной, но и эмигрантской прессы (о последней особо когда-нибудь). Саму "Хронику" найти в Вене невозможно даже в Национальной библиотеке. Но дело не только в этом. Недавно я читал письмо

с просьбой содействовать С. Солдатову (осужден в прошлом году). Лучше всего, если материал пишется о таких случаях у вас (и обязательно должна стоять подпись известного человека или вообще реальное имя): ведь эмигрант сразу теряет несколько очков, едва пересечет границу. Важно дать беллетристическую сторону дела: биографию, интересные эпизоды (иначе трудно расшевелить в сущности равнодушный Запад). К сожалению, Самиздат пренебрегает такой важной стороной публицити, как изобразительный материал — фотографии самого арестованного, его семьи и пр. Многих фотографий нет, часто они плохого качества, — как правило, фотографии с документов, на которых арестант мало чем отличается от уголовника. Любые самиздатские заявления не бессмысленны, они дают информацию людям, специально изучающим положение в стране или знакомым с ним на практике. Но средний западный читатель газеты довольно холоден, избалован информацией, и несколько сухих строк — переложение очередного протеста и заявления — не вызывают должного интереса (и то хорошо, если западные газеты дают сообщение, часто — нет). Разумеется, сказанное несколько не умаляет достоинств и необходимости "Хроники" — это, так сказать, базовое издание, путеводитель по безобразиям советской жизни.

К несчастью, самиздатская журналистика довольно слаба, а ведь очень необходима. Не думайте, что вам известное — известно во всех деталях и здесь. Не бойтесь и повторений, и описаний случаев, но, конечно, и обобщения пригодятся, и мысли. Когда же речь идет о конкретном человеке, то полезно иметь все это здесь — какие-нибудь его произведения из любой области вплоть до интересного (и не обязательно политического) отрывка из личного письма, короче, все, что можно собрать об арестованном или преследуемом.

Март 1976 г.

ВТОРОЕ ПИСЬМО В ГОМОРРУ

После первых удивлений и восторгов люди входят в колею западной жизни. Смотришь, уже кто-нибудь и критикует: огурцов соленых нету, только маринованные, и капуста квашенная не такая, а совершенно безвкусная, а у яблок и помидор вкус странный: добавляют химические вещества для ради дли-

тельного хранения. Уже и знаменитая курица, которая дешевле мяса, не по душе, уже и вино так себе: выбор велик, не нужна почти священная жертва едой ради выпивки. И то нехорошо, что во Франции уборная на лестнице — дело вполне обыкновенное ("То ли дело в Америке!"); французов это не смущает, для них зато важно — престижный район (цены весьма колеблются по этой причине).

Мне кажется, главный источник неудовольствий — коренное различие между Совдепией и Западом, оставляющее сильнейший отпечаток на душе человека. В совдепе легко попасть в центр внимания; стоит попечатать да подписать — и пожалуйста: шум, хлопоты, государство зовет мозги мыть. Человеком "занимаются". Оттого и складывается впечатление, что в Совдепе "тесно", и что вообще легко стать "значительным", особенно через тюрьму. Но если тут так, то уж на Западе, — думает завтрашний эмигрант, — я сумею распорядиться, я уж покажу, на что способен. И действительно, можно произвести первое впечатление, но люди быстро привыкают и забывают. Человек должен делать нечто из ряда вон выходящее; причем у Запада свой круг привычных идей и представлений, и если идеи новичка чересчур отличаются, не находят "зацепки", а остаются инородным образованием, то шансов пробиться мало. Если в совдепе книг нет или почти нет, тут просто глаза разбегаются: каждый день — десятки новых спектаклей, фильмов, книг — рынок огромен. Облегчение для нас, может статься, в том, что "русская тема" сейчас в моде.

Случалось приходиться в бешенство: как же нас сумели так переломать, почему нам устроили невыносимую жизнь, и в бытовом отношении, и в каком угодно. Отчего бесконечные очереди и "рыбные дни", когда вот же — никаких очередей, не слышать вечных споров — "стояла — не стояла". Ругани никогда не слышал ни в магазине, ни в транспорте, хотя в часы пик теснота почище московской. Как это у них устроилось? Родоначальники и продолжатели режима кажутся мрачными кретинами (они, они, эти "пламенные революционеры", "несгибаемые марксисты"). Вот загадка истории и фортуны. Куда, думаю, лезем мы объяснять — после всех БАМов и лохмотьев, после пятидесяти лет жеваной газетной бумаги, пока они читали, исследовали, работали. И нашим гомерическим опытом рабства что объясним — как ужасно жить в рабстве...

Когда говорят они: у нас будет по-другому, то первый порыв — крикнуть: у вас будет так же (думаю, что так и будет). Иностранец возражает: сколько у вас ни было царей да вождей — в рабстве жили вы всегда и жить будете, потому что это ваша

национальная черта. "Да мы еще молоды, нам тысяч пять лишь лет..." — "Америке двести лет". И крыть нечем — перед лицом сложного и богатого механизма со множеством клапанов, спускающих лишний пар, умеющего перестраиваться.

Первая и вторая эмиграция нас принимают, но со скрипом. Во Франции столько было хлопот вокруг "Русского музея в изгнании" (в Монжероне, в пригороде Парижа). Повесили картины. Время от времени приезжают французы и другие — русских мало, ни молодежи, ни старшего поколения. Даже не говорят: "Это не интересно". Просто это слишком отличается от представления о старой России, от засушенного цветка из гербария. Шишкин похож, а неофициальная живопись не похожа. Некто из почтенного семейства Зернова сказал: "Мы понимаем, вы боролись с режимом, но нам нужно положительное". А ведь "Правды" не читает. Дело пошло, как в коммунальной квартире, приехал старый господин товарищ Оглоблев и срезал дикий виноград, увивавший старые стены.

Но я обещал написать вам о русских изданиях за границей. Газеты: в Европе — еженедельная "Русская Мысль" (Париж), пожалуй, самая культурная газета, но не фонтан. "Новое Русское Слово" (Нью-Йорк), уровень значительно ниже, очень много уголовной хроники и дешевки (перепечатка из американских газет), русский язык стали забывать: "К платформе подошел трейн, я взял его и поехал..." "Русская жизнь" (Сан Франциско) — три раза в неделю, русский язык ни в какие ворота. "Наша страна" (Буэнос-Айрес) — еженедельный листок, угрюмый и совсем тупой (считает себя монархическим изданием): "...этот Хлебников изобрел слово "будетляне", отдающее котлетой...", и с поэтом покончено. Туповатый "Часовой" (Бельгия), журнал малого формата, без обложки, ежемесячник. Их любимец — Глазунов, художник. Весьма агрессивная "Православная Русь". Последние три органа решительно поносят третью эмиграцию и все с ней связанное. ("Часовой": "Плющ в своем интервью оклеветал советского офицера, впрочем, лицо этого субъекта вполне определилось уже давно"). В общем ничего дельного не говорят, а только сравнивают все говоримое со своим идеалом России.

Журналы вы знаете лучше. В Америке — ежеквартальник "Новый журнал": кстати, это единственный орган, который указывает тираж: 400 экз. В Канаде, Торонто, — "Современник", тираж еще меньше, выходит от случая к случаю, нет денег. В Германии, Франкфурт, — "Грани"; во Франции — известный "Вестник РСХД" и "Континент". "Возрождение" (Париж) прекратилось. Наконец, пытался было состояться двухмесячник

”Третья волна”, но благополучно скончался из-за отсутствия денег. Надеются, что лишь приостановился. Вообще все старики закричали и замахали руками, и редакции пришлось собирать у полковников и генералов эмиграции ”удостоверение о нравственности журнала”: рассказ Мамлеева-де порнографический. Долго объяснялись и доказывали, что не порнографический (слово ”соитие” в тексте).

Самая неприятная вещь в эмиграции — кружки и партии, которые в основном борются между собой. Забавно, что при советских посольствах открылись отделы, изучающие свары между эмигрантами. Понятно, они очень боятся объединения хотя бы части эмиграции: тогда она могла бы прямо влиять на кое-что, прежде всего на экономические отношения с Совдепом. Разумеется, когда кто-либо начинает одолевать, то вспоминают: нужно крепить единство, долой раздоры перед лицом советской власти! Не получается. Очевидный порок нашего воспитания — сразу лезть в Наполеоны, не просто глядеть, отталкивать и топтать (за кулисами), а на эстраде — ”мы и Россия”, ”я и Россия”. Иностранцы только диву даются.

Все это очень просто понять на примере ”Третьей волны”: хорошее ли это дело — создать журнал, чтоб он определился, чтоб появился еще один орган? Хорошее. А когда закрылся — многие вздохнули с облегчением: ничего не вышло, и слава Богу. Вот так-то, вот такие мы молодцы. А то все проекты, чертежи, перепачканные чем-то детским: то ли монархию, то ли демократию устроить, а небольшого журнальчика просто и тихо делать не смогли.

Еще забыл политич. ежемесячник ”Посев”; в Израиле много русскоязычных изданий: совсем еврейский журнал ”Менора”, а недавно стал выходить довольно интересный толстый двумесячник ”Время и мы” (впрочем, есть и высосанные из пальца проблемы: антисемит ли Солженицын и т. п., антисоветизм и русофобство четко не разделены). В Нью-Йорке ”Хроника-Пресс” Чалидзе, целиком ориентированная на политический самиздат, она же перепечатывает ”Хронику текущих событий”.

Однако ж на фоне западной печатной продукции вся русская пресса выглядит фантастически провинциальной. Старые либералы-интеллигенты умерли, люди поживее ассимилировались. И среди новых есть отказывающиеся говорить по-русски и подчеркнуто не интересующиеся русскими делами. Но и то: как интересоваться повседневными мелочами, когда рядом живая жизнь без всяких искусственных ограничений: ”нам нужно положитель-

ное". (Кандинский, Шагал, Набоков — все это "отрицательное", хотя вслух не говорится: все-таки знамениты. Ограничиваются анекдотом: "Лолита" Набокова не продается в книжном магазине, где тон задает РСХД). Кстати: нотабене для писателей: "Континент", например, не принимает произведений, подписанных псевдонимом, ориентируясь не на вещь в литературном понимании, а на "гражданственность": Я тя научу быть смелым! (из Парижа).

В отношении к третьей эмиграции много типично русского, даже наивно высказывают недовольство, что де третья эмиграция приехала на готовенькое, а "мы начинали с любой работы". Затем мы оказались не такими, как они себе представляли: они-то полюбили образ. А оказалось, обыкновенные люди, даже не без недостатков, даже не глубинного "советского", которое вырывается на свободе фонтаном нетерпимости. (Очень показательна статья С. Жабы о "Прогулках с Пушкиным" в "Вестнике" № 117: "Мы Синявского полюбили заочно..." В свое время просившийся в Совдеп Роман Гуль (не пустили) припечатал вообще откровенно: "Прогулки хама с Пушкиным").

Все больше склоняюсь к тому, что опасность в обществе не только и не прежде всего в высказываемых идеях, а в монополии на какую угодно отрасль жизни, будь то печать или экономика. Если так, то всякая идея становится декорацией для тирании: мы всегда имеем не полную истину, а свое представление о ней, зависящее от столь многого, человеческого: вовремя никто не переспорил, принял на веру, не помучился ею, устроил идее душевный комфорт. Самое главное — это свойство по крайней мере вытерпеть чужой взгляд на те же вещи, не скрежетать зубами. А уж чтоб отнестись к чужому воззрению с вниманием — это, верно, идеал для нас не достижимый.

Старых эмигрантов раздражает и то, что Запад расспрашивает теперь о Совдепе новейших: казалось бы, это естественно, но новые гораздо трезвее смотрят на "единую и неделимую". Старики все никак не могут поверить, что от "России" почти ничего не осталось, что "колхозник" — не новое название крестьянина.

Собственно, победа большевиков теперь кажется неизбежной, если видеть в них "новых людей", взявшихся обрабатывать национальный тип. Осколки его можно здесь встретить, и некоторые черты типа — доверчивость, наивность, открытость, размашистость — обрекали его на гибель в стычке с лживостью и одержимостью. И теперь старики говорят: мы де не шата-

лись по ОВИР'ам, мы отступали с оружием в руках, пока один новенький не срезал: что ж отступали-то, с оружием наступать надо было.

Однако многое в них трогательно. Почему, скажем, русская эмиграция, в массе бедная (по местным понятиям), почему она не "проросла" в западное общество, сохраняя связь между собой? Рассказывают, сколько было русских институтов во всех странах рассеяния в 20-30 годах: люди считали, что все это скоро кончится, и "новой России" нужны будут инженеры и ученые, все учились, но по окончании не стремились устроиться. Ждали, ждали... Наоборот, устраиваться и зарабатывать деньги считалось предосудительным! Такие, мол, "не живут Россией". В результате 50 лет сидения на чемоданах, и на издание журналов приходится занимать. И когда их видишь во множестве — то ли в тысячный раз смотрят "Александра Невского" или в церкви, то испытываешь особенную жалость: это нам пришлось время понять, что Совдеп — не налет, не зимний снег, а система. Есть, стало быть, вещи, которые доступны уму не сразу, а по прошествии исторического времени.

Мы-то знаем, что "детантом" не возьмешь, — и потому противно видеть, как Запад стелется перед Совдепом, чтобы умаслить и заработать. Какую французская и итальянская печать устроили цензуру, чтоб поменьше, полегче, чтоб потрафлять "левым" и не нарушать комфорта. Того конформизма, который в совдепе не вызывал энтузиазма, но был понятен, — достаточно и здесь, отнюдь не учреждаемого системой. Скажем, в университете заведует кафедрой человек с левыми взглядами: человек — сотрудник кафедры — скорее, с правыми взглядами, старается их не демонстрировать и не высказывать: могут выйти осложнения... Один приятель знаменитого Дали собрался пригласить его на русскую выставку в Париже, в Пале де Конгре. Однако ему неудобно, чтоб его видели вместе с Дали: Дали — правый, а его приятель — левый. Это "неудобно" не подкреплено опасностью столкновения с гебушкой, как у нас, но работает! Рождается тоталитарный тип поведения. У меня уже есть и личный опыт. Например, "Монд" заказала мне статью, торопила, требовала к сроку. К сроку и написал, спокойную и даже холодную, сплошь на фактах, рассуждения выходят за рамки "текущей политики", — к вольностям "Монд" очень чувствительна. Однако просили "переписать" настолько многое, что у меня пропал всякий интерес. Например, говоря о доступности западных материалов в Совдепе, я написал, что "Монд" хранится в спецхране

и так просто ее не купишь в киоске. "Зачем это? — доброжелательно, с широкой улыбкой сказал редактор отдела господин товарищ Клод Жюльен. — Нашему читателю это неинтересно". Почему неинтересно? Отчасти, потому, что советские объявили, что теперь в Москве продается 60 экземпляров "Монд". Газета поспешила об этом сообщить. Не понравились и другие пассажи: вы подробно рассказываете, какова система воспитания и образования. Но это мы знаем. "Вы постарайтесь объяснить, почему же советский человек такой конформист?" — с мягкой, доброжелательной улыбкой говорил мне французский конформист, отнюдь не отвергая статьи, а почти упрашивая "переработать".

А обычные читатели тем временем задают вопрос: неужели в "Архипелаге" написана правда? И почему мы ничего не знаем о советской жизни? Действительно, бытовая сторона им совершенно неизвестна. И поэтому многое, по-видимости правда, в газете "Монд" (и в других, но свой расчет есть только у "Монд") становится враньем. Например, она печатает заметку о статье в газете советских синдикатов "Труд". Читателю не объясняется, что такое "синдикат" (профсоюз) в СССР, но он превосходно знает, какую силу представляют западные — это второе правительство, могущее парализовать жизнь страны за несколько часов. Западный читатель мыслит по аналогии — и потом попробуй объясни ему на спичках, что такое советский профсоюз — не поймет. Он живет в другой политической системе, еще точнее — он рождается со свободой, это для него нормальное состояние. Не имея чего-либо, гораздо легче представить и хотеть его присутствия, чем имея нечто всегда — вообразить иное состояние дел. "Сытый голодного не разумеет" — ведь поговорка говорит о сытом, не наоборот.

Я иногда думаю, что трудности жизни в эмиграции (разумеется, для тех, кто уехал за свободой, — шмотники давно в шмотках, как, впрочем, и все остальные): советская культура прежде всего словесная, причем даже "разговорная", — то есть общеизвестное, хотя люди его могут не обсуждать, а достаточно намека, "глянуть друг на друга острым глазком", — говорил Розанов. Общеизвестное на Западе фундаментально другое, — рациональное в условиях неизбежной гласности. "Намекать" не на что, эзопов язык вытеснен в сатирические журналы (и эмигрантские издания, когда эмигранты говорят друг о друге). Нам не о чем намекать западному человеку, ему надо говорить все то, что нам тысячу раз известно. Становится скучно: мне

неинтересны муниципальные выборы, ему неинтересны разговоры о философии. Тем более, собственное любопытство западного человека притувлено избытком — книг и любых продуктов культуры. Он хотел удивиться, он не хочет понимать: он хочет острого фактика, суждение для него просто слова. То есть, когда говорят о "бездуховности западного мира", то часто из политических соображений: собственно духовные интересы всегда касались незначительного числа людей, и здесь их не больше, чем у нас (а мы считаем, что должно быть больше — ведь на свободе живут). Дело не в духовности большего или меньшего числа членов общества, а в ее интенсивности, в том, удастся ли идеологии создать свою государственную систему. Здесь — не удалось, хотя посылы были и есть очень сильные. Идеологии должны быть ограничены: множественностью, — тогда только возникает демократическое равновесие. Л ю б а я идеология, которая становится единственной, неизбежно укорачивает человека на голову или ноги — в зависимости от склонностей эпохи — тех, кто не помещается или не хочет залезать в нее.

Мы оживили в эмиграции дух партийности, "непримиримости". Сразу началась классическая кружковщина, борьба за влияние. То есть все человеческое, слишком человеческое, когда простые мотивы: "завидую", "хочу быть первым любой ценой", "хочу быть начальником" не осознаются как движущие. Все эти ссоры и "борьба" — схватка советских инвалидов без "буферного" слоя других людей, — по-видимому, нормальное состояние: ведь в Совдепе вокруг "значительной личности" образовывался слой людей, нуждавшихся в ней, — но ведь и эта личность в них нуждалась! Здесь она оказывается в этом смысле голой и новых "своих" найти не может: другие эмиграции имеют совершенно отличные представления о значительности. "Голые" и начинают драться между собой, поскольку объединяющая опасность исчезла. Собственно, эмиграция может рассматриваться как лаборатория жизни на свободе, — и если в конце концов она не станет "нормальной", то я и гроша ломаного не дам за ту свободу, которая вдруг осуществилась бы в совдепе.

Приехал Плющ, удивительно знаменитый в левых странах, Франции и Италии. Его появление крайне важно для про- и коммунистической интеллигенции и особенно молодежи: человек мучался, страдал, а смотрите, смотрите: марксист! Стало быть, в марксизме и заключена истина! Амальрик произвел уже меньшее впечатление; ведь всегда горячее принимают страдальца, чьи взгляды подтверждают наши... Обмен Буковского на чилий-

ца произвел сенсацию, простое освобождение не сделало бы того впечатления. Теперь Корвалан сделался двойником Буковского, вообще Буковский удвоился: а кто этот Корвалан? А тот самый, на кого Буковского обменяли. Кретины в гебушке редкостные, и слава Богу.

К великим событиям принадлежит появление "Зияющих высот" Зиновьева. Наконец-то после двухлетних поисков нашлось швейцарское (не русское, конечно,) издательство "Аж д'ом". Читаете ли ее уже, друзья мои? Столько мыслей и ходов — будет о чем поговорить! Отношение к ней нормальное: нашлись горячие поклонники и распространители, другие ничего не понимают, но согласно покивали головами: больно ученая, обругаешь — еще дураком ославят. Практически никто не ругает, и это не очень хорошо с практической точки зрения: тогда бы больше читали. Книга, конечно, не для широких кругов эмиграции, хотя западный человек, если бы захотел, многое бы понял благодаря ей. Может быть, захотят, — но что же, тогда переписывать статьи, книги, диссертации? Лучше уж не читать. Представляю, как читали ее где-нибудь в "Посеве" — наморщив лбы, пытаюсь сообразить что-нибудь. Или в ИМКА-пресс, — там, должно быть, просто не поверили, что философ может быть живым: были, канешна, энти философы, люди почтенные, так ведь, командир са? Умерли. Их и переиздаем — откуда взялся живой, на каком основании, и все по-другому написал? Ясно покамест, что она для марксизма — что кислота для железа. Интересно понаблюдать: Запад готов к марксизму и принимает его всерьез, и поэтому "Зияющих высот" не замечают. Впрочем, пока интерес к книге не достиг максимальной температуры, когда бараны ринутся за ней в магазин. Тогда будут и обсуждать, и высказываться, и статьи, и диссертации...

Декабрь 1976

По поводу писем в Гоморру.

Письма эти весьма интересны в информационном отношении. Они побуждают кое-что переосмыслить. Хочется, однако, заметить, что — отвергая эклектическую программу и особенно методы НТС, мы вместе с тем должны не забывать и о той роли,

которую играют "Посев" и "Грани" в деле публикации материалов инакомыслящих и свободомыслящих людей, живущих в Советском Союзе и не имеющих, к величайшему огорчению, возможности печататься на Родине (эта традиция ведет свое начало с опубликования за рубежом известного письма Раскольникова, разоблачившего злодеяния Сталина еще при жизни последнего);

— некоторые данные, приводимые автором, сомнительны (так, например, о том, будто некоторые компартии покупают участников демонстраций).

П.Т.

СПАСТИ ЖИЗНЬ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАБОЧЕГО ЗОТОВА

Михаил Зотов — рабочий-диссидент из города Тольятти. Он — писатель и художник, создал ряд ценных полотен, часть которых оказалась в руках КГБ. Под угрозой и сама жизнь этого замечательного человека. Его не раз избивали кагэбисты, силой забирая его произведения, а недавно на него завели дело по статье 190-1.

Зотов — автор и друг "Поисков", сторонник свободных профсоюзов.

Мы призываем всех людей доброй воли поднять голос в защиту рабочего Михаила Зотова, сделать все, чтобы спасти его и его произведения!

Издательство "Поиски"
Ассоциация друзей "Поиски"

ПРИЛОЖЕНИЕ

В октябре 1980 г. проходили судебные процессы над редакторами "Поисков" — В.Абрамкиным, Ю.Гриммом, и В.Сокирко. Абрамкин и Гримм, которые не признали себя виновными, получили по 3 года лагерного заключения, а Сокирко — 3 года условно.

Издательство "Поиски" готовит полный отчет об этих процессах. В приложении к этому выпуску мы помещаем лишь некоторые письма и заметки, касающиеся данных процессов.

В. Абрамкин

ПИСЬМА ИЗ БУТЫРОК

1

Друзья! Братья и сестры! Милые мои! Большое спасибо вам за те прекрасные, радостные, праздничные дни, что вы так великолепно выстроили в грустную судебную пору моего заточения.

Десять месяцев за глухой стеной в полмира толщиной должны были напрочь отделить меня от всего, что составляет жизнь человека: его родных, близких, друзей, от его дома, работы, его любви и привязанностей, от живого слова, живых людей. Но и сюда, и даже в 1,5 месяца одиночества в камере смертников доходили до меня отзвуки происходящего на воле. 6-8 номера "Поисков", выступления в защиту арестованных членов редколлегии, письма, заявления, телеграммы, которыми были завалены и следствие, и тюремная администрация, январский вечер с нашими старыми "лесными" программами . . . Ну, а то, что Катюша в трудную минуту не остается без помощи и поддержки — в этом я не сомневался.

Отзвуки отзвуками, а все-таки я сильно скучал: 10 месяцев не видеть близких, дорогих лиц, не слышать голоса друзей, не поговорить, не поспорить . . .

Материалы, публикуемые в "Приложении", подготовлены не редколлекцией, а издательством, которое и несет за них ответственность.

И вот суд. Долгие, томительные, тошнотворные часы в зале судебного заседания под равнодушными взглядами дрессированных "представителей общественности". (Там, в этой топкой гнильце, маленький островок надежды и отчаянья: мои родители, сестра, позже и Катюша). Выматывающие последние силы утренние шмоны, ругань вертухаев, сбивающая дыхание теснота бокса, горькие рассказы случайных попутчиков из Бутырки, перед которыми собственная беда кажется мелкой и ничтожной, снова бокс, еще более тесный и сумрачный, в подвале Мосгорсуда . . . Конвой руки назад встать к стене лицом быстрее не смотреть не оглядываться не смотреть в сторону убрать руки с перегородки.

Нудная перебранка за право сказать хоть что-то по делу. Поздним вечером снова воронок, Бутырка, вертухаи, и как невозможного счастья ждешь (мечтаешь) своей камеры, шконки, дойти, добраться, провалиться, забыть. Да наваливается тяжелым камнем бессонье и гудит голова: что? Что можно сделать и сказать завтра? И не успеешь задремать — пять утра, залп кормушки: "Абрамкин, с вещами!". . . И это праздник? Да, праздник! И за те мгновения, когда выводили меня вечером из конвойки, и я видел ваши лица и слышал ваши голоса, можно было бы заплатить и вдесятеро большую цену.

Ва-ле-ра, Ва-ле-ра, Господи, не знаю, как вам это удалось, но слышал я этот крик еще в первый день 24-го в подвале конвойки и, кажется, различил даже голос Виктора. Каким образом прошел на лестницу Глеб? Я успел помахать ему рукой. Совсем рядом было Танькино лицо (кто же такой там ее держал — не супруг ли? Поздравляю, Танечка!) А через дырочку глазка в воронке я успел встретиться взглядом с Сережей. Ну, а ежевечернее Володино "Валера" оглушало даже конвоиров. А был еще и букет васильков, переброшенный через забор (сбивались с шагу солдаты и осторожно перешагивали). Каким счастьем был для меня день 2 октября. Допрос свидетелей. Мужественное, стойкое поведение Виктора Сорокина, последовательность и логичность которого вывела из себя до пены на губах председательствующего, до срывающегося в лай крика прокурора. Даже дрессированная публика не выдержала своего номера и в открытую гоготала над судом. Ничего, ничего не смогли они сделать и с Мишей Яковлевым. Сколько пришлось ему, бедному, выдержать! Забрали 10-летний архив: рассказы, пьесы, повести, романы . . . Одесские и московские мьгарства с хвостами, допросами, выдворениями из Москвы. Так не хватило, добавили еще угрозы в камере свидетелей. Мишка, твое удивительное спокойствие, тонкий юмор (мне, кажется, давно не было так смешно, с того самого времени, когда я читал твои рассказы) и то, как ловко ты сажал в лужу этих тупых служителей беззакония — просто восхитительны. (Миша и Наташа, примите мои запоздалые поздравления, я рад за вас, ребята, доброй вам жизни!) А во время выступления Томачинского, казалось, все поменялось в этом зале — в шкуре преступников съежались судьи и прокурор.

Я понимаю, как трудно было выступать на этом суде Ирине Малиновской, тем более убедительным, достойным и благород-

ным представляется ее поведение. Вся чушь, нелепица, подловатость следствия была хорошо проиллюстрирована Рубашовой. Нежданым-негаданным подарком оказалось появление на суде Сонечки Сорокиной. По-моему, это было самое блистательное выступление за весь суд, и впечатление оно произвело на всех присутствующих (конвойные уже в воронке больше всего расспрашивали меня "про Сорокину"). Удивительное сочетание мягкости и пламенности, трогательности и убедительности. Сонечка, не расстраивайся: от твоего букета мне досталось несколько лепестков, и прошел я с ними все шмоны, а в камере мы с моим единственным сокамерником, тоже возвратившимся с суда, долго не могли придти в себя от изумления: не помялись, не засохли, не потеряли живой трепетности и цвета, запаха эти лепестки. Настоящее сказочное чудо!

Следственная липа — Касаткин, бледный, трясущийся, прячущий глаза . . . нет, он не мог мне испортить праздник. Ах, жалок он был и ничтожен, настолько жалок и ничтожен, что я не смог терзать его убийственными вопросами и отпустил без покаяния.

Слушал я вас, ребята, и думал: ну, почему, почему я лучше всех. Всех . . . Всех . . . Всех . . . М.б. на Марсе и есть кто-нибудь лучше меня, а на Земле? Нет, нет, на Земле лучше никого не найдете . . . Не обижайтесь, ребята, но, честно говоря, расхваливали вы меня чрезмерно. А вдруг я все это всерьез приму, а? Это что же будет: эзк с крылышками? И какой тогда нужен будет конвой? А, впрочем, ладно. Втихаря признаюсь, что я и летать умею, рассказывать дальше не буду — все равно никто не поверит.

За все время процесса я чувствовал помощь и поддержку. И вашу, Раиса Борисовна, Михаил Яковлевич, Петр Маркович, Глеб, Володя, Виктор и Юра . . . Вашу, Сережа Ходорович, Арина Жолковская, Витюша . . . Вашу, Феликс и Вера Серебровы, Игорь Мясковский, Володя Кучеров, Сережа Белановский, Валерий Жуликов, Танечка Замятина . . . Простите, ребята, не буду перечислять всех, но каждого из вас в отдельности я помню и люблю. Не считите это за громкие слова, но именно благодаря вам я горжусь тем, что родился на этой земле и принадлежу этому народу. Я никогда не определял и не высчитывал, много ли в России честных и порядочных людей. Какая разница: сотни или тысячи. Версиллов у Достоевского, кажется, говорил, что ради одной сотни или тысячи таких людей, может быть, и нужна была вся наша история.

Мне приходилось выстаивать томительные часы у закрытых дверей "открытых" судебных процессов. Теперь двери закрылись за мной, 4 дня шел судебный процесс. Значит, есть личный опыт и можно сравнивать. И я не преувеличу, если скажу, что здесь, на скамье подсудимых, и легче, и проще. Еще раз спасибо вам за все . . .

В последний день, когда суд переписывал приговор, в окно с грохотом и звоном упал кирпич. Перепуганный конвой вызвал подкрепление, и были приняты все меры к тому, чтобы я вас не увидел и не услышал. Да ничего им не помогло. И снова были те

прекрасные мгновения, когда нас не могли разделить железные ворота и стены.

До-сви-да-ни-я . . . Я мог, я должен был ответить вам. Ничем мне это не грозило, а один солдатик даже тихонько шепнул: "Ладно, крикни, ничего с тобой не сделают". Но проклятый комок кляпом забил горло, и не смог я выдавить из себя ни слова.

До свидания . . . До свидания на воле. Храни вас Бог, товарищи мои.

5 окт. 80 г. Бутырка, кам. № 19

2

Редакторам, сотрудникам, авторам, читателям и друзьям "Поисков".

Итак, закончился второй процесс по делу "Поисков". К сожалению, нет у меня никаких сведений от Юры Гримма, да и о Сокиркином процессе знаю я немного. Но закончилось ли дело против "Поисков"? И получит ли дело, начатое "Поисками", продолжение? В одной из последних встреч Бурцев сказал о дальнейших планах властей недвусмысленно: "Собственно говоря, и после ваших трех процессов дело № 50611/14-79 не будет закрыто, так что вакансии свободные есть".

Что касается второго вопроса — отвечать на него нам.

В том, какими способами велась борьба против нашего журнала, нет ничего принципиально нового. Удивляться можно только тому, что продержались мы так долго и даже выпустили 8 номеров.

С январских погромов 79-го года до конца августа 80-го следствие не представило нам (по крайней мере, мне) никакого обвинения, ни одного конкретного факта клеветы, ни даже единого примера: в таком-то номере содержатся, по нашему мнению, клеветнические измышления. Обв. заключение, с которым я познакомился совсем недавно, не отступает от традиционной схемы: в таких-то произведениях такого-то номера содержатся такие-то клеветнические измышления, распространение которых нанесло ущерб международному престижу СССР. И все. Как будто для док-ва достаточно одной утвердительной части, аргументы излишни. Ни анализа, ни разбора, ни единой цитаты из "преступной" работы.

Как в театре абсурда.

- Вы убили мальчика, поэтому вы — преступник.
- Но какого мальчика, когда, где?
- Какое это имеет значение, раз вы его убили.
- Но с чего вы взяли, что это я его убил?
- Вы преступник, поэтому вы его убили.
- Но почему я преступник?
- Потому, что вы его убили.
- Кого его?

— Мальчика.

И т.д. и т.п. до бесконечности.

Но откуда следует, что в данных журнальных материалах действительно содержатся такие-то утверждения? И потом, на основании чего можно судить, что эти утверждения клеветнические и не соответствуют реальности? Эти вопросы вы можете ставить бесконечно долго. На них не отвечали раньше, не ответят и сейчас.

Суд забивал каждое слово, каждую попытку ставить вопросы по существу, не прозвучало ни единого слова, ни единой цитаты из журнала (кроме названия статей). Обсуждение, расследование, исследование? Сыск, обычный сыск! Где вы взяли, кому давали, куда положили, кто принес машинку, кто печатал? Моя попытка хоть вкратце изложить содержание работы (нетрудно было выяснить, что судьи наших журналов не читали) 1-го номера встретила озлобленный захлебывающийся лай. А когда я продолжал, суд панически бежал в совещательную комнату, из зала тут же удалили всех (а кого всех? согнанных Бог весть откуда "представителей общественности"?), присутствующих. Так торопились, что не объявили, что я лишен последнего слова и что суд отправился переписывать приговор . . .

А что он дал — этот процесс? Еще раз показано, как они нас судят? Но это не добавит ни единого штриха к давно и ясно представляемой картине лжи, насилия, беззакония, произвола. Так зачем все это было нужно, ну вот хотя бы мне — зачем?

Оставим в стороне все личные моменты: как отказаться от возможности после 10-месячного заточения увидеть лица близких, услышать голоса друзей. Я довольно подробно изложил в последнем интервью читателям "Поисков" все "за" и "против" участия в жалком судебном фарсе и как идеал сам же наметил логичное "нет" их жалким потугам претендовать на видимость судебного исследования, а в качестве достойного примера назвал поведение на суде Саши Подрабиника и Балиса Гаяускаса. Я был готов к такому повороту, решению, выходу из грязной игры, и хватило бы (поверьте) сил преодолеть личные моменты, связанные с присутствием на скамье подсудимых. Да и кто сказал, что это сложнее: получить свои три года, не мучая ни себя, ни близких своих и друзей.

Попробую объяснить "измену" ранее выработанным принципам. Было в нашем деле и нечто новенькое, кажется, впервые к своей упряжке карательные органы попытались пристегнуть казенных идеологов. "Заключение специалистов", с которым я ознакомился при закрытии дела, давало повод к робкой надежде на диалог, пусть с крайне урезанными правами для нас и по навязанным нам бесчестным правилам, но все же диалог. И в этой ситуации я не мог, не имел права отказаться от возможного спора (весьма наивно было предполагать с моей стороны такую возможность, но ведь и "Поиски" с такой же наивности начинались), возможности поисков взаимопонимания между полярными, далеко расходящимися силами нашего общества (да силам-то этим не разойтись на одной земле и в одном народе).

Но вот закончился суд и проверены все надежды, и еще раз

мы убедились, что в нашей стране диалог с ними в принципе невозможен. С глухонемыми можно общаться лишь на языке мимики и жестов, так что проглоти свой язык и мычи, мычи, как учили тебя с детства, мычи и натягивай на лицо идиотскую улыбку и делай вид, что тебе это нравится, что ты счастлив: все нормально, прекрасно, изумительно ("как прекрасен этот мир — посмотри!") как легко быть таким бессловесным скотом, не хуже и не лучше других вместе со всеми, заодно со всеми, шагать в ногу, упиваться единомыслием . . .

Вряд ли сами "специалисты" без указки сверху отказались явиться на суд. Скорее всего, и такой урезанный диалог был признан нецелесообразным. Но это не мое дело и не моя вина! Я честно подавал ходатайство за ходатайством, я соглашался ждать философов и историков в качестве ли специалистов, экспертов — в каком угодно, кого угодно, ждать хоть месяц, хоть год, сидя под стражей без суда. Не добившись самих казенных идеологов, просил зачитать их рецензии и обсудить. И из этих жалких опусов ничего не зачитали. Те, кто читал эти рецензии, пусть попробуют ответить на вопрос: почему? Ну чем они-то могли быть опасными? Боялись тех передернутых и подтасованных куцых цитат, что выскребли "специалисты" из нашего журнала? Того, что мне придется дать полслова сказать? Самое смешное, что когда я пытался цитировать "заключение специалистов", прокурора и судей бросило в дрожь. И мне даже пообещали не рассматривать рецензии в качестве доказат-ва (если внимательность мне не изменила, в приговоре о специалистах ни слова!). Ну вот: пусть хоть слабое оправдание в "измене" заранее определенного принципа, но будет мне — я использовал все возможности добиться диалога. И не моя вина в том, что он не состоялся. (Хватит времени и везения, я все-таки попробую дать свой анализ этого примечательного документа).

Кроме того, не избежал я соблазна показать, что незаконие творит свои дела незаконными же способами. Показания свидетелей, речь защитника и подсудимого (а еще более — выступления прокурора и председательствующего) убедительнейшим образом показывают: в деле нет ни единого (даже с чисто формальной точки зрения) доказательства. Фальсификация, подлоги, откровенные фальшивки, юридическая безграмотность следствия, грубое пренебрежение основными процессуальными нормами, давление на участников процесса (на свидетелей даже в ходе суда). Было сделано все, чтобы подсудимый не смог ознакомиться с материалами дела, лишили меня права на защиту, в ходе суда начали отбирать у меня (в СИЗО) выписки, которые я успел сделать, заранее подготовленные документы (следы изучения моих бумаг обнаружались потом в действиях председательствующего), лишили последнего слова. А что они смогли противопоставить нам? Ровным счетом ничего! Криминальность "Поисков" определялась, как метко заметил свидетельница Рубашова, "по запаху". В результате даже этот суд не рискнул оставить в приговоре большинство "доказательств" из обвинительного заключения.

Это было полное фиаско, безусловный разгром наших обви-

нителей. И я имею полное право поздравить вас с победой, друзья мои!

Уже в зале суда я прочитал заявления Лерт и Гефтера с просьбой допустить их на суд в качестве свидетелей. К сожалению, и их и моя просьбы были бесосновательно отвергнуты судом. Но на процессе вы были рядом со мной, Раиса Борисовна. И в ходе судебного следствия, в своем оборванном последнем слове я неоднократно пользовался выписками из ваших статей в "Поисках" (перечитал их с удовольствием при ознакомлении с делом). Точно так же позицию защиты помогли мне обосновать статьи Михаила Яковлевича (особенно "Заметки о пессимизме. . ."), Петра Марковича (основательно проработавшего правовые вопросы, выстроившего безупречную логическую систему аргументации), Глеба Павловского. . . . Образцом и примером и в тюремные месяцы, и на суде служила мне стойкость и бескомпромиссность нашего Володи Гершуни (Володя, пользуясь случаем, хоть с опозданием, поздравляю тебя с полувековым юбилеем). Я постоянно чувствовал плечо и поддержку моих союзников Юрия Гримма и Виктора Сокирко. Убедительно выступили на суде сотрудники "Поисков" Виктор и Соня Сорокины. . . . По понятным причинам я вынужден оборвать этот далеко не полный список. Я счастлив, я горжусь, что мне выпала честь работать вместе с вами, мои дорогие друзья-коллеги!

Особо мне хотелось бы сказать о Викторе Сокирко. Я знаю, какому давлению подвергался он здесь, в тюрьме, в следственных кабинетах, знаю, чем ему грозили. . . . В июне Виктор изложил мне свою позицию, я поддержал его и в основном одобрил. Не думаю, что те маленькие уступки, которые он вынужден был сделать под прессом следствия и суда, могут быть поставлены в вину этому мужественному и честному человеку. Виктор, я очень рад за тебя, за Лилю. Прошу, очень прошу тебя не терзать свою совесть из-за ложно понимаемого чувства солидарности. Поверь, мне было бы вдвойне тяжелее, если бы найденный нами совместный выход из той июньской ситуации был бы не реализован. И большое тебе спасибо. . . . Сам вспомнишь, за что. Да, и прости меня за некоторые издержки тюремных неурядиц.

На суде я неоднократно заявлял, что являюсь одним из редакторов легального журнала "Поиски". Также говорил, что в мои обязанности не входило распространять журнал или отправлять его за границу. В своем последнем слове (оборванном) я намеревался уточнить, что, не занимаясь распространением, я, естественно, не был и не мог быть против чтения журнала нашими соотечественниками и ознакомления с ним людей, живущих за пределами СССР. Более того, я полагаю: распространение "Поисков" за границей служит делу взаимопонимания между различными странами, позволяет лучше понять наш народ и нашу страну, является реальным воплощением соответствующих статей Хельсинкских соглашений, устава ООН, ни в коей мере не может нанести ущерба России. Сказать этого мне не дали. Ну, что ж, я полагаю, здесь поставлены все точки над *i*, и нет повода для каких-либо недомолвок и неясностей. Я благодарен и признателен

всем людям, принимавшим участие в судьбе нашего детища. Большое спасибо за помощь и поддержку всем людям доброй воли.

Дорогие мои друзья и коллеги!

Говоря о только что закончившемся процессе, я м.б. не совсем кстати поздравил вас с победой. Поражение следствия и суда (точнее, посрамление), конечно, безусловное. Но брать по большому счету — никакая это для нас не победа. И не потому, что срок . . . Не мне первому, не мне последнему отправляться на острова Архипелага. Просто не о таких победах мечталось, когда брались мы за наши "Поиски взаимопонимания". Не стоит переоценивать и значение нашего журнала. Положа руку на сердце, по качеству не успел он выйти за средний уровень самиздатовской периодики. Заслуги "Поисков" можно видеть в том, что впервые была показана возможность плодотворного сотрудничества людей, далеко расходящихся по взглядам своим, по концепциям, по видимым способам решения проблем, стоящих перед нашим обществом. Нельзя сказать, что работалось нам легко и радостно. Чуть не на каждом номере схлестывались мы в жарких и не всегда корректных спорах, порой казалось, что не выдержит столь разнородное собрание людей заранее заданной совместности и разбежится по своим углам, своим направлениям. Марксисты в облака, почвенники назад, а буржуазные демократы в воду. Но не разбежались, не бросили с таким трудом начатое дело. Учились слушать и говорить друг с другом, и пусть не сблизились наши позиции (рассчитывать на это было бы наивным), главное: взаимопонимание, хотя бы между нами, становилось фактом реальным.

Как ни странно, коротенький период существования "Поисков" совпал с самым тяжелым, пожалуй, временем в нашей стране. Я имею в виду не обрушившиеся на правозащитников репрессии, не те жуткие предолимпийские погромы, которым власти придавали такое значение в деле борьбы с независимым мнением, свободным неподцензурным словом (недаром в "заклучении специалистов" мелькает словечко: ликвидация . . .). Нам ли, понимающим, в какой стране мы живем и в каких условиях должны действовать, сетовать на методы, которыми тоталитарная власть управляется с инакомыслием. Хуже другое. В последние годы правозащитное движение все более смещалось в сторону нетерпимости, болезненной отделенности, отстраненности различных составляющих его поток течений. Я не буду перечислять все факты и примеры: недостойная некорректность со стороны отдельных людей и групп по отношению к фонду помощи Хельсинкской группе и даже к жертвам беззакония, интриги и показательная активность, замешанная на тщеславии, непомерных амбициях, претензия на лидерство со стороны некоторых "деятелей" и т.д. и т.п. Вам все это и без конкретизации понятно. Мне хотелось бы быть правильно понятым. Демократическое движение в нашей стране изначально складывалось из разнородных направлений. И никакой беды в этом нет, наоборот, были бы губительными любые попытки стянуть пестрый спектр концепций в одну узенькую

однотонную линию. Но разнородность совсем не предполагает чужеродности, догматической нетерпимости. Существовать мы можем в условиях данной социальной реальности лишь при условии координаций своих действий, братской взаимопомощи, а развиваться при условии того плодотворного сотрудничества порой совершенно полярных по своим концепциям течений, пример которому дали "Поиски". Как ни разнятся наши надежды на будущее России, у нас одна земля, один народ, одна беда, одна боль. Время ли сейчас заранее определять исключительность той или иной идеи в судьбе или истории нашей страны, когда под угрозой само существование, будущее России, без которых не будет ни судьбы, ни истории. Имеем ли мы право в этих условиях на безответственность, которая свойственна казенным идеологам, и на краю пропасти готовым бубнить: самое передовое . . . самое прогрессивное . . . единственно научное . . . безусловные успехи . . . реальные права . . . ура . . . ура . . .

Условия, в которых я сейчас нахожусь, не дают мне морального права выступать с какими-либо определенными предложениями, подталкивать вас на те или иные конкретные действия. Мне просто хотелось бы надеяться, что дело, начатое "Поисками", получит достойное продолжение. Вот пока и все.

Крепко обнимаю вас. Еще раз большое спасибо за помощь и поддержку. Ваш Валерий Абрамкин.

8 окт. 80 г. Бутырка. Кам. № 19.



В. Гершуни

ФЕМИДА ЛЯ КОМЕДИА

Трудно припомнить во всей истории цивилизованного общества подобный прецедент — уголовное дело о журнале, ведущееся неприкрыто и систематично в течение почти двух лет. В этом отношении "Поиски" — журнал уникальный. Не исключено, что каким-то образом это поняли и сами организаторы закрытого "судебного" шоу, и возможно, что именно это стало причиной отказа на последнем этапе от явного дела о журнале, с одновременным выводом на судебные заседания половины членов редколлегии, отсидевших к октябрю с.г. по 8 и 10 месяцев в уголовной тюрьме. Их дела о "Поисках" были выделены на каждого редактора отдельно, однако судебные спектакли были сыграны все в течение девяти дней — с 1-го по 9 октября, свидетели были почти все одни и те же на всех трех шоу, а главное — методы советского правосудия с убийственным однообразием повторялись на каждом из них, как и на всех прежних закрытых уголовно-политических инсценировках, начиная с дела И. Бродского в 1964 году и идя дальше по хронологии — начиная еще от эпохи ЧК.

Об уровне образования людей, взявшихся судить о нашем

журнале и взявшись судить его редакторов, говорит хотя бы примечательная фигура следователя А. Бурцева, который слаб даже в правописании — именно он вел дело о "Поисках", еще с первых погромных обысков 25 января 1979 г. Об интеллектуальном и нравственном уровне вершителей судеб отечественной культуры и вершителей судов над ее представителями свидетельствует в нашем случае: полное отсутствие обоснования и доказательство по формуле обвинения на всех трех процессах, отказ от привлечения экспертов с этой целью, подмена экспертизы такими "рецензиями" и "заключениями", которые выполнены на уровне низкопробных фельетонов, относящихся к жанру политической бульварщины Кассисов, Михайловых, Петровых-Агатовых и пр. Эти заключения, изготовленные по заказу следствия группой представителей казенной науки, на процессах не только не решились огласить или хотя бы цитировать, но даже останавливали обвиняемых и свидетелей, когда они упоминали об этой позорной продукции ученых подручных охранительного ведомства. (В прошлом таких можно отыскать убогое число, при этом Булгарины и Гречи ничего, кроме отвращения, не могли вызвать ни у общества, ни у самих жандармов).

Здесь же следует упомянуть о заведомо провокационных действиях следствия и умышленных фальсификациях в оформлении следственных протоколов, методичного противозаконного давления на большинство лиц, привлекавшихся Московской прокуратурой в качестве свидетелей (их было не менее полусотни), нередко и прямой шантаж, использование провокатора (И. Касаткина) на процессах В. Абрамкина и Ю. Гримма.

Это — об интеллектуальном и нравственном уровне служителей столичной Фемиды. Что касается уровня правового, то об этом свидетельствовать будет вся совокупность сведений о судах и о следствии, не нуждающихся в комментариях. Кроме уже перечисленных, приведу еще некоторые сведения, относящиеся к материалам суда над Юрием Гриммом.

Из обвинительного заключения:

"Вина Гримма в совершении преступления подтверждается . . . изъятием этого номера в квартире Сорокина, осмотром его, показаниями свидетелей о том, что они читали 3-й номер журнала, выписками из передач зарубежных радиостанций . . ." (Заметим, что это пишется о журнале, выпущенном именно для чтения, а не для хранения в книжной палате; заметим и то, что ни в пункте обвинения по этому номеру, ни по другим номерам нет ни одной ссылки на заключение экспертов — экспертизы не было).

Из последнего слова Ю. Гримма на суде:

"На 2-й страничке обвинительного заключения говорится, что дело на меня из "Поисков" выделено с целью всестороннего, объективного и наиболее полного расследования (когда уже закончено было следствие! — В.Г.), и тут же, на этой же страничке, написано, что я изготовил и распространил 3-й номер журнала "Поиски" . . . Как я мог поместить в 3-м номере журнала какие-либо материалы, не являясь членом редакционной?" Гримм отметил, что специально молчал об этом до самого суда, ожидая от

судей профессиональной внимательности, но этой оплошности ни прокурор, ни суд не заметили. Grimm вошел в редколлегию уже после выхода 3-го номера, его имя не значится в этом номере в составе редколлегии.

Ю. Grimm с самого начала спектакля отказался в нем участвовать и молчал два дня, использовал лишь последнее слово. Еще одна выдержка из него:

"На 5-й и 6-й странице говорится (в обвинительном заключении. — В.Г.), и повторил это соответственно государственный обвинитель, что в декабре 1979 года я распространил 6 номер журнала "Поиски", т.е. изготовил и распространил — в декабре. И вот читаем мы этот абзац. Перечислено, какие тут статьи . . . Вот, значит, о том, что передан за границу, где использовался "Радио Свобода" 28 сентября 1979 года! . . . В сентябре 28 сентября "Радио Свобода" использовала этот номер, а он вышел аж через три с лишним месяца!"

В обвинительном заключении сказано, что несмотря на предупреждения обвиняемому о недопустимости проводимой им деятельности, он "продолжал проводить ее в указанный период, представляя тем самым возможность печати и радио капиталистических стран . . . использовать материалы журнала "Поиски" с целью обмана мировой общественности и формирования ее искаженных представлений об СССР".

Итак, рабочий Ю. Grimm, в прошлом активный участник работы профкома, передовик, портрет которого годами висел на доске почета — стоило лишь ему начать мыслить, а за этим в цивилизованном мире предполагается неминуемое формулирование мысли, устное и печатное, — и власти великой державы, тотчас напуганные мыслящим пролетарием, немедленно заперли его в лагерь на 6 лет за то, что мыслил этот пролетарий не наедине с собой, а предлагал обсудить его мнение сотням людей, читавшим его листовки. Рабочий, представитель правящего класса, посмел использовать конституционное право на мысль и слово! Использовал свободу слова и печати, употребив на это собственные усилия, т.е. не имел доступа к "свободной" печати своего государства! Это было в 60-е годы. После падения Хрущева Grimma освободили, сократив его срок наполовину. Значит, можно полагать, не так уж опасно мыслил Юрий Grimm даже с точки зрения властей, иначе бы Верховный Суд СССР не принял бы в апреле 1965 года решение об освобождении рабочего, осужденного по статье 70-й, относящейся к особо опасным преступлениям. Ведь многих продолжали держать в лагерях и после Хрущева.

Когда Юрий убедился, что его государство и не думает ничего менять в том укладе, который навел его на горькие размышления в начале 60-х годов (надеясь на оздоравливающие перемены, он работал за семерых и был активным общественником-профсоюзником), когда он увидел, что множество людей покидает нашу страну, отчаявшись, как и он, в ожидании возрождения России, мерцавшего нам всем с 1956 года — тогда Юрий решил покинуть Родину. И был прав. Я — законренный противник эмиграции, но это мое личное убеждение, которое в плане моего об-

щения с людьми не затрагивает противоположных убеждений ни на волосок. Я помню постоянно о статье 13-й Всеобщей декларации прав человека, помню и слова Тургенева о том, что для истинного патриота есть только одно отечество — демократия. Тургенева ли мы заподозрим в недостатке патриотизма!

Юра Grimm — истинный гуманист и демократ, таким его знают все его товарищи. Было время, когда его не выпускали, было время, когда он и сам не хотел уезжать, понуждаемый неизменным стремлением помогать людям, борющимся за свои права, за демократизацию, за возрождение народа. Но вот тяжело заболел его сын-подросток (и болен до сего дня). Юрий снова активизировал свои усилия, требуя права на выезд из СССР — здесь помочь больному ребенку трудно, если вы не принадлежите к номенклатурному сословию. Причина отказа Юрию в выдаче визы совершенно непонятна. Если он, возможно, и был когда-то на работе в учреждении, тайны которого представляют предмет заботы наших органов, то ведь и принимали его на работу после отбытия нескольких лет лагеря, со статьей из "особо опасных". Значит, тайны там весьма дешевые. Как бы то ни было, Юрий не хотел сидеть сложа руки. Как на работе он постоянно был в передовиках, так и в правозащитной борьбе он никогда не относился к таким, для кого это — хобби. В его исключительно трудолюбивой, увлекающейся и активной натуре всегда присутствовало одно качество — неужержимость в работе. И мы знаем, сколько делал Юра для людей!

Поэтому никто из нас не удивляется, что его характеристики, запрошенные следствием с места работы и от соседей по квартире, были хорошие. А нам его характеристика не нужна — мы знаем Юру! Мы будем его защищать.

Я требую, чтобы Grimm, Юрий Леонидович, рабочий, правозащитник, член редколлегии журнала "Поиски", был немедленно освобожден, чтобы ему было предоставлено право выехать с семьей из СССР.

октябрь 1980 года



Р. Лерт

ЦЕПЬ БЕЗЗАКОНИЙ

. . . Здание Московского городского суда. Множество комнат, коридоров, по которым взад и вперед ходят люди. Но второй этаж перекрыт. За стеклянной дверью, отгораживающей коридор второго этажа от лестницы, четыре дня томятся сторожащие вход милиционеры. С другой стороны двери, на лестнице — мы — друзья Валерия, для которых не нашлось места в зале. Когда бы мы ни пришли — места нет. Здание суда открывается в 10 часов утра. Некоторые из нас пришли в 8. Все равно — "мест нет".

В зале, отведенном для суда над Валерием Абрамкиным, — восемнадцать мест, из них четыре занимают жена, мать, отец и сестра Валерия. Остальные четырнадцать слушателей — настолько "свои", что когда к концу четвертого дня суд удалился для вынесения приговора, вся "публика" (кроме, разумеется, родных Валерия) пошла пить чай в комнату с надписью "Посторонним вход воспрещается". А нас на лестнице — человек тридцать. В здании суда есть пустующие залы человек на сто — мы проверили. В первый же день мы направили председателю Мосгорсуда заявление с просьбой перенести суд в более просторное помещение, чтобы дать нам возможность присутствовать на нем. Ответа на заявление не последовало.

Такова "открытость" суда. Но это — лишь одно звено в той цепи беззаконий, которую представляет собой суд над редактором свободного московского журнала "Поиски" и, в частности, над Валерием Абрамкиным, которого "судят" сейчас здесь, в здании Мосгорсуда.

... Цепь беззаконий начало ковать следствие. Началось беззаконие 25 января 1979 года серией обысков. Продолжилось оно для Валерия Абрамкина шантажом со стороны следователя Ю. Бурцева, угрожавшего именно ему арестом, если выйдет № 6 журнала. Затем, после многократных допросов и угроз, последовал арест. Не добившись в течение 6-месячного предварительного заключения в Бутырской тюрьме от Абрамкина никаких показаний и не найдя никаких "улик", следователь вообще махнул рукой даже на внешние соблюдения законности. Предварительное заключение по закону не может длиться больше девяти месяцев? Чепуха! 4 сентября Валерию предоставили возможность ознакомиться с материалами "дела", представляющего собой 9 (девять!) толстых томов. Четвертого сентября Абрамкина по закону полагается выпустить из тюрьмы под подписку о невыезде. Чепуха! Соответствующее представление адвоката игнорируется, Абрамкина из тюрьмы не выпускают, а 8 сентября дело, с которым не успели ознакомиться ни обвиняемый, ни адвокат, передается в суд. Потом исчезает по неизвестным причинам избранный семьей Абрамкина адвокат и начинаются лихорадочные поиски другого адвоката. Идут дни — Абрамкину для ознакомления дело не дается. Наконец, за два дня до 24 сентября — начала суда, назначается "казенный" адвокат, которому тоже нет времени ознакомиться с делом. Процесс откладывается до 1-го октября, но за эту неделю Абрамкину только два раза привозят в тюрьму "дело" для ознакомления.

... Первого октября начинается процесс — в тех условиях "открытости", о которых сказано выше. Ряд людей, хорошо знающих Абрамкина, настаивает о вызове их в качестве свидетелей, в том числе передается суду и ходатайство соредактора Абрамкина по "Поискам" Райсы Лерт. Оно поддержано и подсудимым, и адвокатом, но автоматически отклоняется судом, как и четыре других ходатайства. А, казалось бы, для установления истины неплохо бы выслушать одного из редакторов "Поисков", работавших вместе с Валерием над изданием этого журнала.

Но что суду до установления истины! Вот например: Абрамкин заявляет, что в "деле" он обнаружил не известный ему и, конечно, не подписанный им, Абрамкиным, протокол, в котором он якобы признает свою вину. Как попал этот несуществующий протокол в дело? Абрамкин настаивает для выяснения этого вызвать в суд его адвоката Аксельбанта и следователя Жабина, присутствовавшего при исполнении ст. 201.

... Суд отклоняет его ходатайство.

Еще один пример.

Пока в судебном заседании допрашивается свидетель Сорокин, в свидетельской комнате ждут своей очереди остальные пять человек. В это время к ним заходит неизвестный, который, впрочем, известен одному из свидетелей Яковлеву, ибо в свое время допрашивал его, Яковлева, по поводу "Поисков", не назвав своей фамилии. Весьма фамильярно обращаясь к Яковлеву на "ты", он утверждает, что Сорокина суд сейчас будет привлекать за его показания к уголовной ответственности, "так что ты подумай, прежде чем давать показания".

Яковлев, как и остальные свидетели, слышавшие это, написали заявление суду о недопустимом давлении на них перед дачей показаний. Мало того, выходя к судейскому столу, каждый начинал свои показания с рассказа об этом эпизоде и требовал привлечь этого человека к ответственности.

Как реагировал суд?

Судья Евстигнеева спросила Яковлева:

— Ну и что, вас запугали? Вы изменили свои показания?

— Нет.

— Ну, так в чем же дело?

И "неизвестный" испарился, так и не обнаружив своей фамилии и своего служебного положения. Хотя и то, и другое, надо полагать, хорошо известно тем, кто пропускал его в бдительно охраняемые милиционерами помещения второго этажа и в свидетельскую комнату, куда доступ и откуда выход никому не разрешался.

Несмотря на давление, оказываемое на свидетелей и во время предварительного следствия, и во время суда, все свидетели (кроме тех, которые с ним просто незнакомы) дали Валерию Абрамкину подчеркнуто положительную характеристику, а свидетельница Сейтан Сорокина после своей речи в защиту Валерия преподнесла ему цветы (которые, конечно, не были переданы).

Ряд свидетелей официально заявили суду, что их показания на предварительном следствии записаны неправильно, неточно, извращенно.

Суд игнорировал эти заявления.

Характерен допрос бывшей жены Валерия Абрамкина Малиновской. Ей предъявили протокол ее допроса на предварительном следствии, где она якобы сказала, что Абрамкин выражал недовольство советским строем. Малиновская заявила, что она этого не говорила, что она ничего не знает о том, что Абрамкин якобы "клеветал". Никто из свидетелей не подтвердил клеветы, наоборот все ее отрицали. Даже единственный "свидетель обвинения",

некий инспектор Мосэнерго Касаткин, с которым Абрамкин вообще незнаком, изложил суду вымышленную историю о передаче ему Абрамкиным в полутемной сторожке номера "Поисков", который ему, Касаткину, не понравился, "потому что он антисоветский". Но в чем "антисоветскость", он изложить не мог, так как в этой полутьме едва его рассмотрел.

Это бредовое показание суд не игнорировал.

Фигура Касаткина совершенно ясна. Через четыре дня этот "профессиональный свидетель обвинения" давал аналогичные показания на процессе другого редактора "Поисков" Юрия Гримма. Тем самым Касаткин отработывает ту снисходительность, с которой относится к нему советское правосудие, глядя сквозь пальцы на его сомнительную деятельность в другой области.

Так или иначе, даже с помощью Касаткина суд констатировал лишь "распространение" журнала "Поиски", но не смог установить в судебном заседании, что в этом журнале содержались "заведомо ложные, клеветнические сообщения". Да он и не пытался этого установить. Просто в обвинительное заключение, а затем в приговор были переписаны выдержки из отзывов так называемых "специалистов" — докторов наук, профессоров и членов-корреспондентов академических институтов, которые с готовностью выполнили задание следователя Ю. Бурцева: подтвердили, что в "Поисках" содержится клевета, не доказав этого ни научно, ни просто логически. Их "отзывы" заслуживают особого разбора, который не может вместиться в короткую корреспонденцию. Пока достаточно назвать их фамилии, чтобы мировая научная общественность знала, кто из советских ученых послушно выполняет задания карательных органов. Это — доктор философских наук, профессор Модржинская (институт философии АН СССР), директор Института философии Б. Украинцев, доктор исторических наук Г. Тукан (институт истории СССР АН СССР), доктор исторических наук О. Ржешевский (институт всеобщей истории АН СССР), директор института международного рабочего движения, член-корреспондент АН СССР Т. Тимофеев. ВСЕ эти отзывы написаны в духе политических доносов светлой памяти 1937 года.

Однако ни один из авторов доносов в судебное заседание не явился. Валерий Абрамкин трижды ходатайствовал перед судом — и о том, чтобы определить, кто эти люди: эксперты, специалисты, свидетели, и о том, чтобы они в любой своей ипостаси явились в суд. Ибо он, обвиняемый в клевете, хочет задать им вопросы, в чем именно находят они клевету?

Тщетно. Суд механически, с постоянством налаженной машины, отклоняет все ходатайства.

Цепь беззаконий, которой заранее был опутан обвиняемый, нескончаема. По закону определить по существу, что клевета, а что не клевета, должен именно суд, а специалисты или эксперты или свидетели должны дать свои показания об этом устно и непосредственно в судебном следствии.

Но суду — не до соблюдения законов. Машина движется, и только обвиняемый нарушает ее плавный ход, выдвигая вполне

законные, но неизменно отвергаемые ходатайства. Прокурор в бешенстве: откуда этот 34-летний химик так хорошо разбирается в законах? Прокурор до того в бешенстве, что отвергает даже ходатайство Абрамкина о выдаче ему двух необходимых для защиты книг: изданной советским издательством брошюры "Наша планета" и . . . Программы Коммунистической партии Советского Союза!

Аргумент?

— Подсудимый имеет высшее образование и может обойтись и без этих книг . . .

И суд отклоняет ходатайство.

Суд заканчивается вынесением приговора — 3 года лагерей — 4 октября в половине десятого вечера. Нас уже давно выставили из здания суда, и заперли двери. Уже давно произнесено последнее слово, судьи где-то "совещаются". Мы стоим у ворот и ждем, как и каждый день по окончании суда, когда вывезут в "воронке" Валеру. Кругом шныряет большое количество "касаткиных", подъезжают и отъезжают какие-то начальственные машины с антеннами. Вот, наконец, открываются ворота. Слышен шум мотора. Мы кричим, скандируя: "Валера мо-ло-дец!", "Победа, Валера!"

А ведь, действительно, молодец! Один на один он сражался с заведомо несправедливым судом и сбить с толку его не могли. И моральная победа осталась за ним.



В. Гершуни

ИДЕОЛОГИ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ .

Очередной судебный балаган прошел 16 декабря в подмосковном Пушкино, где когда-то, в младенческие годы нашего режима, его певец создавал свои агитплакаты. Не только этот "агитатор-горлан", но и очень многие культуртрегеры Запада и Востока, поклонявшиеся младенцу, оказались в роли очарованных волхвов, не предвидевших какую он принесет им благодарность за их дары через два десятилетия.

"Страна-подросток" еще тешила надежды некоторых интеллектуалов России и Запада, словно бы не заметивших или действительно не замечавших всего, что заметили, например, Мандельштам, Платонов, Пильняк, а Замятин и Булгаков — еще в

те годы, когда писались в г. Пушкино агитокна РОСТА*. Их создатель и сам заметно засомневался в последние годы, перед самоубийством, и это сказалось даже в его ликующей октябрьской поэме — например, в грустном окончании диалога на "красном погосте", где ему нечего было ответить на тревожный вопрос из могил о "всевластной тине".

Не в пример Иудушке Головлеву, "подросток" задолго до полного возмужания развернул свои таланты и недолго при творствовал перед "друг-маменькой" — Россией, которой тоже в свое время предсказывали и автор пророческого романа "Мы" (недавний социал-демократ), и сам социал-демократический папаша Плеханов: "Наседка спохватится, да поздно будет". Это говорил матери-Головлевой дурачок, блаженный, а матери-России говорили ее духовные избранники, составлявшие цвет интеллигенции — говорили дома, затем в изгнании. И — что там буржуазные интеллигентские кликуши! — кричал даже пролетарский кумир, основоположник соцреализма, и он был не из тех, спохватившихся позже, а кричал в самые первые месяцы. Его кричащие "Несвоевременные мысли" на родине до сих пор прячут в спецхранах стражи соцреализма, идеологи, написавшие имя Горького на своем знамени.

Итак, в городе Пушкино, где Маяковский был по плечу солнцу, присягая с ним на пару "светить всегда, светить везде", в судебно-идеологическом балагане был вынесен приговор Виктору Сорокину, экономисту, журналисту, борцу за права. Сорокин — четвертый из сотрудников редакции журнала "Поиски", над которыми учинена расправа (исключение Р.Б. Лерт из КПСС и два месяца моего психиатрического олимпийского ареста я не беру в счет).

Дело о "Поисках" — уникально. В истории русской журналистики и в истории русских охранительных служб ничего подобного до 1980 года не происходило. От сатирических журналов, издававшихся молодым Крыловым, до ждановского разгрома двух ленинградских журналов в 1946 году и до ликвидации в "Новом мире" редакции Твардовского в 1970 году — не отыщется прецедента, на который можно было бы сослаться в разговоре о судьбе журнала "Поиски". Можно вспомнить о таких изданиях, как "Европеец" И. Киреевского (запрещен после 2-го номера), "Московский телеграф" Н. Полевого, "Телескоп" Н. Надеждина, славянофильский "Московский сборник" 1853 года; "Современник", закрытый "по особому повелению" (одновре-

* В интервью, данном А. Д. Сахаровым 22 февраля корреспонденту "Вашингтон пост" и опубликованном в этой газете 9 марта под заголовком "Некоторые мысли на пороге 80-х годов", великий сын России сказал, что 15-летнее правозащитное движение в нашей стране "изменило нравственный климат и создало духовные предпосылки для демократических изменений в СССР и для формирования идеологии прав человека во всем мире. Основные иллюзии о сущности нашего строя, которые были когда-то всеобщими среди западной интеллигенции, стали гораздо менее распространены, более того, сегодня их почти нет".

менно с "Русским словом") в 1866 году, после 30 лет жизни журнала, начатого Пушкиным; "Отечественные записки" — после 50 лет издания; "Искра" (1859—1873), закрытая правительством; запрещенные в 60-70-е годы "Всемирный труд" и "Северный вестник" ("по высочайшему повелению"), "Новости", "Гудок"; газеты "Русская правда" — "за вредное направление", "Неделя" (1880); журнал "Дело" (1888)...

Можно напомнить о тонких журналах 900-х годов, запрещавшихся и выходявших чуть ли не на следующий день под другим названием, о запрещавшихся уже при Совнаркоме журналах и газетах — в частности, меньшевистская газета "День", закрытая в феврале 1918 г. за кампанию "брани, лжи, клеветы, инсинуаций против рабочего и крестьянского правительства", и 25 октября того же года — "Еженедельник ЧК", за опубликование в 3-м номере статьи "Почему вы миндальничаете?" — по определению ЦК, "восхваляющей пытки" (редкий случай запрета, достойного всенародного одобрения!). 22 февраля 1919 г. была закрыта меньшевистская газета "Всегда вперед"; в июне 1922 года — журнал Русского технического общества "Экономист".

Да, много чего бывало за 277 лет русской журналистики.

Но не было еще такого, что происходило с журналом "Поиски" и вокруг него. Около полусотни привлекавшихся по делу в ходе дознания, следствия и суда, более тридцати обысков, уличные захваты редакторов и сотрудников журнала, погромные рецензии для суда, выполненные в духе бульварно-черносотенной журнальной продукции и призванные сыграть роль экспертных заключений (для этого были привлечены доктора наук от идеологических служб и один членкор академии). Все это уже продолжается два года и будет продолжаться дальше — дело о "Поисках" не закрыто. По этому делу почему-то проводились недавно обыски у пяти писателей, заявивших в соответствующие инстанции ходатайства от имени большой группы литераторов о разрешении образовать литературный группком по образцу группкома художников-графиков (1976 г.). Обратим внимание: литераторы, добывающиеся открытого и легального творческого союза, загоняются властями в подполье! Напомним, что и журнал "Поиски" был объявлен как легальное издание и тоже был загнан властями в подполье.

10 декабря, когда по случаю Дня Прав Человека десятки московских правозащитников были взяты под охрану — одни дома, другие на работе, — следователи московской прокуратуры провели обыски в трех московских квартирах и в одной квартире в городе Лисичанске. Среди следователей был Ю. Бурцев, ведущий до сих пор дело о "Поисках". Именно по этому делу производились обыски, хотя разыскиваемый ими роман никакого отношения к журналу не имеет и, по утверждению самих следователей, отправлен был не в "Поиски", а за океан, и захвачен будто бы был на таможе.

Впечатление таково, словно вся самиздатская литература

теперь проходит по делу о журнале "Поиски", как бы интегрированная в этом уголовном досье. Спасибо за такое признание интеграторам с площади Дзержинского, но нам стыдно за столь высокую оценку нашей работы, ибо эта оценка вызвана интеллектуальной немощью деятелей современного сыска. В III отделении публика была образованнее. Например, по делу о "Телескопе" специальной комиссией привлекались редактор Надеждин, цензор Болдырев и Петр Яковлевич Чаадаев, чье "Философическое письмо" стало причиной запрещения "Телескопа". Дело было очень скоро закрыто, и не пошли по этому делу ни Лермонтов с его стихотворением "Смерть поэта", ни Шевченко с его "Кобзарем", ни другие издания участников Кирилло-Мефодиевского общества, ни петрашевцы — никто не пошел; даже переводчика "Философического письма" с французского на русский III отделение искало без особого тщания. Болдырева уволили от должности, Надеждина ненадолго выслали, а Чаадаева объявили сумасшедшим — по прямому письменному указанию Николая I. Медицинский надзор осуществлялся на дому, а общество восприняло это как вид нравственной кары — официальное заключение о состоянии психики философа никто всерьез не принимал.

Виктор Сорокин обвинен формально не за участие в работе редакции "Поисков", а за дачу ложных показаний суду по делу о журнале. Но никаких, разумеется, ложных показаний он не давал — разве что само присутствие на судах, где все ложно и мистифицировано, кроме только четко-реального приговора, ставит любого из нас в более или менее ложное положение, даже если мы отказываемся разговаривать с судьями, но самим своим присутствием, пусть даже радостным для обвиняемых — наших товарищей, поневоле участвуем в создании этакого судебного ансамбля, нужного им, но не нам.

Любые разоблачительные усилия в отношении следственных и судебных фальсификаций подобны мнимому кормлению в биологических лабораториях: корм наших аргументов пропадает впустую, но помогает при этом вырабатывать в чреве беззакония желудочный сок, способствующий его пищеварению, а во чреве — наши товарищи. Сколько их переварила каннибальская утроба, и никому не помогли наши аргументы. Блистательное выступление Сони Сорокиной на суде над В. Абрамкиным — радостное исключение, но все же исключение. Заинтригованные и поэтому растерявшиеся судьи, видимо, надеялись что-нибудь выловить для себя из ее выступления, поэтому и терпели необычную речь до конца. В другой раз они не клюнут — оборвут на полуслове.

Виктора Сорокина обвиняла та же Праздникова, которая в октябре обвиняла Гримма. Она прокурорствовала на суде Сокирко. Дело о "Поисках" раздробили на разрозненные по видимости отдельные дела, побоявшись вывести одновременно на судебную расправу всех редакторов и сотрудников — это было бы беспрецедентным скандалом перед лицом современной культуры и цивилизации. Но повторяемость от процесса к процессу все тех же свидетелей, все того же обвинителя, дуближ

известных приемов, столь характерных для советского "правосудия" — все это не дало ему спрятать ослиных ушей. Суды над Абрамкиным, Гриммом, Сокирко и Сорокиным, начатое недавно следствие над писателем Михаилом Лятовым — это единый процесс о журнале "Поиски", первый, беспрецедентный "многосерийный" суд над свободной журналистикой.

Радауйтесь, гуманитарные волхвы, если еще есть кому радоваться, если еще кто-то из вас выжил после десятилетий истребительной войны против мысли!

В декрете Совнаркома о печати — 27 октября (9 ноября) 1917 года говорилось: "Как только новый порядок упрочится — всякие административные воздействия на печать будут прекращены, для нее будет установлена полная свобода..."

Теперь, через 63 года после этих заверений, можно подумать, что не только в Афганистане, где "новый порядок" — еще младенец, хоть уже и не привлекающий ликования и даров ни с Востока, ни с Запада, — но и в СССР, после шести десятилетий сплошного триумфального шествия, этот порядок все никак не упрочится! Правда, если довести цитату до конца, то мы убедимся, что обещание предусматривало для печати полную свободу "в пределах ответственности перед судом, согласно самому широкому и прогрессивному в этом отношении закону". Умудренные 63-летним опытом, мы уже ведаем всю относительность понятий "широкий" и "прогрессивный", да и самого понятия "закон". А что касается ответственности перед судом и прочих правовых понятий — тут всякие комментарии будут столь же ненужны и немощны, как и упомянутое выше юридическое мнимое кормление.

Журнал "Поиски" был задуман и начат как издание дискуссионное. Дискуссии когда-то допускались внутри нашей правящей партии, да с выносом в печать — и даже в годы, когда воинственного "младенца" лихорадило на всех фронтах, и обстановка требовала стального единства, железной внутрипартийной дисциплины. Дискуссии первого послереволюционного десятилетия сменились сталинской мясорубкой, а после обманной после-сталинской "оттепели" неосталинисты, понявшие немалую для них самих опасность полемик с применением пыток и расстрелов, разработали новый стиль расправы с мыслью и оппозицией — с использованием правовых имитаций, законоподобных охранительных систем и мнимосудебных балаганов.

Из той опасности беззакония, которую они поняли для себя, уроки они извлекли отчасти в десятилетия правления оберпалача, отчасти — после него, когда народ покарал немногих из них, остальных помиловал. Русская история вечно изобилует превратностями, неприятными для тех, кто ее не понимает, и особенно опасными для тех, кто не хочет понимать. Разбойникам, помилованным в 50-е годы, когда они отделались испугом, на размышление было предоставлено достаточно времени, и в недалеком будущем, когда им повторно придется держать ответ перед народом, они не могут рассчитывать на очередное помило-

вание после того, как размышляя о своих делах уже почти три десятилетия, они все-таки ничего не поняли и ничему не научились.

Мы верим, что близко время, когда Иудушка, раскается ли он или беспokoянно, скрючившись, закоченеет на братской могиле своих жертв, которым несть числа.

18 декабря 1980



Марина Павловская

ГАРАНТИЯ УСТОЙЧИВОСТИ

Я забыла его. Грех ли это мой или неизбежность законов памяти — я забыла.

А первые месяцы после ареста он был живее живых. Живее нас всех — оставшихся, живее близких.

Арест был толчком к созданию образа Валеры для людей, которые едва знали его. Для меня. Очевидно, в этом выразилось инстинктивное стремление противостоять бессмыслице, пожирающей жизнь, оставляя на месте жизни — пустоту. И каждый из нас, знавших его, я верю, заполнил пустоту бездонностью. Для каждого любая черта Валеры теперь, в воспоминании наполнилась особой значительностью, глубиной, вылилась в образ.

Мой Валера — весь в субстанции жизни. Как рассказать об этом? Как рассказать о жизни, которая определена лишь простотой и смелостью дыхания? Жизнь без изломов, всплесков и предательств (если не других, то самого себя) — этих непрременных составляющих героя нашего времени.

От Валеры веяло силой. Ее секрет — в приятии ответственности за свою личность, за людей, которых он стягивал к себе и друг к другу. Эта сила жизни — в каждой подробности Валериного существования, облика: улыбке, которую запоминал любой, кто видел, каре-блестящих глазах, в том, как он точил топор и рубил лес, делал журнал и читал стихи. (Я не люблю Хармса, но Валериного Хармса я не могла не полюбить).

Секрет Валериного обаяния — в небоязни жизни, смелости ступания, в отказе от гарантий. Его последние дни на свободе в лихорадке предареста.

”Отце Мой! Если возможно да минет Меня чаша сия, впрочем не как я хочу, но как Ты”.

Он не боялся будущего.

Говорят, тюрьма сродни могиле. Побывавшие там этого не отрицают. Смерть — итог. И тюрьма — тоже итог. Что делать Валере с этим итогом — он решит. А что делать нам с тем итогом — образом — символом, который он оставил? Символом живой жизни в мертвом мире. Символом отказа от трусости в стране, где можно бояться каждого своего шага. Символом отказа от гарантий во времени, когда каждая минута должна превратиться в гарантию устойчивости, не то — сомнут.

Помним ли мы о том, что они берут самых живых?

Испорченных оставляют плодиться.

Как страшна и притягательна — значительна, была для меня остановка автобуса на перекрестке перед Бутырской тюрьмой, прикрытой белесым домом с магазином ”Молодость”! Два раза в неделю по дороге на работу совершалась встреча с Валерой. С его образом во мне. С символом, вопросом, который он нам оставил.



ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА СЕМЬИ ПОДРАБИНЕКОВ

Братья Кирилл и Александр Подрабинеки получили по в т о р н ы е сроки заключения — один перед самым концом первого срока, а другой — в середине его. Это — страшная трагедия. Власти решили известить этих мужественных людей. Этим самым они наносят страшный удар и отцу — Пинхосу Подрабинеку, крупному ученому-медику и замечательному человеку — участнику правозащитного движения.

Отец и сын Кирилл — авторы ”Поисков”.

Спасти эту благороднейшую семью — долг людей доброй воли!

От имени издательства ”Поиски”

П. Абовин-Егидес.

В. Гершуни

ПО ПОВОДУ МОНОПОЛИСТСКИХ, АНКЕТНЫХ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ВОЖДЕЛЕНИЙ "КОНТИНЕНТА"

В этом журнале акции по дискредитации Льва Копелева стали обычными, они не встречали осуждения, и только П. Григоренко однажды выступил по этому поводу, и достаточно резко. С тех пор прошли годы. Петр Григорьевич вошел в редакцию "Континента". Копелева преследовала советская охранка, ей помогала советская печать, и опять подоспел им на помощь "Континент", для которого уже стало делом нормальным, регулярным и словно бы гигиеническим подвергать травле тех, кто почему-либо оказались неугодными континентовской группе.

Когда безнаказанные клеветники шельмовали Копелева в "Советской России", А.Д. Сахаров выступил с заявлением, в котором было сказано: "Я выражаю свою солидарность с Львом Копелевым. Правда и моральная сила на его стороне. И я уверен, что на его стороне — симпатии многих и многих честных людей".

Мы должны вычеркнуть из числа этих людей тех редакторов и сотрудников "Континента", которые не хотели воспрепятствовать появлению в 24 номере журнала "Комментария В. Максимова" к статье Бирмана, весьма сдержанной, а также статьи художника (кажется, Красного), не только не отличившегося сдержанностью, но, сверх того, выполнившего свой опус в духе и манере изделий советских газетных налетчиков*. И уже

* Этой статье я в дальнейшем специально не касаюсь (как и письма Бирмана), не имея 24 номера под рукой. Мне удалось лишь прочитать обе эти вещи, но ни выписок, ни замечаний по ходу чтения набросать я не мог за недостатком отведенного мне времени. — В.Г.

не только от них нам приходится защищать Льва Копелева. И не только его.

Несколько лет тому назад Леониду Плющу "влетело" от неистовых христиан за то, что он после длительных психиатрических пыток не изменил своих взглядов. Не берусь устанавливать, которые из них были собственно христианами, а которые состояли в этом звании лишь по партийной принадлежности. Хочу только напомнить и тем, и другим, что Ф.М. Достоевский в христианском государстве был приговорен за инакомыслие к смертной казни, ожидал ее, пережил предсмертные минуты на месте казни, затем по милости христианского царя был отправлен на каторгу. После каторги всю жизнь был активным христианином и монархистом, но никто из нынешних христиан не порицает Достоевского за то, что он не перешел в лагерь врагов царизма и религии. Хочу также заметить, что журнальный поход на Плюща предприняли те христиане, которые были благополучны в безопасном зарубежье, куда Плющ был доставлен прямо из Днепропетровской желтой тюрьмы. Если б недовольство Плющом, его идейной устойчивостью, не поколебленной годами пытки, исходило даже из советских лагерей и крытых тюрем, это недовольство следовало бы признать незтичным и непристойным. Но стократ непристойнее звучали нарекания эмигрантов. Я не забыл, что началась эта кампания не в Европе, а в Москве, дома, но для зачинательницы Москва недолго оставалась домом — ее унесло в Европу после первой остратки КГБ, и христианские убеждения не оказались надежным тормозом.

После травли Плюща, сдобренной клеветой (вздорное обвинение в доносительстве), после немотивированного осуждения континентовцами Амальрика за его демонстрацию у Елисейского дворца (все внешне немотивированное обычно содержит скрытые мотивы), после клеветы на Давида Самойлова, которого они обвинили в "верноподданническом зубоскальстве", совсем уже мало оставалось надежды на то, что в эмигрантские души вернется нравственное равновесие, достоинство и честь, приличествующие былым соотечественникам тех, кто остался в сражении. Но все же эта маленькая надежда нас не оставляла.

Лично меня надежда покинула окончательно, когда я прочи-

тал в 24-й книге "Континента" следующие строки Максимова из упомянутого комментария:

"... Отвечать же уважаемому мною Льву Копелеву ("уважаемому", как это явствует из контекста, в отличие от других оппонентов, не удостоившихся максимовского уважения – В.Г.) я не имею морального права, ибо он "там", а я "здесь", но, тем не менее, мне хотелось бы заметить, что человеку, с достаточной откровенностью изложившему свою, мягко говоря, весьма сложную биографию в честной книге "Хранить вечно", не стоило бы анализировать биографии других с таких нравственных высот. Как говорится, Вам бы да мои грехи, многоуважаемый Лев Зиновьевич!" (стр. 348).

Немногие отрывки из "Саги о носорогах", которые мне удалось прочесть, вызвали во мне сочувствие и понимание, но я отнюдь не был уверен, что так же должны были отнестись к "Саге" все русские ее читатели. Более того – раздраженные и малоубедительные реплики Максимова, появлявшиеся в печати в ходе обсуждения "Саги", ослабляли первоначально возникшую уверенность в том, что смысл и пафос обсуждаемого произведения были продиктованы автору чувством праведной боли и стремлением вразумить тот мир раздремавшейся демократии, где многие баловни свободы уподобились лапутянам, которые бессильны видеть и слышать и на каждом шагу (цитирую Свифта) подвергаются опасности упасть в яму или стукнуться головой о столб, если их не будут похлопывать по ушам и глазам, чтобы вывести *демократов* из состояния чрезмерной созерцательности.

Это и пытается делать Максимов, и многие считают его правым. Но одно дело – правота, другое – форма осознания и утверждения своей правоты и методы ее отстаивания, которые, как известно, могут от этой правоты не оставить камня на камне и превратить праведника в гонителя.

В цитированном "Комментарии" из 24 номера В. Максимов, заметно раздраженный необходимостью оставаться сдержанным, ссылаясь и словно сетуя на эту вынужденность и тут же ею пренебрегая, напоминает Копелеву о его "весьма сложной биографии", оговаривая, что это еще мягко сказано, – и к этому, собственно, сводится ответ Максимова на статью Копелева о "Носорогах".

Лучше бы воинственный редактор не скромничал насчет своей стесненности, не ссылался бы на неравные условия свои и своего критика – лучше бы ответил он Копелеву по существу его кри-

тики, да не затевал бы этой типично советской склоки о биографиях, столь опасной для континентовского гнезда. . . Да им, верно, думается, что они и отвечают по существу, но почему-то вспоминается сатира А. Архангельского именно под этим названием — "Ответ по существу", с такими строками в конце:

О вас идет худая слава
(Слова чужие, не мои) —
Скажите, кто же дал вам право
Писать подобные статьи.

Это не первый поход "Континента" на Л. Копелева. Гран-мерси главному редактору за то, что он признает честной книгу "Хранить вечно", но не он ли в свое время предоставил страницы журнала для издевательств над честным автором? Глумливая выходка В. Марамзина под криптонимом была по достоинству оценена П. Г. Григоренко в его памятном интервью "Континенту" (№ 17). Но Марамзиним в журнале и ныне просторно.

В отличие от своих проработчиков Л. Копелев сам поведал людям о сложностях своей биографии. Когда ваша безоглядная искренность встречается с моральной тупостью, с низкой и агрессивной решимостью политиканов попользоваться в споре с вами вашим же исповедальным словом, применяя его как полемическое оружие — не похоже ли это на злоупотребления иных священнослужителей тайной исповеди? Исповедь Копелева была открытой — так уж и вовсе глупо выглядит этот странный шантаж, пошлый и нелепый.

Хочу я задать континентовским христианам несколько вопросов:

1) Что больше их привлекает в "сложной" биографии апостола Павла — тот ли период, когда он был гонителем христиан, или последующий, когда он выступает учеником, сподвижником и последователем Христа?

2) Бросал ли кто-нибудь из христиан упрек апостолу Павлу в его антихристианском прошлом?

3) Кому следует предъявить больший счет за прошлое — апостолу Павлу или Л. Копелеву — воспитаннику страны Советов?

4) Если с апостола следует спросить строже, чем с коммуниста, заплатившего за сложности своей биографии 10 годами тюрь-

мы, то почему "Континент" начал разговор о таких биографиях не с Павла?

5) Удовлетворяет ли континентовских христиан борьба Павла за христианскую нравственность? Если удовлетворяет, то считают ли они, что прошлое апостола все-таки снижает значение его борьбы? (те же вопросы – в отношении Льва Копелева).

6) Занимаясь биографическими проблемами своего оппонента, отыскал ли Максимов в послетюремной части его биографии какие-либо дела, предосудительные в нравственном отношении?

7) Если не отыскал, то максимовское порицание Копелеву, допущенное к опубликованию прочими активистами редакции и ими же допущенное ханжеское глумление Марамзина – не обнаруживает ли у редакции "Континента" то качество, которое в христианском лексиконе именуется фарисейством?

И еще вопрос: нет ли в редакционном плане "Континента" намерения провести проверку анкетных данных участников правозащитного движения с включением вопроса: "Чем занимались до 1917 года?" "1917" – это, разумеется, чисто символический момент биографического перелома, и, видимо, в жизни каждого инакомыслящего есть свой "1917 год", кроме самых юных из нас, чей "семнадцатый" затерян в раннем детстве и не поддается анкетному уточнению (так, на моих глазах подрастал "готовым" с рождения Саня Якобсон).

Смешно конечно. И уже не первый год смешно. Вернувшись из тюрьмы в 1974 году, я поневоле задался вопросом: а после нравственной революции будут ли спрашивать: "Чем Вы занимались до 1984 года?" И вот анекдот претворяется в неюмористическую реальность.

Чем занимался Лев Копелев до своего "семнадцатого" – он ответил в своих книгах. Чем он занимался после "семнадцатого" – это широко известно. В частности, мне бы хотелось подчеркнуть одно обстоятельство, касающееся и биографии Копелева, и биографии советского правозащитного движения. Копелев был одним из первых и одним из ведущих в организации защиты Иосифа Бродского (1964 год). Дело Бродского было первым эпизодом открытой правозащитной борьбы в СССР; запись суда над Бродским, сделанная Ф. Вигдоровой, и приложенный к ней меморандум Л. Копелева положили начало правозащитной документалистике самиздата. Известна роль Копелева в деле продвижения в

”Новом мире” ”Ивана Денисовича”; многие считают, что его роль была решающей.

Эмигранты, задающие тон в ”Континенте”, рассказывая о своей жизни и делах, едва ли будут смотреть в глаза людям так уверенно и спокойно, как Лев Копелев.

В редакции ”Континента” состоят некоторые наши земляки, и среди них такие достойные люди, как П.Г. Григоренко, Э. Кузнецов, В. Буковский (принадлежность к редакции А. Сахарова более символична, нежели реальна). Неужели эти люди и дальше позволят прикрывать их именами непристойности, подобные тем, о которых я здесь рассказал весьма кратко?

В беседе ”Континента” с П.Г. Григоренко, запись которой опубликована в 17 номере, редакторы журнала то ли оправдывались, то ли раскаивались, хотя и невнятно, за свои наскоки на Л. Плюща. Это ими выдавалось как-то натужно, вынужденно и вымучено, но все же они доказали, что могут иной раз наступить на горло собственным амбициям. Пришлось ли им отступить перед нравственной силой Петра Григорьевича — человека, далекого от всякой дипломатической игры? (Не нахожу объяснений его спокойствию после выхода 24 номера). Или они к тому же еще и поняли, что христианам, хотя бы изредка, для публики, нужно поступаться теми заботами о групповом престиже, которые не имеют ничего общего с заботами об идейной бескомпромиссности?

Наступило время снова напомнить об этом ”Континенту”. Мы ожидаем от редакции извинений перед Л. Копелевым, Д. Самойловым и перед читателями. Наше ожидание будет недолгим.

После упоминавшегося выступления континентовцев по поводу демонстрации Амальрика группа москвичей отправила в Париж письмо в поддержку Амальрика, но по настоянию тех, кто предпочитает любому принципиальному разговору соблюдение ”приличий” и тишины — во что бы то ни стало — это письмо не получило огласки. Так же обстояло дело и с некоторыми другими письмами в Париж. Всегда отыскиваются настойчивые истерики, озабоченные более всего тем, чтобы не допустить радости у охранительно-идеологических служб режима. Непонятно, почему их озабоченность ни разу не устремилась

в сторону Парижа, когда проделывались те континентовские курбеты, о которых мне теперь пришлось чуть ли не впервые заговорить вслух? Не эти ли поборники сомнительной благопристойности растлевают континентовцев, в групповом сознании которых уже укоренилась монополистская уверенность в их исключительном праве на безразличие к ликованию охранки, обнадеженно наблюдающей нечистую игру в Париже. И те же радетели благопристойности поднимают тревогу всякий раз, когда "Континенту" хотят возразить.

Я вынужден огорчить редакцию этого журнала, и не только от своего лица: никаких моральных льгот мы ей не предоставляли никогда, и в дальнейшем любая попытка пользоваться такими льготами и пиратски присвоенными привилегиями встретит гласный и недипломатический отпор.

Немецкое Общество Защиты Прав Человека

Общество

- поддерживает людей, борющихся в тоталитарных странах за осуществление принципов Всеобщей декларации прав человека,
- оказывает материальную и правовую поддержку людям, лишенным свободы за их религиозные, общественные или политические убеждения,
- посредством различных публикаций информирует общественность Федеративной Республики Германии, Австрии и Швейцарии о борьбе за гражданские права в тоталитарных странах. Периодически публикует материалы Самиздата.

Председатель Общества прав человека

д-р. мед. Рейнгард Гнауик

Зам. председателя И. Агрузов

Наш адрес:

Gesellschaft für Menschenrechte e.V. Kaiser Str. 40 Postfach 2965

6000 Frankfurt/M. 1. Tel. (0611) 23 69 71.

Bundesrepublik Deutschland.

ЗАЯВЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА

"ПОЕДИНОК"

В связи с тяжелым положением, сложившимся в правозащитном и демократическом движении, редколлегия журнала "Поединок" вынуждена сделать следующее заявление:

Сегодня, когда ряды правозащитного и демократического движения резко поредели, некоторые "правозащитники" вместо того, чтобы реально оценить создавшуюся ситуацию, и постараться активизировать свою деятельность, различными безосновательными подозрениями и обвинениями в адрес своих же товарищей оказывают неоценимую помощь органам госбезопасности и, фактически, дезорганизуют движение.

Случилось так, что уныние и апатия, дразги и склоки пришли на смену правдивому слову, острому перу и свежей мысли.

Пора понять, что если мы не вернем дух товарищества, уважение друг к другу и посильную поддержку попавшему в беду, то мы не только ничего не добьемся, но и разрушим то, что создали.

Первый номер журнала "Поединок" выпущен в 1979 г. Увидели свет и два последующих номера.

В 1980 году органами КГБ были проведены обыски у членов редколлегии журнала, и все материалы, подготовленные к публикации в 4-м и 5-м номерах были конфискованы.

Несмотря на то, что ряды редколлегии сократились, подготовлен к выпуску 6-й номер "Поединка"; тем самым продолжается деятельность общественного литературно-художественного журнала.

Журнал "ПОЕДИНОК" будет выпускаться и в дальнейшем!

Члены редколлегии: *Е.Абрамова, В.Быков, Н.Денисова, Ю.Денисов, М.Иконников, Е.Осипова.*

29 января 1981 г.

ЧИТАЙТЕ

СВОБОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ ЖУРНАЛ

«Поиски»

1 - 3

Еще недавно казалось, что время, когда *судили русскую культуру* в лице таких ее представителей, как Гроссман (у которого изымали романы), Синявский и Даниэль (над которыми учинили расправу за художественные произведения), Гинзбург (которого заточили в тюрьму за журнал "Синтаксис", а затем за "Белую книгу") уже больше не вернется.

Тем не менее, начало 1979 года преподнесло нам новые сюрпризы: гонению подвергается не только политическая мысль, но более глубокий и более широкий слой народного сознания — *культура*. И альманах "Метрополь", и журнал "Поиски", на который сейчас ополчились власти, представляют собой открытые, легальные проявления индивидуального и коллективного творчества. Это — попытки делать литературу как таковую. И к ним неприложимы понятия "крамола", "криминал", "изготовление и распространение заведомо ложных измышлений" и т.д.

...Преследование журнала "Поиски" — это трагедия и для читателя, которого обкрадывают, лишая его доступа к свежей мысли, к исканиям истины. ...

Георгий Владимов

Москва, 31 января 1979 г.

ЗАКАЗЫВАЙТЕ "ПОИСКИ"

ВО ВСЕХ РУССКИХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ

В ПОСЛЕДНЮЮ МИНУТУ...

В ПОСЛЕДНЮЮ МИНУТУ...

В ПОСЛЕДНЮЮ МИНУТУ...

Только что сообщили из Москвы, что арестован молодой писатель Михаил Яковлев (Лиятов). В "Поисках" была опубликована его пьеса "Какой-нибудь Мендоса" и три рассказа; наше издательство готовит к печати его повесть; Лиятов – лауреат конкурса имени Даля в Париже.

Итак – вчера арестовывали редакторов и издателей "Поисков", сегодня дошла очередь до авторов. Мы не знаем, в чем решит КГБ обвинить нашего товарища, но мы знаем, что вся реальная "вина" этого талантливого писателя заключается в том, что он не склонил головы перед КГБ и мужественно вел себя на судебных процессах Валерия Абрамкина и Юрия Гримма, выступая в качестве свидетеля: в ходе судебного разбирательства его пытались запугать, но он заявил резкий протест...

Издательство "ПОИСКИ"



